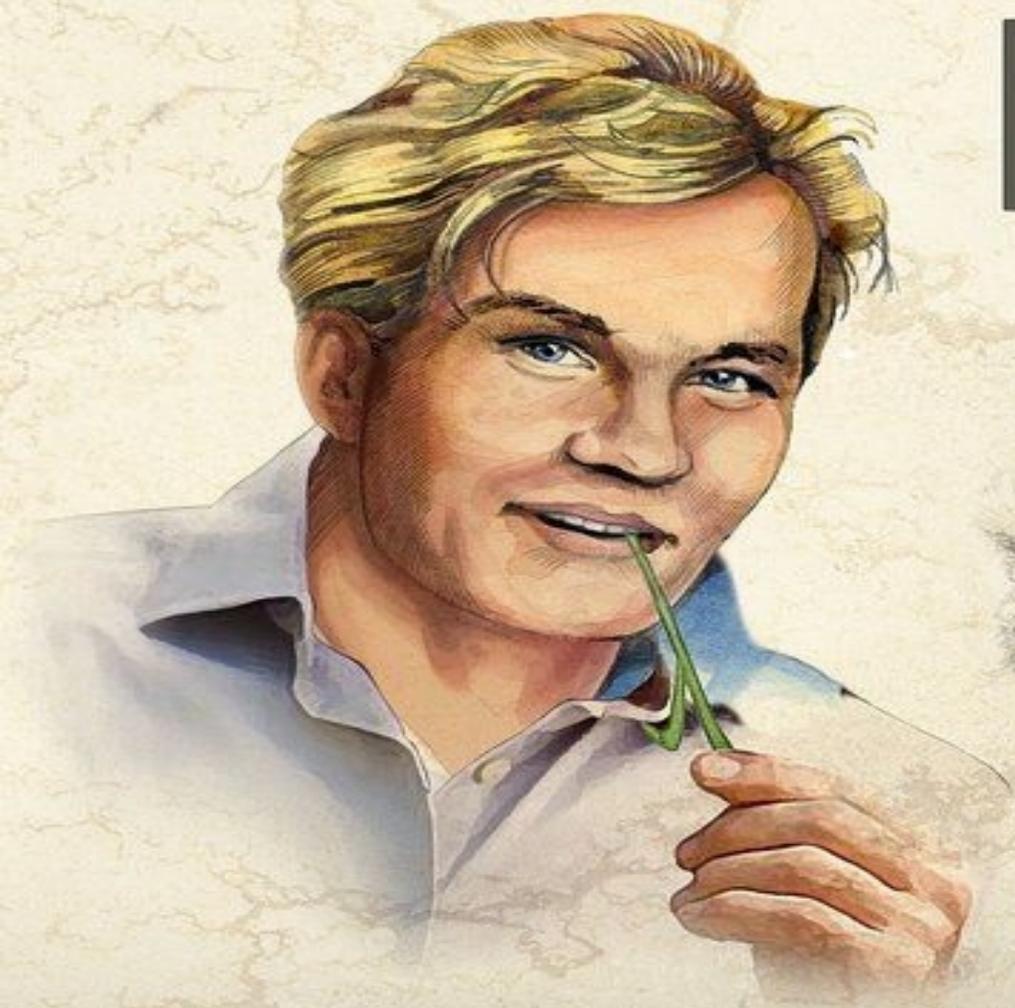


РУССКИЙ Крест

Александр ЛАПИН

УТЕРЯННЫЙ РАЙ



Александр Лапин

Утерянный рай

От автора



Хочу поблагодарить Вас за то, что держите в руках эту книгу!

Тешу себя надеждой, что возникший интерес не будет исчерпан первой страницей.

«Утерянный рай» – это первая книга романа «Русский крест», в котором я пытаюсь осмыслить не столько прожитые годы (это произведение нельзя назвать автобиографическим), сколько события, которые повлияли на судьбу моего «непуганого» поколения – людей, чья юность пришлась на «спокойные» семидесятые.

«Утерянный рай» – повесть о счастливых годах юношества, о первом опыте самостоятельно принятых решений, о выборе, дружбе, и, конечно,

первой любви.

Каждая книга романа «Русский крест» – новый этап в жизни не только главных героев, но и в судьбе страны. Я принадлежу к поколению людей, которые в девяностые годы двадцатого века, в момент гибели великой империи, активно участвовали в событиях, навсегда изменивших судьбу России.

Каждому из нас, кто прошел этот путь, пришлось многое испытать, защищать свои семьи, убеждения, находить свое место в новой картине мира. Нам всем есть что рассказать и чем поделиться! Я рассматриваю свой роман как дневник поколения, как летопись судеб и событий, свидетелями которых мы с вами были.

Ваш А. Лапин

Часть I

В полдень на дороге

И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Едема выходила река для орошения рая.

Библия. Ветхий Завет. Первая книга Моисея. Бытие. Гл. 2





Мальчик был маленький. И времени для него еще не было. Было только непостижимое пространство зеленой лужайки. А в центре его – таинственная, притягивающая своей тайной белая планета – прохладная пушистая хризантема.

Над белой планетой сейчас летал крохотный полосатый монстр. Его прозрачные крылья гудели, а мохнатые, рахитично полусогнутые ножки с острыми коготками нащупывали опору. Наконец он зацепился за белый гибкий лепесток хризантемы и повис на нем. Хрустальные глаза, словно зеркала, отразили голубую траву и сидящего перед цветком ребенка.

Ребенок был мир.

Оса тоже была мир.

Блестящие, широко раскрытые зрачки мальчика с интересом смотрели на нее.

Затем ребенок протянул руку и взял летающего тигра пальчиками.

Два мира встретились.

Оса повернула голову. Обидчиво поджала хоботок. Предупреждающе, как бы примериваясь, выпустила и снова втянула в брюшко зазубренное жало. Ребенок в ответ крепче сжал пальцы на плотном полосатом панцире.

Тогда оса, резко подгибая брюшко, ударила черным стилетом в розовый пальчик.

Крик боли и ужаса огласил вселенную лужайки...

В это мгновение ребенок узнал о законах жизни больше, чем узнает за всю оставшуюся жизнь.

II

Дом Дубравиных последний в уличном ряду и стоит на краю села. Дальше никто не строится, потому что метров через пятьдесят обрыв. Под ним шумит река. Ее берег – гладко облизанные течением зеленовато-замшелые каменные глыбы.

Сейчас Ульба лениво несет желто-мутные воды. Силу ее выпивает насосами, расходует на полив человек. Но каждую весну, в паводок, она вздувается, чернеет. Кипящий, бурлящий поток ревет и тащит на себе доски, корзины, вымытые с корнем деревья, мусор. Все это с треском, грохотом бьется здесь на речном повороте о каменный обрыв берега и уносится дальше вниз.

Напротив дома на левом пологом берегу – прозрачный, прохладной зелени лес. А на правом – село, за огородами и садами которого бескрайнее

поле. Через него напрямик бежит дорога, обсаженная тополями.

Просторно. Только далеко-далеко за горизонтом, как подвешенная в синеве неба, белая-белая от вечных снегов вершина. Белуха.

Небольшой, но пятикомнатный дом Дубравиных внутри спланирован неудачно. Обстановка в нем причудливо сочетает мебель пятидесятых годов с вкраплениями вполне современных вещей.

Особенно заметно это в комнате младшего сына, где главное место занимает большая металлическая кровать с панцирной сеткой и никелированными шишечками. На ней двумя горками высятся пухленькие белоснежные подушки с вышитыми надписями: «Спокойной ночи!», «Поздняя птичка глазки продирает, а ранняя носик прочищает!»

Мать видела такое убранство у казахстанских немцев и теперь, подражая им, завела его у себя.

Над этим сложным архитектурным сооружением висит ковер с причудливым сине-красным орнаментом. Над ним – большие фотографии молодых родителей. Они отретушированы и увеличены умельцем-фотографом, что ходят по селам и делают из малюсеньких потрепанных фотографий «портреты». Сходство с оригиналами весьма отдаленное, но зато «красиво».

Остается добавить, что через всю комнату от входа до окна тянется зеленая шерстяная дорожка. А в углу громоздится неподъемный полированный шкаф с зеркальной дверью.

Однако у стены напротив стоит вполне современная кушетка. На стуле около нее молочно белеет пластмассовым корпусом магнитофон. Лежат коричневые груши боксерских перчаток. А под кроватью хранится штанга, стальные блины к ней, а также отличные разборные гантели.

Порядок в комнате Шурка Дубравин поддерживает с такой педантичностью и аккуратностью, что ему позавидовала бы любая домашняя хозяйка.

В эту весну Шурка, не по годам рослый, широкоплечий, круглолицый подросток с карими, глубоко посаженными глазами, встает рано. Вот и сегодня он не лежит долго в кровати. Только слегка тянется сильным телом и сразу идет умываться к колонке в сад.

В кроне старой, стоящей во дворе ветвистой алычи что-то шуршит. И на плечи ему сверху неожиданно падает мягкий комок. Сердце скатывается в пятки. От ужаса он даже приседает. Но потом подскакивает на месте и отбрасывает от себя кота. Васька, по-видимому, охотился на воробьев и, поленившись спуститься с дерева, спрыгнул на плечи хозяину.

– У, чтоб тебя! Напугал до смерти, – бормочет пацан, смахивая остатки

сна ледяной водой из-под крана.

Луч солнца робко заиграл, заискрился на снежной шапке далекой Белухи. Порозовели облака на востоке. Темный лес за рекой начал голубеть. Суетливое воронье на тополях у дороги закаркало. В окнах соседних домов вспыхнули огоньки. Захлопали ворота. Хозяйки только выгоняют медлительных коров. А он уже шагает на ферму.

Взбитая тысячами колес, копыт, сапог, мельчайшая, как пудра, дорожная пыль за ночь остыла и сейчас мягким атласом стелется под ногами, облегает холодком его босые ступни. Из предрассветных сумерек показываются длинные, приземистые свежепобеленные корпуса. Построены они еще в эпоху освоения целины, видимо, по образцу американских. Позеленевшая от времени черепица и две островерхие каменные силосные башни по торцам делают их чуть похожими на какие-то средневековые казармы. Внутри этого сооружения уже раздается мычание проснувшихся коров, зычная переключка доярок, звон бидонов и доильных аппаратов.

Он подходит к тяжелым двустворчатым, обветшавшим от времени и непогоды воротам телятника. Отмыкает порыжелый ржавый замок, снимает его. Входит в закуток, где стоит большой деревянный ларь с остро пахнущими комбикормами, а в уголке на свежесмытой стене висит рабочая одежда. Быстро переодевается в старые брюки и пиджачок, из рукавов которого смешно торчат тяжелые кисти рук. Работа тяжелая и грязная. Кроме того, все повторяется изо дня в день. И можно просто взвыть. Но Шурка нашел выход. Он не работает. Он играет. Представляет себе, будто участвует в каких-то соревнованиях. Что-то вроде конкурса молодых ковбоев. И поэтому, приходя сюда утром, состязается с воображаемыми противниками. Старается сократить время.

Сейчас он посмотрел на часы, подождал, пока секундная стрелка накроет цифру двенадцать, рванул внутреннюю дверь, побежал по длинному проходу корпуса, по обеим сторонам которого большие клетки из побеленного штaketника.

В ноздри ударяет тяжелый влажный запах. Телята, свернувшись на подстилке, еще спят в клетках. Некоторые лениво жуют сено у кормушек. Ему надо вычистить клетки. Потом вывезти навоз. И принести молоко с фермы. Тяжелая мокрая солома поддается вилам с трудом. Хлюпает в металлический кузов тачки, брызгает ядовито. Обычному пареньку работа явно не по силам. Но Шурка грузит, стараясь вывезти все за один раз. Грузит, напрягаясь так, что сердце выскакивает наружу.

Упаивается. Но позволяет себе только смахнуть рукавом пот со лба и

мчится за свежей подстилкой. С вечера скотник Семен привез к воротам кучу золотистой просяной соломы. Широко раскинув руки, чтобы захватить побольше с ходу, он падает на нее. Загребает. Пока несет, остренькие концы соломинок колют грудь. Не обращая внимания на такие мелочи, растрясает сухую подстилку по клетям.

Теперь надо принести две фляги молока для телят.

...Как-то осенью мать уехала в гости к своей старой подруге, а отец – в дальний рейс. Шурке пришлось хозяйничать на ферме одному. В первый день он в школу не пошел – дел оказалось невпроворот. На следующий классная начала допрашивать его. Он заявил в ответ, что и завтра опоздает, мол, работать надо. Втайне Шурка надеялся, что опоздание придется как раз на контрольную по математике.

Утром он неожиданно увидел в проходе бокса трех девчонок из класса, пришедших ему помочь. От смущения Шурка тогда грубо накричал на них.

Он не считал зазорным никакой труд. И даже находил интерес и в этой каторжной работе. Но мальчишеское самолюбие его страдало. Ведь в школе он считался самым начитанным учеником в классе, а здесь ходит с тачкой в руках.

Сейчас, вспоминая этот случай, Шурка подхватывает сразу две фляги, рывком приподнимает их и, покачиваясь, чувствуя, как от тяжести подгибаются ноги, несет. Через десяток метров врезавшиеся в ладони рукояти разгибают затекшие, побелевшие от напряжения пальцы.

– Терпеть! Терпеть! Надо терпеть, – шепчет он, уговаривая себя.

III

Весна в этом году была быстрой. В одну неделю рыжее солнце слизало горячими языками лучей рыхлый потемневший снег с полей. И сразу буйно, яростно вскипели бело-розовым цветом вишневые и яблоневые сады. Теплый, неповторимый дух пробудившейся свежевспаханной черной земли смешался с дурманящим запахом цветов и, окутывая село, будоражил и пьянил все живое. Чувствуя весеннее томление, приливающую силу жизни, начали вить гнезда птицы. После чистых дождей вылезли из дерна на белый свет крепенькие подснежники и пролески. Над полями, насвистывая, носились черными стрелками ласточки и стрижи. Ловили мошкарку.

Сейчас они еще спят. Шурка лежит на сене и думает обо всем и ни о

чем. Вернее, он думает о своей семье. Об отце и матери. Об их прошлом. Но так как точно прошлого он не знает, то по обрывкам, по замечаниям постепенно в сознании складывает некую историю. Легенду, которая становится правдой. Правдой для него. Потому что он верит. А излагается она отстраненным рассказом, который он, сам того не замечая, сочиняет сейчас: «В последнюю войну прибил к вдове Марии Турченко раненный в живот, а потому списанный со службы подчистую солдатик из северного города Архангельска. Мария – маленького роста, бойкая, смуглая, похожая на цыганку, черноволосая уральская казачка. Алексей же непомерно длинен, по-северному голубоглаз и светловолос. Кацап – презрительно называла его вся многочисленная родня казачки. Торочили сестры Катька и Дуська: «Брось его, выгони болезного. Мы тебе, знаешь, какого казака найдем!» Ворчали братья Федор и Павел: «Чтоб мы роднились с этим приймаком?!»

Но несладкая вдовья доля – одной растить двух малых. Остался Алексей в станице.

Конец войне. Подоспела засуха. Спасали только кукурузные лепешки. В тот день Мария взяла с тока два початка кукурузы. Видела это соседка. И уже вечером пришел в их придавленный бедою, притихший дом участковый Колокольня: «Собирайся в район!»

«Что ж ей-то идти? – сказал Алексей. – А ребятишки как? Пойду уж я-то».

Дали ему по числу початков, два года. Валил лес в Сибири. Ломил уголек в шахте. Не роптал на судьбу. И выжил. Но никогда не рассказывал о том, что видел.

Мария ждала, билась с жизнью один на один.

Тут и показала себя казачья родня. Старшая сестра Катька за долг забрала со двора у вдовы последние кизяки и кукурузные бодыли, которыми зимой топили печь.

И пришлось бы зимовать в совсем нетопленной хате, да спасибо председателю колхоза – разрешил брать опилки, обрезки и стружку на пилораме. Ходила вдова и в поле. Резала зимой сухой примороженный бурьян на растопку.

Алексей вернулся по весне. Бледный до синевы. Худющий. Одни глаза да уши торчком. До позднего вечера сидел в их покосившейся мазанке, слушал рассказы жены и пришедшего в гости однополчанина, безногого инвалида Кости Бублика.

А наутро встал с лежанки и пошел через улицу в просторный дом – в гости к родственничкам. Шел быстро, хмурясь и на ходу размахивая

зачугуневшими кулаками.

Мария возилась у печки с горшками, когда запыхавшаяся соседская девчонка бешено забарабанила в дверь: «Теть Марусь! Дядя Алексей Гришку убивает...».

Во дворе у сестры хриплый лай рвущегося с цепи кобеля. На земле зятево окровавленное лицо.

Как она утащила Дубравина, как Христом Богом молила сестру не заявлять – всего и не расскажешь.

На другой день собрали они свои пожитки и пошли на станцию. Длинный Алексей, перегнувшись пополам, толкал перед собой тачку с примусом, табуретом, чугунками и прочим нехитрым скарбом. Чуть позади Мария несла на руках младшего, Мишку. За ее подол держался, перебирал, как гусенок, босыми лапками Иван. Старшенькая Зойка помогала отчиму – сбоку подталкивала тачку.

Сороками трещали бабы на улице. Пацанята высовывались из-за ворот, показывали вслед младшим Дубравиным языки. С ненавистью целил разбитым, почерневшим глазом в сутулую, с выпятившимися лопатками, спину Дубравина свояк Гришка.

Сестры Марии на улицу не вышли, застыдились.

Ушли из станицы они навсегда.

Осели в Северном Казахстане, в совхозе. Алексей пошел в совхозную кузню молотобойцем. Мария стала работать дояркой.

Через много лет родился у них еще один сын. Поскребыш. Отцов любимчик Шурка. Однако в тот же год утонул, купаясь в речке, Мишка.

Алексей сам выстругал и сбил ему гроб. Сам выкопал в уголке тихого затравевшего деревенского кладбища могилку. А когда похоронили, остались вдвоем с Марией у маленького холмика, Алексей сказал:

– Значит, укоренились на этой земле. Своя могила есть. Тут и будем жить.

* * *

Шурка очнулся от забытья только тогда, когда Джуля, шутя, хватанул его за ногу.

– Бог мой! – театрально воскликнул он и оглянулся вокруг. Стадо разбрелось. Солнце высоко.

Крикнул собаке:

– Айда домой! Собирай телят! А то в школу опоздаю!

IV

И сказал змей жене: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы впустите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло...» И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковые листья, и сделали себе опоясания.

*Ветхий Завет. Первая книга Моисея.
Бытие. Гл. 3*

Тропинка в школу бежит через лесок. Скользит по узенькому деревянному мостику над ленивой речкой. Ведет прямо к стоящему в окружении мелкоколосья могучему, кряжистому дубу. Зимой жесткая кора этого коричневатого-черного тяжелого дерева казалась Шурке каменной, а само оно – литым из металла. Сейчас прямо через эту жесткую кору пробилась нежно-зеленые мягкие листочки. К осени они тоже станут жесткими, словно вырезанными из коричневой жести. А рядом с дубом упадут лаковые, тускло-блестящие тупоносые желуди. Потом это великолепие накроет снег. А будущей весной все повторится. Сквозь прелую сухую прошлогоднюю листву снова будут пробиваться к свету тоненькие зеленые стрелки.

Вечный круговорот. И только человеку кажется, что он единственный и неповторимый, а его жизнь первая на этой Земле.

Вот и школа. Краснокирпичная, светлооконная, двухэтажная. Около крыльца растут елочки, туи, кусты опрятно подстриженной пахучей сирени.

Еще издали Дубравин слышит прерывистое треньканье неисправного электрического звонка. Бежит и, прыгая на крыльце через две ступеньки, влетает в гулкий, быстро пустеющий коридор.

Урок начинается с разбора контрольной работы. Длинная сухопарая Людмила Израйловна, сердито посверкивая на учеников круглыми очками, постукивая по столу карандашом, долго и язвительно говорит. Разбирает недостатки контрольных, сданных «бестолковыми».

Шурка Дубравин попал в «бестолковые» по математике в пятом классе, когда изучал дроби. В примерах и задачах на уроках фигурировали то яблоки, то груши. Он и видел перед собой пахучие краснобокие яблоки, а

не цифры. Так и не смог освоить тогда, что мешок яблок можно представить как единицу и разложить его в виде дробей. А механически зубрить не умел и не хотел. И вот теперь, когда его вызывали к доске, цепенел от злых глаз Людмилы Израиловны, внутренне сжимался от ее пронзительного голоса. Ждал только, когда все закончится. Поставят очередную двойку или тройку.

Но в конце концов все улаживалось. Помогал в этом и директор школы. Он вел у них историю. А Шурка не только знал, к примеру, сколько весили доспехи Карла Бургундского, но и мог процитировать приказ Петра I перед Полтавской битвой.

Однако, как бы там ни было, а прошлой контрольной Дубравин не решил. И поэтому напряженно следит за движением остро отточенного карандаша в руке учительницы. Он кожей чувствует, как глаза Людмилы Израиловны перебегают с фамилии на фамилию, просматривают оценки, как лихорадочно она прикидывает, у кого на сегодня положение самое плачевное.

– Шелкопряд! К доске! – наконец торжественно произносит она.

Весь класс облегченно вздыхает.

Теперь сидящие за первыми партами будут подсказывать. А остальные займутся своими делами.

К Дубравину вернулось боковое зрение. Сосед Витя Тобиков достает какую-то географическую книгу. Впереди Колька Забелов и Миша Самохин снова играют в морской бой.

А у доски уже разыгрывается обычная педагогическая драма. Измученная жизнью и непониманием ученика, склонившись, как вопросительный знак, Людмила Израиловна краснеет пятнами от шеи к подбородку и кричит маленькой, нескладной, какой-то угнетенной жизнью Галке Шелкопряд:

– Нет! Не-е-е-т! Зачем тебе учиться, если ты не можешь простого уравнения составить? Ну откуда ты такая? А? Ты учила? Я тебя спрашиваю? Учила? Да отвечай же! Что ты шепчешь?

– У-ч-ч-ч-и-ла, – тянет в ответ Галка со слезами на глазах.

«И что она кричит? Господи, когда этот треклятый урок кончится, – переживает и за учительницу, и за себя, и за несчастную Галку Дубравин. – Поставила бы двойку – и дело с концом. И зачем себя и окружающих терзать... Если у тебя нелады дома, если ты больная, если нас тихо ненавидишь – брось работу! Живи и радуйся... Освободись от непосильного груза...»

Сзади толкнули в плечо. Он протягивает ладонь, не оборачиваясь.

Пришла почта. В ладонь кладут разлинованный в полоску листок с подписью: «Сане».

Осторожно разворачивает записку внизу под партой. Сосед Тобица тоже склоняет свое румяное пухлогубое личико, хочет подсмотреть, что пишут Дубравину. Но Шурка, заметив маневр, отталкивает его плечом и показывает под столом свой увесистый кулак.

Пишет Людмила: «Саша! Давай с тобой дружить».

Дубравин с некоторым разочарованием прочитывает еще раз, рвет записку, остатки кладет в карман. Вырывает из тетради чистый листок и размашисто пишет: «Надо уроки учить!»

Оглянувшись по сторонам, соображает, как удобнее доставить ответ. Но передавать не рискует, а ловко бросает записку через ряд прямо Людмиле на стол и отворачивается.

Уже не первый раз приходят к нему такие записки. И вообще, что-то странное в отношениях с девчонками началось еще прошлым летом. Тогда многие из них изменились просто на глазах. И внешне, и внутренне. Валентина Косорукова уж на что была «свой парень»: в футбол ли играть, прыгать ли с дерева через речку. Сейчас притихла и как-то странно смотрит на него при встречах. Все они уединяются, о чем-то шепчутся. То и дело слышно: лодочки, лацкан, оборочки.

Некоторые пацаны тоже дуреют. Второгодник Коля Рябухин зимой принес журнал на иностранном языке и стал показывать на перемене. Все парни сбились в кучу возле него. Хихикали, краснели. Шурка подошел. Заглянул через плечи. Он до сих пор помнит то потрясение – ослепительно белое женское тело на зеленой траве.

На этой неделе среди мужской половины класса начало ходить по рукам некое сочинение под названием «Лекции профессора Григорьева». Сосед Витя Тобицов на перемене взял его почитать. И сейчас вытащил на парту. Дубравин скашивает глаза и начинает выхватывать строчки: «Если юноша любит девушку, то он кладет ей руки на колени», «Дружбу надо закрепить один раз», «Девушки делятся на горячих, средних и холодных», «Горячие любят...».

Странно, еще год назад эта писанина оставила бы его абсолютно равнодушным, а сейчас так взволновала, что Шурка почувствовал сначала озноб, а затем его бросило в жар. Сердце заколотилось, ладони вспотели.

Он, как пойманный на месте преступления, оторвался от чтения и оглянулся по сторонам. Не видит ли кто, что с ним происходит.

Весь класс занят своими делами.

Тобицов, заметив его интерес, подвинул рукопись к середине парты. И

они оба погрузились в рекомендации какого-то явного самозванца, сочинившего этот опус, в котором женщины делились на какие-то невиданные типы: «королек, березаки». И требовали от мужчин невиданных сексуальных подвигов.

Звонок на перемену застал его в полном смятении чувств. Голова кружилась. Какой-то дикий огонь разгорался внизу живота. Пришлось держать руки в карманах.

Возбужденный, он вышел в коридор, где народ затеял игру в самолеты. Пацаны носились по коридору, расставив руки-крылья, и налетали друг на друга.

«Тяжелый бомбардировщик» Славка Подколотный с разбега ударил плечом в Шуркин «истребитель». Дубравин, который не пришел в себя от прочитанного, не напрягся, не отреагировал, а споткнулся и завалился боком на пол.

В тот момент, когда он начал подниматься, из класса вышла кудрявая голубоглазая Катенька Гельд. Шурка смотрел на нее снизу вверх и не узнавал. Коротенькая коричневая юбочка школьной формы облегла округлившиеся налитые колени. Под белой блузкой явно угадывались выпуклости груди. И вообще уже не было прежней Катьки, которую можно было дернуть за косу, подразнить. Перед ним было совершенно другое существо. Женщина!

Он медленно поднимается с пола. И чувствует, что в этот миг что-то изменилось в нем самом. Что смотрит на мир абсолютно по-другому, нежели всего минуту тому назад. Он смотрит на девчонок и видит их новые прически, их колготки, их лица. Потрясение так велико, что Дубравин не может ни о чем говорить, ни с кем видаться. Молча идет в класс. Там садится за парту и пытается разобраться, что же произошло.

В тот миг он не понимает, что отныне вся его жизнь, как и жизнь каждого мужчины, так или иначе невидимой нитью будет связана с женщинами. Что они во многом станут его судьбой, его судьями, его любовью.

V

Все сидят в Шуркиной комнате полукругом.

В кресле комфортно устроился, закинув ногу на ногу, Толик Казаков. Сухощавый, черноглазый, с волосами жесткими и черными, как вороново крыло. Он красив. И даже чуть курносый нос не портит этого впечатления, как бывает у вполне красивых людей.

Стремительный, быстрый в движениях Казаков в любой одежде выглядит столь изящно, что Дубравин и Франк рядом с ним кажутся простыми и грубоватыми. Он самолюбив, остроумен, находчив и очень общителен. Любые игры – баскетбол, футбол, теннис – осваивает чрезвычайно быстро. И везде первый.

Род его из оренбургских казаков. Дед, восьмидесятилетний сухой старик, каким-то чудом ухитрившийся сохранить выправку и крепость рук, живет в станице. Он сам по секрету рассказывал внуку, как служил в лейб-гвардии казачьем полку и состоял в охранной сотне последнего российского царя.

Отец работает в совхозе шофером. И крепко пьет. А когда в пьяном виде дебоширит, вся семья прячется кто куда.

Мать, маленькая худенькая женщина, рано постарела из-за постоянных свар в семье. Она никогда не работала на производстве, а возилась по дому, занимаясь детьми.

Толик, как и все остальные ребята, много занимается хозяйством: косит траву кроликам, чистит в сарае навоз, работает в саду. Часто меняет свои увлечения. Хорошо фотографирует старенькой «Сменой», учится играть на трубе в совхозном духовом оркестре. И имеет «умные руки». Без конца он что-то паяет, перепаивает, собирает из радиодеталей. Недавно создал себе, Андрею, Шурке маленькие радиопередатчики. И они какое-то время держали связь с помощью радио, хотя и жили не слишком далеко. Но у Шурки передатчик вскоре пришел в негодность, а у Андрея его отобрали, обвинив в радиохулиганстве.

Казаков несокрушимо верит, что наступила эра кибернетики, радиотехники и других технических чудес. Верит, что именно они создадут новый, совершенно непохожий на сегодняшний, мир.

Председатель собрания – Дубравин. Внешне он – полная противоположность Казакову. Рослый, лицо простое, русское, округлое, глаза карие.

Вообще, уродился парень, как говорится, ни в мать, ни в отца...

Рос худым, бледным, хилым ребенком. Мать, сравнивая его со старшими детьми, частенько говаривала: «Не работник! И жить-то как будет? Ну, Иван, тот бугаек и без грамоты проживет. А этому что делать? Ведь хилый-хилый. Видно, учиться придется». А недавно нервный, впечатлительный, застенчивый и тем похожий на девочку мальчишка так попер в рост, что уже сегодня почти сравнялся с отцом. Если Алексей суховат, то младший сын широк в плечах. На крепкой, развитой упражнении со штангой груди уже сейчас лежат две круглые плиты мускулов, на руках ходят буграми бицепсы.

Характер у младшего Дубравина в последнее время тоже стал резко меняться. Парень все чаще молчит, задумывается. То и дело хмурит густеющие брови. И как будто дичится в семье.

Третий в этой компании – Андрей Франк. Он в отличие от Толика и Шурки невысокого роста. Поджарый, гибкий, как гимнаст. Лицо у него тонкое, чистое, узкое. Чисты и светло-серые бесхитростные глаза. По странному капризу судьбы друзья зовут его Рыжик, хотя волосы у него прямые и русые. Но он не обижается. Его страсть – фотография. Днями и ночами пропадает он в своей лаборатории. Его добродушная терпеливость преодолевает все: и комаров, и утренний холод, и неудачи.

Родители Андрея из Поволжья. И по деревенским понятиям интеллигенты. Отец работает старшим бухгалтером, а мать, красивая, черноволосая и черноглазая, хорошо сохранившаяся улыбчивая женщина, занимается дома с тремя детьми. Живут они в небольшой квартирке. Так же, как и все, держат кур, гусей, огород. Это и понятно. На зарплату отца впятером тянуть непросто.

Четвертый – Амантай Турекулов. Он младше всех на год. И непонятно, как подружился с этими тремя. Худой, как жердь, но жилистый. С плечами, словно вешалка. Он ходит всегда, наклонив голову набок, приподняв плечи и держа руки в карманах. Узкое, со впалыми щеками лицо его выражает постоянное сомнение и готовность обидеться. Так получилось, что все учат его жить. А он обижается. «Да ну вас!» – обычно говорит он, отбрасывая кивком головы падающую на глаза черную челку, сверкает узкими черными глазами и поворачивается к «обидчикам» спиной.

Сложилась эта компания недавно. И складывалась достаточно странно. Шурка Дубравин до того, как окончательно разошелся с ребятами со своей улицы, долго был вожаком на «Бараке».

Пока однажды не случилось вот что...

...Жил-был принц. И у него, как и у всех, были мама и папа. Рано утром

они уходили на работу, а он шел играть на улицу.

Однажды маленький принц взял шпагу, заломил берет, воткнул в него перо и пошел во двор крепости.

Крепость была старинная. Ее охраняли часовые. Принц пошел прямо к воротам. И спросил стоявшего на посту солдата:

– Ну что? Как прошла ночь? Не подкрадываются ли враги?

Солдат отставил ружье, молодцевато приложил два пальца к треуголке и звонко ответил:

– Никак нет, ваше высочество! Противник еще спит и видит седьмой сон.

– Жаль! А то бы мы им поддали бы! – задумчиво ответил маленький принц и пошел обратно, составлять устав караульной службы для своих войск.

Дома он сел за стол и написал: «Пункт первый. Караульный обязан нести службу круглосуточно» – потом подумал: «Нет, мамы их не отпустят стоять ночью на часах. А как же быть?»

И вообще в последнее время что-то разладилось в их игре. Война закончилась, солдатам скучно. И уже было несколько случаев, когда они уходили с поста. Да и выйдут ли они сегодня на смену стоящему сейчас на часах Лехе Пасечнику? Кто знает... Вчера Ванька сбежал под предлогом, что его мать зовет обедать, а Петька нагло заявил, что он уходит в сад за яблоками.

За окном раздался отчаянный крик:

– Стой! – и следом: – На помощь!

Принц выскочил на улицу и увидел безобразную сцену: здоровенный «дезертир» Петька Бесмельцев напал на маленького, тщедушного часового Леху Пасечника. Он схватил огромную ветвистую палку и тыкал ею в лицо часового, изображая фехтование. Леха отчаянно махал шпагой и, отступая, верещал на всю округу:

– На помощь! Напали!

Ярость и обида волной кипящей и все смывающей поднялись в душе маленького принца: «Мало того что сам ушел, так еще и издевается над его армией!».

Широкий, огромный, красочный мир, в котором жил Шурка, вдруг поблек, блестящая золотая шпага превратилась в палку, бравый солдат – в жалкого плачущего мальчишку в сбитой набок газетной треуголке. Замок вмиг обернулся обшарпанным баракком, а сам он из блистательного принца превратился в обычного пацана с ободранной коленкой и синяками на руках.

Он выскочил на улицу. Схватил поправшуюся под руку винтовку часового, ринулся на врага. Подскочил и два раза так хватил Петьку по толстому хребту, что приклад игрушечного ружья раскололся.

Бесмельцев в страхе бросил палку. В его круглых глазах вспыхнул ужас перед этой необузданной яростью. Губы задрожали. Длинные руки опустились.

И... неожиданно он заплакал...

С этого случая «армия» распалась. Любовь и восхищение бывших друзей и приятелей вдруг обратились в неприкрытую ненависть. Если раньше Шурка объединял компанию в игре, смехе, дальних походах, то новый вожак в ней нашел и новый мотив. Колька Островков, тощий, жилистый, с каким-то ядовитым блеском в глазах, не обладал ни богатой фантазией, ни острым умом. А чтобы чувствовать себя объединенными, они должны были кого-то ненавидеть. И Колька направлял. Они ненавидели его, маленького принца. Тихой, трусливой ненавистью, которую подогревали не только Колькины речи о «психическом, чуть не убившем Петьку», но и их собственный страх, и чувство вины за свое предательство.

Предатели всегда чувствуют свою вину и от этого ненавидят тех, кого предали.

– Психический! Психический! Не туда мама руку пришила! – кричали они, издав себя завидев его.

Может, они ждали, что он испугается, спрячется дома, перестанет выходить на улицу. Не понимали: и его, и их незримой нитью связывало обоюдное чувство. Он тоже ненавидел их до боли в зубах.

День за днем продолжалась эта игра во взаимные оскорбления. В ответ на их выкрики он издевался:

– Сосунки! Бабы трусливые! Предатели! Выходи один на один!

Страх, что придется драться с целой толпой, только возбуждал и подстегивал жажду мести, заставлял испытывать сладостное чувство риска, полноты жизни.

В тот день он, сжимая до боли потными ладонями рукоятки велосипеда, крутился неподалеку от них. А они строили плотину на ручейке, образовавшемся после дождя. Когда он в очередной раз проезжал мимо них и специально задел колесом лежавшую рядом с ними консервную банку с «раствором» – жидкой грязью, – они бросились на него.

Кинулись яростно, неожиданно. Впятером схватили велосипед. Повалили на землю вместе с ним.

Шурка оказался сразу во власти десятка беспощадных рук. Он бился,

изворачивался на земле, пытался встать. Мысли неслись обрывками: «Гады... Только бы встать... Предатели...».

Когда почувствовал, что кто-то два раза ударил его камнем по голове, вдруг зарычал в неистовстве от собственного бессилия и так бешено рванулся, что вмиг оказался на ногах. И сразу закрутился на месте, ища глазами кирпич поувесистее.

Видно, что-то настолько безумное, пугающее было в его лице в этот миг, что пацаны бросились наутек.

Со свинцово-тяжким серым булыжником в руках он настиг их у ворот дома, где они стояли, едва очнувшись от пережитого ужаса.

Сладкая волна бешенства несла его к огромным зеленым воротам, у которых робко сбились в кучу его бывшие приятели. Он уже кончиками пальцев чувствовал, как камень ударит Кольке в грудь, а потом он будет рвать его горло... Ему бы только добраться...

И они поняли это. Порхнули, как воробьи стайкой, в ворота и затаились в доме.

А он бушевал снаружи. Бил камнем в ворота и кричал, задыхаясь от неутоленной ненависти:

– Труссы, выходите! Ваша смерть пришла!

Но в запертом доме притихли и молчали...

Такая вот история.

* * *

А с Толиком Казаковым все не закончилось, а началось со стычек.

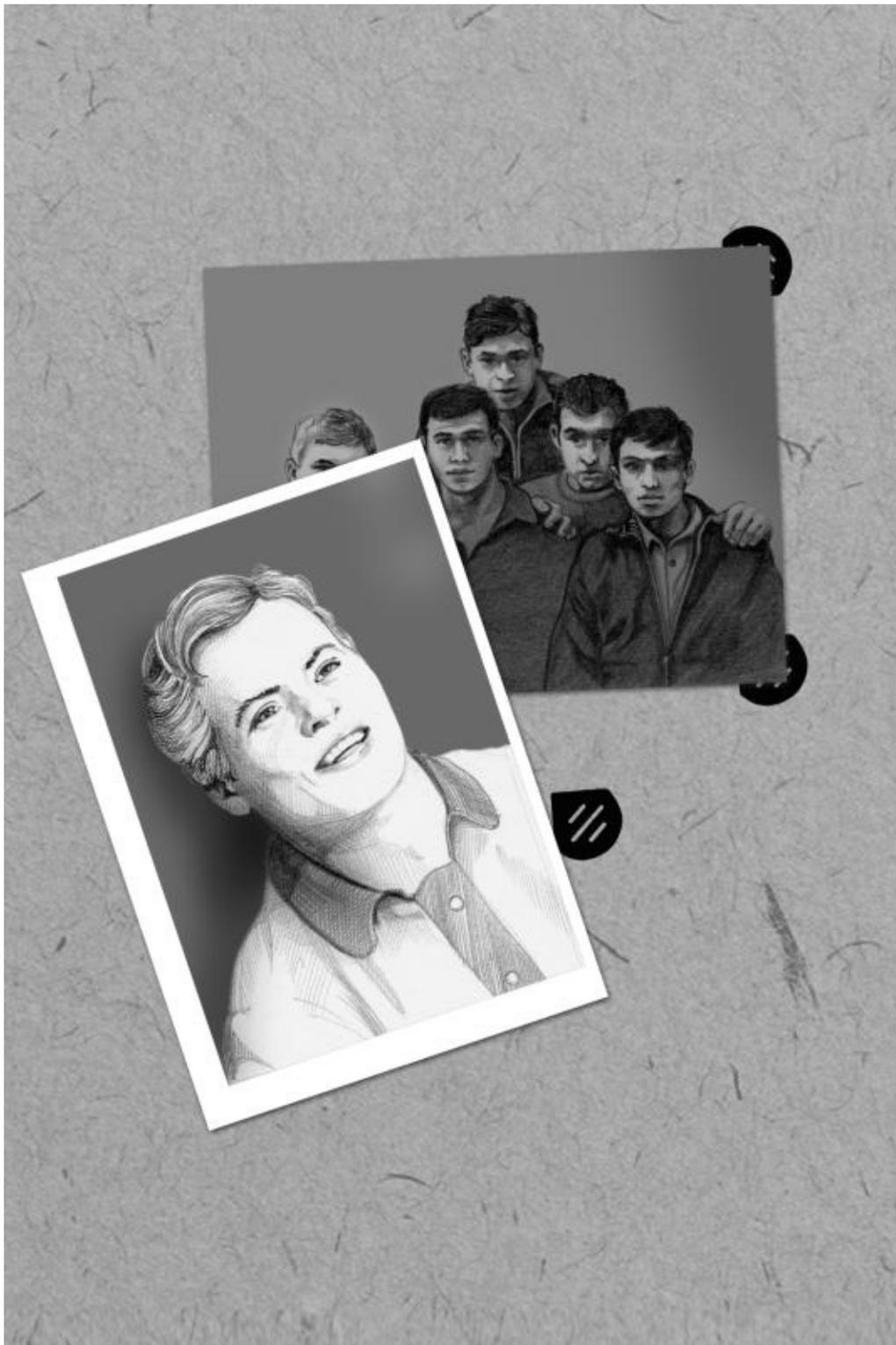
Казаков верховодил на «Центре». Между этими двумя районами шли в то время постоянные войны. Естественно, вожди разных партий то и дело выясняли отношения друг с другом. Стычки обычно начинались по дороге из школы. Предварительно кто-то из «доброжелателей» говорил Шурке, что вчера о нем непочтительно отзывался его конкурент с «Центра».

Дальше все шло по накатанной схеме. Дубравин встречался с Казаковым где-нибудь на тропинке в лесу и начинал разговор так:

– Ты про меня сказал, что я дурак? Повтори сейчас при мне эти слова или проси прощения.

– А ты кто такой?! – слышал он в ответ. – Молоко еще на губах не обсохло, чтобы со мной так говорить!

– Ах так! – чтобы начать драку, Шурка резким движением натягивал Казаку кепку на глаза. Не вынеся оскорбления, тот бросался на врага. Через минуту они уже катались на земле, сопя и выкрикивая ругательства. Дрались до тех пор, пока их не растаскивали прохожие или одноклассники.



Но с тех пор они поумнели, а когда Шурка «разошелся» с «Бараком» и переехал в свой дом, эти двое вдруг обнаружили в себе что-то общее. И

главным, пожалуй, было то, что Дубравин и Казаков отличались от остальных деревенских своими интересами. Хотели какой-то другой жизни.

Потом к ним примкнули и прочие парни.

Сегодня четверка собралась в доме у Шурки по торжественному поводу, а посему все одеты в белые рубашки. У каждого к вороту миниатюрной шпагой, сделанной из иголки, приколот значок, изображающий латинскую букву «L».

В общем-то, это компания простых деревенских ребят. Но ведут они себя для такого собрания достаточно странно: во-первых, обращаются друг к другу с выражением важности на лице, во-вторых, играют какую-то роль.

А все дело в том, что еще прошлым летом, когда из Москвы приезжал Шуркин двоюродный брат, у ребят возникла идея объединиться в некое тайное сообщество. Они придумали объединению туманное и таинственное название «Лотос». Разработали устав. Дубравин как начинающий поэт написал слова гимна, и они распевают его на мотив популярной мелодии «Иглз» «Дом восходящего солнца». Ведется дневник, куда записываются достойные внимания события. Есть и казна. Каждый член команды вносит в нее ежемесячно по рублю. Деньги уходят на покупку боксерских перчаток, гантелей, эспандеров.

Есть в этом начинании что-то по-детски наивное. Но главное – в нем есть стремление к иной, более осмысленной и красивой жизни, желание выделиться из одноликой серой массы. А дневники, значки, тайные собрания играют в этом деле немалую роль.

Сейчас Толик Казаков включает магнитофонную приставку. И льется всем до боли родная и знакомая мелодия. Правда, все ребята подпевают совершенно другие, русские странные слова:

Мы общество «Лотос» создали,
Решили мы им подражать.
И главным законом избрали —
Девчонок с собою не брать.
Мечтаем наукой заняться,
Спортсменами думаем стать.
И рыцарями без упрёка
Вы можете нас называть...

Когда отзвучали последние аккорды, Дубравин официальным голосом объявляет:

– Мы собрались сегодня, чтобы обсудить следующий вопрос. Состоит

он в том, что в наше общество хочет влиться еще один человек. Это Володя Озеров. Он скоро должен подойти. Нам надо решить, принимаем ли мы его.

– Надо дождаться его самого, – возражает Казаков, – тогда и будем обсуждать кандидатуру. А то получается, что мы вроде за глаза о нем говорим. Кстати, сегодня у меня спрашивал о нашей команде Тобиков. Значит, какие-то слухи, домыслы ходят по школе. Сначала увидел у меня значок и стал просить, а потом заявил, будто знает, что означает эта буква. Может, предложить и ему вступить?

– Да нет, ребята! – возражает Андрей. – Тобич не тот человек. Хоть он и учится с нами, но он еще не вышел из детства. Пай-мальчик. Короче, маменькин сынок. Я против.

– Согласен, – замечает Шурка. – Не личность. Но хотелось бы знать, кто проболтался о нашей команде?

При этих словах он оборачивается и пристально смотрит на Амантая Турекулова.

– А че вы на меня смотрите? – сразу обижается тот. – Я тут при чем?

– Ладно, Аманчик, ты не обижайся, – говорит Шурка. – Это нас всех касается. Надо поменьше болтать.

– По-моему, Вовуля свистит, – услышав раздавшийся за окном знакомый сигнал, замечает Толик. – Пойду его впусти.

Через минуту придетый, как на торжество, тоненький, беленький, пухлощекий и немного лопухий Володя Озеров осторожно присаживается на тахте.

Шурка, понимающий торжественность момента, старательно играет возложенную на него роль председателя.

– К нам в общество обратился с просьбой принять его Владимир Озеров. Прошу всех присутствующих высказаться по этому поводу!

После его слов воцаряется общее молчание.

– Вова – пацан думающий, – разрывая неловкость, первым берет слово Андрей. – Это для нас важно. Хотя он моложе нас всех, но уже понимает, что стать человеком непросто.

– Имеет серьезные интересы и увлечения, – перелистывая дневник команды в поисках последней записи, добавляет Шурка. – Музыкой занимается. Мы давно его знаем, что тут говорить попусту.

– Конечно, знаем! – живо откликается Толик Казаков.

– Потому и должны обсудить все его достоинства и недостатки. А не повторять одно и то же, как на комсомольском собрании. У него тоже уйма недостатков, есть еще ребячество. Забыли, как он на Седьмое ноября из

снайпера по шарам стрелял? А потом бегал по толпе демонстрантов, толкался...

Бедный Вовуля, сидевший как на иголках, весь от волнения покрывается испариной. Он смотрит на окружающих, как будто не узнавая их, хотя это свои, с детства знакомые ребята.

Еще не отошедший от обиды Амантай добавляет:

– И обзывать он любит. Если что не нравится, начинает орать: «Сука! Козел!» Может, это он и рассказал про нас Тобикову, про команду. А вы на меня подумали...

– А ты что мне сказал! – взвизгивает на тахте Вовуля. – Ты мне... сказал... ты... да я...

– Да, видно, рано его принимать, – подливает масла в огонь Толик. – Выдержки нет.

– Стой, ребята! – вмешивается председатель. – Мы все не без греха. Давайте все-таки объективнее будем подходить. Здесь не базар. Здесь высокое собрание. Все, все, мы знаем. Давайте проголосуем. Да кончайте вы обзывать! Ну вы и кабаны! Тихо! Стой! Кончай базар!

– Я думаю, раз пошло такое некорректное обсуждение, вопрос надо отложить, – снова подает голос Казаков.

После его реплики крикуны притихают. Никто не ожидал такого поворота событий.

Шурка замечает, что Озеров побледнел, и говорит:

– Голосовать! Кто за то, чтобы принять Владимира Озерова в члены общества «Лотос», прошу поднять руки.

– Все за! При одном воздержавшемся.

Пока счастливый Вовуля с какой-то мальчишеской радостью на лице прикалывает миниатюрной шпагой значок к воротнику, народ в лице Дубравина повторяет ему принципы «Лотоса»:

– Стать воспитанными людьми. Это непросто. Надо заниматься собой: читать, мыслить, организовывать свой отдых, обмениваться с другими членами клуба идеями. Все решаем сообща. Это наше кредо.

– Вот ты в музыкальную ходишь, – берет инициативу на себя Толик Казаков. – Ну и сделай нам доклад о жизни какого-нибудь великого музыканта, чтобы мы знали. Сделаешь?

– Не знаю, – ошеломленный, всем вместе растерянно отвечает Вовуля.

За окном раздается звук мотора подъезжающего грузовика.

Через минуту слышен требовательный голос матери:

– Шу-у-у-у-ур-и-ик!

Дубравин идет на выход, досадуя, что его оторвали от важного дела:

– Ну, началось. Подождите меня. Я сейчас.

Оказывается, мать хочет, чтобы он поднял на чердак дома мешок с кормами. Недовольный Шурка зло замечает матери:

– Опять у этих алкашей купили ворованные корма?!

Вся деревня тащит с полей и ферм все, что можно утащить. Но он, живший здесь всю жизнь, так и не привык к этому. Стыдится.

Мать, уловив в его словах раздражение, глядит на него исподлобья, поправляет узловатыми натруженными руками платок, сбившийся набок, и говорит раздумчиво:

– Вот ты как поворачиваешь? То молчишь, молчишь, а то высказался, сынок. Спасибо. Значит, корма таскать тебе не нравится. А есть курочек, которые на этих кормах растут, любишь?

– А ну вас! – машет рукой Шурка, показывая, что с ней бесполезно разговаривать. Со злостью хватает ни в чем не виноватый мешок за торчащие углы, резко кидает его на правое плечо и несет к приставной лестнице, ведущей на чердачное окно.

VI

Анатолий командует:

– Пошли! Пошли по кругу! За мной! Раз, два! Раз, два!

Молодые, загорелые, мускулистые, они мчатся по поляне один за другим. И будто здесь, в зеленом пушистом лесу, крутится песчаный степной, все уносящий на своем пути вихрь. Это своеобразное движение – то ли боевой танец горцев, то ли ритуальная пляска дикарей, выходящих на тропу войны. Они несутся по кругу один за другим. Вдруг резко падают наземь на руки. Отжимаются. Потом начинают отплясывать гопака вприсядку.

Через десять минут вся компания взмокла.

Идет разминка.

Но тот, кто командует, не сбавляет темпа.

– Давай-давай! Пляши, бяшка, пляши! Вовуля, не отставай! Терпи! – крикивает он. – Пошли с песней, братки! Включай магнитофон!

И жаждущие физического совершенства подростки скачут, прыгают, как черти на сковородке. С воплями мнут друг другу бока, кувыркаются на поляне.

Ах, это жизнь, а не дрема и скука!

– Теперь разбились на пары! Начинаем изучать приемы. Вас якобы

берут за горло. Что вы делаете в таком случае?

– Хватаешь за кисть нападающего двумя руками! И поворачиваешь ее внутрь, как нарисовано в учебнике! Показываю... И-и-и раз!

– Ай! Ой-ой-ой! Ты мне руку поломал, тренер хреновый! Ща по усам...

– Я ж говорю, получается. Ну что ты делаешь? Бери его за яблочко! За яблочко, за яблочко хватай!

– Теперь мы с Шуриком попробуем боксировать, а остальные тренируются в индивидуальном порядке. Вовуля, Андрей, Амантай, сбегайте за штангой, гантелями, эспандером. Они там, в тайнике сложены.

Трое немедленно скрываются в окружающих поляну кустах. И через несколько минут, пыхтя и задевая плечами за ветки деревьев, растущих у тропы, тащат стальные блины от штанги.

Небольшая, аккуратно очищенная от сухого бурьяна, выровненная руками ребят поляна вмиг превращается в спортзал. Спортзал, где стены – стройные клены со строгими, словно вырезанными искусной рукой художника, новенькими сочно-зелеными листочками. Крыша – небо. А свет дает наше общее светило.

Парни достают вырезку из журнала. И как зачарованные, принимают разглядывать фотографии могучих культуристов, их рельефные мускулы.

Шурка Дубравин надевает плотные, густо пахнущие кожей, похожие на большие коричневые груши перчатки. Он ощущает свои ставшие огромными кулаки и чувствует себя прямо-таки могучим и чрезвычайно сильным бойцом. Так бы прямо и вдарил. И любого свалил. На самом деле движения его в этих перчатках неловки. И ему, как ребенку, надо всему учиться заново: ходить по-особому, косолапо, наносить удар без размаха, всем корпусом, уклоняться.

Шаг вперед – два назад. Удар с шагом назад. Удар наступая. Удар отступая. Бегут минуты тренировки.

Пот заливает лицо. Красные пятна от ударов алеют на плечах, груди, скулах.

– Как бьешь? Как бьешь? – хрипит Толик. – С вывертом надо. А ты lupишь шнуровкой по носу, кожу содрал...

– Сам ты шнурок, – закрывая скулу, глухо сопит Шурка.

– Тоже мне специалист! В учебник глянь сначала.

– Пошли вперед. Отрабатываем слитное движение. Я – шаг вперед, ты – шаг назад. Еще раз через всю площадку.

А в тенечке, где расположились остальные, возятся потихонечку со штангой, гантелями. Идет бойкая дискуссия.

– Мускул надо качать!

– Да не! Не мускул надо качать, а ловкость вырабатывать. Я в городе на майские такое видел, – морща нос, говорит Андрей. – Мужики подпили – и давай выступать. Прицепились к одному парню: не так стоишь, мол. И тут же хотели его замочить. А что вышло? Машут руками, как граблями. А он – раз-раз! – уклонился, под руками у них прошел. Одному как врезал! Тот с копыт! А ты говоришь: мускулы!.. Амантай, ты че делаешь? Че не качаешься?

– Мне брат книгу привез, хатха-йога называется. Тут вообще отпад! Говоришь, например, своей печени: «Печень, печень, надо хорошо работать».

– Ой, умора! Разве так бывает?

– Бывает. Смотри, как делается, – Амантай, кряхтя, садится в позу лотоса. Пытается загнуть ногу за ногу. Нога соскальзывает.

– Ну-ка, помогите!

Андрей подскакивает, прилаживает.

Наконец, устроившись на травке, Амантай, как в трансе, закрывает глаза и начинает бормотать заклинания. Раскачиваясь на месте, повторяет раз за разом:

– Печень, печень. Ты умная, ты должна работать хорошо...

Шурка и Толик останавливаются. Их кожа блестит от пота. Они еле переводят дыхание и прислушиваются к его бормотанию.

А Андрей тем временем взывает:

– О сердце мое! Дай мне знак, что ты меня слышишь!

В этот момент на другом конце поляны раздается громкий звук.

И Вовуля невозмутимо заявляет:

– Мое сердце уже откликнулось!

Все хохочут.

– Куча мала! – неожиданно орет Амантай и из позы лотоса стремительно бросается на Вовулю. Они падают. Сверху на них прыгает Франк. А затем не выдерживают Шурка и Толик.

Шум, гам, смех, вопли, барахтающаяся куча тел. Везде царит чувство физической радости. Бежит кровь по жилам.

И чего только ни сделаешь ради славы... Не только йогой займешься. Скажут: «Землю ешь – прославишься». Будешь есть.

VI

Шурка спал в саду.

Сон был ярче, чем жизнь, и никак не хотел кончаться. Душа то бродила в сумерках среди страхов, то взлетала в ликованиях. Когда пришло очередное чудовище и принялось высасывать из него жизнь, он вынырнул из омута и открыл глаза.

В темноте прямо над лицом качалась черная ветка с черными жесткими листками и неожиданно светлыми звездочками вишневых цветков. По деревьям, перескакивая с листа на листок, с ветки на ветку, бежал прохладный утренний ветерок. На лицо упал сорванный им лепесток. Шурка положил его в рот, куснул и почувствовал на зубах сладковатую упругую мякоть.

– Ох-хо-хо! – простонал он и снова стал закрывать глаза, поддаваясь сладкой дремоте.

Во дворе загоготали гуси. Что-то будто толкнуло в сердце. Он открыл глаза. И увидел небо.

Аспидно-черное, бархатное. Крупные яркие звезды на Млечном Пути. Но почему-то сегодня они были не где-то там, далеко-далеко, а, холодные и спокойные, манили и дразнили его своей близостью. Шурке казалось, что если чуть-чуть напрячься, то именно сейчас ему откроется какая-то великая тайна. Смысл всего сущего на Земле. Он старался внутренне сосредоточиться, поймать эту мысль. И вдруг почувствовал, как земля под ним качнулась, поплыла через это темное небо навстречу звездам. А свет их – ровный, яркий, неугасимый – пронизывал темноту ночи и лился в его раскрытое сердце. Еще мгновение – и мир откроется в своей истинной сущности.

Каким-то внутренним усилием он отделился от своего тела и полетел, покачиваясь, как в лодке. «Я сам Земля! Я сам этот сад», – мелькнуло в голове. «Но где я?» – испугался вдруг он. И обнаружил себя лежащим внизу в саду. Страх разом смыл радость полета. Страх бросил его обратно в тело.

Тайна исчезла. Очарование обернулось горечью: «Никогда, никогда не быть мне на звездах. Никогда мне не набрать в горсть звездной пыли, не увидеть пейзажей других планет».

Странное слово «никогда». Вместе с ним окончательно ушла радость, и явилась безмерная земная тоска по чему-то утраченному или так и не найденному. Тоска эта ширилась, захватывая все новые уголки души. Ему казалось, что он потерял что-то важное. Силился найти. И не мог.

Человек – не только дитя Земли, но и дитя космоса, и воспоминание об этом живет в нас до тех пор, пока мы с годами не похороним его.

VIII

Дома Шурку ждет сюрприз. На столе в его комнате валяется солдатский ремень. Пахнет кирзовыми сапогами, крепким табаком, дешевым одеколоном и еще чем-то чужим. Шурка только намного позднее узнает, что так пахнет казарма.

Это может значить только одно: из армии вернулся старший брат Иван.

Уход его в армию два года тому назад был воспринят и матерью, и отцом с огромным облегчением.

Есть такие люди, которые всю жизнь идут непонятым для окружающих, но каким-то только им одним ведомым путем. Всю жизнь они изгой в семье, на улице, на работе, в школе.

– В тетю Клаву пошел! – говорил отец.

Тетя Клава – его родная сестра – запомнилась всем тем, что приехала в гости сразу после войны. И однажды, когда брата и его жены не было дома, собрала их нехитрые пожитки и ушла на станцию.

Иван тоже с детских лет все воровал в доме. Для их семейства он был тем, чем знаменитый багдадский вор для своего. Что бы ни положила мать в заветное место – конфеты ли, сахар, деньги, – все немедленно находилось Иваном. И так же немедленно исчезало.

В школу он ходить не хотел. А если и отправлялся туда, то, казалось, только для того, чтобы бить окна, материть учителей, стоять в углу и прятаться от уроков за туалетом с такими же, как и сам, бездельниками.

Все дело в его горячем, порывистом, а в чем-то даже истеричном характере. Стоило кому-то сделать ему замечание, как он сразу бросался в драку. В последний раз, перед армией, кинулся с тяпкой наперевес на соседку, которая нелестно высказалась в его адрес.

Закончив с горем пополам шесть классов, после которых директор школы попросил отца «забрать разбойника», он начал трудовую деятельность.

Но куда бы Ивана ни пристраивали, работать он не хотел. В полеводстве ему показалось неудобно, жарко. Послали на стройку – парень здоровый, крепкий.

Через неделю он, рыдая, показывал отцу свои огрубевшие руки и истерично кричал:

– Вот какая работа! Я не могу! Посмотри на мои руки!

Руки действительно «украшались» мозолями. Впрочем, как у всех.

Ладно. Подделав справку об окончании семилетки, Иван пошел учиться на шофера. Кое-как закончил курсы. А тут пришла пора идти в армию.

– Армия его исправит! – говорил отец, провожая оболтуса в город на призывной пункт.

Это был выход из положения. Как ни крути, а два года – срок немаленький. И по замыслу окружающих, армия должна была изменить Ивана.

Прошло время. Давно уже мать поглядывала на дорогу. Выходила иногда за околицу.

И вот он вернулся.

Шурке тоже не терпелось увидеть Ивана. И он быстро рванул в летнюю пристройку. Заскочил в дверь, остановился.

На плите шкварчит, распространяя дразнящий аромат, яичница из двенадцати яиц. На столе стоит припасенная с незапамятных времен бутылка. За столом рядом сидят несколько непохожие люди – отец и сын. Алексей – длинный, сухощавый, по-северному белокожий, жилистый, в майке. На его лице оживление и легкое недоверие. Иван – круглолицый, курносый, низкорослый, широкоплечий, загорелый. Весь страстный, горящий, живой.

Братья обнимаются. Шурка садится рядом. И разговор продолжается.

Собственно, говорит в основном Иван. Мать от плиты радостно соглашается с ним, поддакивает его словам. Отец же, наоборот, хотя и кивает головой, но чувствуется, что не вполне доверяет всему, что ему говорится.

– Я теперь совсем другой стал, – торопливо хрустя огурцом и перескакивая с одного на другое, стараясь побыстрее высказаться, доказать всем, что он теперь совсем иной человек, говорит Иван. – Я теперь понял, как надо жить. Возьмусь за дело. Школу закончу обязательно. Пойду в вечерку. В восьмой класс. Аттестат получу. Я теперь стихи пишу. Меня, мое стихотворение, даже в «Комсомолке» напечатали. Есенин – вот был человек, это да! А как крестьянина понимал! Жизнь – это бурное море. И надо быть хорошим пловцом, чтобы не утонуть. Друзья! Это были не те друзья у меня. Перепелица да Островский. Работать пойду. Помогу вам. Надо только отдохнуть. Мне теперь любую работу дадут. Вы знаете, где я служил? В погранвойсках. Мы в Пицунде дачу Никиты Сергеевича охраняли. Я даже один раз его сам видел. Потрясающий мужик.

– Сынок, а мы тебе деньги посылали. Сто рублей, помнишь? Ну, когда ты написал, что в армии аварию сделал. Надо было починить машину, – робко и радостно отозвалась от плиты мать, напомнив ему, с одной стороны, как она ему помогала, с другой – слегка как бы заискивая перед старшим сыном. – Дошли?

– Да, я из этих денег еще и часы на дембель купил. Ну, это мелочи. Я теперь совсем другой стал. Там нас каратэ учили, – сказал он, обращаясь к Шурке. – Знаешь, какая это штука?! Силищу в руках дает. Однажды один боец, у него так были набиты мозоли на руках, такая сила была, спросонья муху хотел убить, она ему на лоб села. Стукнул себя по лбу и сразу полчерепа снес. Во какая силища! Нас тоже тренировали. Каждый день физкультура: кросс, гимнастика. Я тебя, брат, научу всему.

– Сынок, а говор у тебя теперь какой-то ненашенский. Не по-нашему слова выговариваешь, – заметил отец. – Ну, а, в общем, дай бог, чтобы все, как ты говоришь, было. Я завтра поговорю с нашим главным механиком в гараже насчет работы для тебя. Может, сначала будешь подменным шофером, а потом и на машину посадят. Вместе будем работать.

– Только мне сначала отдохнуть надо хорошенько. Я и так устал от службы. А вы сразу работать, работать! Отдохнуть дайте!

– Конечно, конечно! – заметила мать, подавая на стол жареного гусака.

«Для меня гусака никогда не жарили, да еще целиком, – подумал Шурка. – А здесь, подумаешь, событие – в армии отслужил! Все служат. Достижение какое».

IX

Тени удлиняются. Алая, как раскаленный кусок железа, закатная полоса медленно остывает на западе. Полумрак мягко выползает из всех щелей. В саду птицы стайками усаживаются на ветки.

Приходит вечер.

Приходит так же, как и тысячу лет тому назад. Как и миллион. Так же, как и в эпоху динозавров.

Вечное движение. Заход. Восход. И только человек с его ощущением, что именно он первый живет на этой Земле, думает, что закат солнца прекрасен. Он не прекрасен. Он вечен. Но Шурке Дубравину сегодня не до этих тонкостей. Сейчас загорятся вечерние огоньки в домах. Птицы запоют вечернюю песню. В тишине поплывет запах цветущих садов. Он будет идти отовсюду: от роз у окна, от сирени на аллее, от яблонь. А потом одна за другой начнут вспыхивать звезды. Ах, эти звезды и Луна! Их свет зальет фантастическим огнем весь окружающий мир. Все запылает, заискрится под этим лунным светом. И будет ночь.

Чудесная, тихая, теплая ночь над Жемчужным. Прекрасная, полная любовного томления и ласки. В такую ночь, если ты не любишь и не любим, остается только одно – упасть на землю, закрыть лицо руками и громко зарыдать.

Постойте, постойте!.. Из центра поселка от клуба раздается призывный сигнал. Играет музыка.

– По переулкам бродит лето. Солнце льется прямо с крыш. В потоках солнечного света у киоска ты стоишь, – поет огненный, знакомый целому поколению советских людей голос Муслима Магомаева. И на этот пароль немедленно откликается Шуркино сердце.

В какие времена, в какие минуты, где и когда он потом еще будет так тщательно, с волнением собираться на свидание?

Никогда и ни при каких обстоятельствах.

А почему? А потому что свидание первое.

Отгладить брюки. Начистить ботинки. Надеть белую рубашку и через тот же самый лесок, через который ходишь в школу, теперь мчаться на тусовку. На танцы. Клуб ярко освещен, а танцплощадка рядом с ним темная. Но это не важно. Главное, что в углу стоит динамик и гремит, зазывая народ. Но никого еще нет. Шурка поторопился. Пришел первым. А зря. Некие негласные правила культурной сельской жизни гласят: в кино

надо приходить в тот момент, когда фильм уже начался. Раньше времени приходит только малышня.

Дубравин отходит от танцплощадки в сторону, в темноту. Присаживается на лавочку. И наблюдает за развитием событий. Вот он замечает, как возле клуба засуетились ребяташки из соседних домов. Забегали, замелькали. Еще через минуту подплыли под ручку две подружки-школьницы. Вот Аркадий Тихонович Кочетов – их учитель биологии и ботаники, ярый любитель кино, не пропускающий ни одного сеанса. И большой специалист надзирать за поведением учеников. Бывает, что он после фильма прячется где-нибудь на аллее среди кустов сирени и внимательно наблюдает, кто с кем куда идет.

Несколько раз его обнаруживали в таком ракурсе. После чего он с невозмутимым видом выскакивал из кустов и топал домой.

Но вот на площадке появляются объекты, больше всего на свете волнующие Дубравина, – девчонки из их класса. Обычно они попадают в такие места парами. И сегодняшний день не стал исключением. Первыми приходят Лена Камышева и Валентина Косорукова. Они проплывают по кругу и тихо удаляются в кинотеатр. За ними на свет фонаря у танцплощадки выскользывает из темноты аллея Андрей Франк. Оглядывается вокруг и хочет так же ускользнуть в темноту. Но Шурка тихо зовет его со своей лавочки.



– А, это ты. Привет, сэр! – Андрей подходит к скамейке и присаживается рядом. – Ну что? Никого нет? – Конечно, под «никого» он подразумевает девчонок, с которыми они сегодня договорились вместе

идти в кино. Так как-то обменивались, обменивались в классе шутивными записками, а потом шутя договорились встретиться.

И вот теперь два кавалера с тоской оглядывают окружающую местность. Ведь это черт знает что, а проще говоря, их первое свидание. И они, надо признаться, отчаянно трусят. Во-первых, потому что не знают, как поступить и что говорить, когда девчонки придут. А во-вторых, боятся, что они не придут, и тогда дело будет вообще дрянь.

В общем, так плохо и так нехорошо. Но пока оба парня делятся друг с другом своими страхами и сомнениями, музыка замолкает, и из глубины аллеи показывается интересующая их пара.

Люда Крылова – девочка с кудряшками. Сегодня всех мальчишек класса потрясает ее тонюсенькая талия. Хорошо развитая грудь. Голубые глаза. Кудрявые с рыжинкой волосы. Эдакое томное, невинное создание. (Много лет спустя, когда Дубравин узнает, что такое голливудский стандарт красоты пятидесятых годов, он поймет, что она как раз соответствовала этому стандарту.) Живет она с матерью и братом. Мать работает на почте. Кажется, заведующей. Обитают в крошечном, но своем домике. Счастливо, несчастливо – бог знает.

Валентина Сибирятко – девушка противоположно другого типа. Настоящая русская красавица. Круглолицая, с румянцем во всю щеку. Зеленоглазая, молчаливая.

Если Людмила – решительная и говорливая, то Валюшка из тех, кто «в тихом омуте».

Сейчас они обе, принаряженные, прекрасные своей юной красотой и слегка смущенные собственной смелостью, пришли в «кино». Но по сути все четверо понимают, что это их первое свидание.

– Здравствуйте! – смущенно, в нос произносит Шурка, когда девочки нерешительно-медленно, но все-таки приближаются к ним из темноты.

– Приветствую, – вылезает из-за его плеча Андрей. И, о счастье! Тут же говорит, сглаживая ситуацию, о школьных делах. О том, что скоро вся их классная компания пойдет в большой поход. Что Феодал (директор школы) сказал: если они выиграют республиканские соревнования по туризму, то он всех пошлет на большую экскурсию в Алма-Ату.

– Да ты что?! А откуда ты знаешь? – засыпают его вопросами девочки. Неловкость исчезает. В итоге они, совсем как обычно, будто и нет этой странной ситуации первого свидания, быстро переговариваясь, идут в клуб. Здесь в фойе, нервничая и психуя, дожидается хоть какого-нибудь народа лысый хромой киномеханик дядя Петя. Мастер культурного цеха, он же и билетер, выдает им четыре билета и многозначительно хмыкает.

Давно ли он гонял этих мальчишек, мечтавших на халяву с деревьев посмотреть в летнем кинотеатре «Приключения незабвенной Анжелики» или «Фантомаса»? Давно ли он стряхивал их с этих деревьев, а они пытались проскользнуть в зал безбилетными? И вот надо же – пришли с девушками.

Ребята торжественно проходят в почти пустой темный зал и усаживаются на камчатке так, что девчонки оказываются вдвоем посередине, а Андрей и Шурка – по краям. Каждый сбоку от своей крали.

Начинается журнал. Но на душе у Дубравина нет покоя. Он чувствует рядом тепло Людмилиного плеча и ощущает, что они пришли сюда вовсе не за тем, чтобы смотреть скучное кино. Главное, чего девочки ждут от них, связано вовсе не с фильмом, а именно с ним, с Дубравиным.

«Возьму ее за руку. В темноте не видно, – думает Шурка и весь вспотеваает от страха. – Нет, возьму! Иначе какой же я мужчина? А вдруг она выдернет руку, если я ей не нравлюсь? А если они действительно пришли только кино посмотреть? Будь что будет. Не могу же я сидеть здесь дурак дураком, даже не понимая, что там показывают, и мучиться в нерешительности. Тем более мне страшно хочется к ней прикоснуться». И он осторожно протягивает холодную от ужаса руку, тихонько касается ее ладони. А когда чувствует, как вздрагивает ее рука, сам вздрагивает, но не отдергивается, застывает в оцепенении, тихонько берет эту застывшую ладонь в свою.

И сразу не страшно, а радостно. Счастье от того, что закончились эти муки нерешительности. Так они и сидят весь сеанс, держась за руки и глядя только на экран, чтобы никто из окружающих не подумал, что между ними что-то происходит. В какой-то миг она осторожно высвобождает свою ладонь из его. Но ровно через минуту сама находит его руку.

Он на вершине блаженства: «Как в раю».

А фильм скучный и занудный. Впрочем, судя по всему, сегодня это никого не колышет. Они заняты друг другом.

После кино начинается традиционный ритуал провожания домой. Наверное, так же происходит это из поколения в поколение. Но вся прелесть в том, что каждое ощущает себя первым.

Сначала до мостика через речку идут все вместе, как будто боятся обозначить пары. У мостика, где надо расходиться, потому что девочки живут в разных сторонах, происходит сцена трогательного прощания. С обниманиями и птичьим разговором в полунамеках:

– Ну, Валечка, давай, как договорились!

– А ты Гоше передай, что я помню.

– Целую тебя, солнышко!

– И я!

Парни в это время, скромно потупившись, стоят в сторонке, дожидаясь конца обряда. Но вот Шурка остается с Людмилой наедине.

Это горе! Если за минуту до того можно было участвовать в разговоре на уровне междометий или смеха по поводу Андреевой шутки, то теперь приходится поддерживать его исключительно самому. А это оказывается непростым делом.

Каким-то внутренним чутьем Шурка прекрасно понимает, что самое ужасное, когда провожаешь девушку – это молчать пень пнем. Однако легко болтать он не умеет. А чем больше думает, что бы ему сказать, тем меньше может говорить. В общем, облом. Людмила, видимо, тоже чувствует напряжение, понимает его состояние и пытается ему помочь. Она неожиданно ловко берет его под руку и, отвечая каким-то своим мыслям, говорит:

– Саша! А ты своих родителей любишь?

Ему от этого ласкового тона вдруг становится легко и просто с нею, возвращается привычный поток мыслей о себе, о своей семье:

– Ты знаешь, раньше я как-то не задумывался над этим. А сейчас даже не знаю, что сказать. Отец казался мне в детстве таким важным, все знающим, умеющим. А сегодня я понимаю, что он простой шофер. И человек слабый. Как все слабые люди, не сумевшие чего-то достичь в этой жизни, занимается критикой. Все ему здесь не нравится: начальство, люди, машины... Люблю ли я его? Но во всяком случае, не восхищаюсь, как это было в детстве. А с другой стороны – помню, как он брал меня с собой в рейсы. Нам было хорошо вместе.

– А у меня никогда не было отца! Можешь себе представить? Никогда не было и нет человека, которому я могла бы сказать: «Папа»... Как-то не так...

Неожиданная волна жалости и дикой нежности хлынула в сердце Дубравина после этих слов. Он остановился и обнял Людку за плечи. И так же неожиданно она вдруг просто и доверчиво прильнула к нему. Прильнула и стала лепетать о чем-то. И уже не надо думать, о чем говорить...

Х

Уснул сразу. Как будто упал в воду. Он даже не почувствовал перехода

из одной среды в другую. Потому что сонная вода была такой же теплой, как воздух.

Мягко и ласково набежала волна. Скользнула по ногам. И о чем-то зашептала, встретившись с белым песком пляжа.

Он взял свою женщину на руки. В черном закрытом купальнике она выглядела легкой, стройной и угловатой, как подросток. Однако, обняв ее, он ощутил бронзовую упругость и тяжесть налитого силой жизни тела. Такое тело было, наверное, у храмовых жриц Востока. Но сейчас, зайдя с нею в теплую, как парное молоко, воду, он чувствовал, что в ней нет того ледяного, присущего богиням равнодушия, которое насмерть убивает желание. Она была живой. И такой несказанно родной...

Сон оборвался. И продолжался.

...Весло погрузилось в прозрачную теплую воду. Пирога, покачиваясь на волне, медленно заскользила от берега. За бортом видны были кораллы, скользили стайками рыбки. Позади остались райские острова с их вечной пронзительной зеленью, с прохладой кондиционированного бунгало, ослепительно белым песком пляжей. Впереди виднелась только аквариумная гладь моря и восходящее над ними солнце. Оно не обжигало кожу, а грело их тела и души.

Он оставил весло и перешел на корму. Ласково, но настойчиво обнял ее. Она обернулась, ища своими губами его губы. Он целовал ее в шею и чувствовал нежную, подсоленную морской водой кожу. Так, целуясь, они медленно опустились на дно пироги. Она была все ближе и ближе. Это была такая близость, каких не бывает наяву...

Легкое касание маленьких грудей... Тепло и гибкая упругость живота... Еще мгновение. И они слились вместе...

В этот миг он просыпается.

XI

День тянулся томительно долго.

Под вечер Шурка взялся колоть дрова на зиму. Достал большой туповатый топор. Заострил его на точильном круге в сарае.

У огромной, наваленной валом кучи бревен спал Джуля. Когда Шурка принялся их с грохотом ворочать, он вскочил и ошеломленно уставился на него: чего, мол, ты удумал?

Из дома вышел в одних трусах брат Иван. Хмуро буркнул: «Привет!» – и пошел в сад к туалету. На его курносом помятом лице, в мутных глазах

явственно проступали следы вчерашней попойки.

Возвращаясь, он остановился недалеко от Шурки, почесал грудь, посмотрел мутными красными глазами на работающего брата и опять повернулся к дому.

– Ты бы помог напилить, – сказал ему в спину младший брат.

– Сейчас приду, – недовольно шмыгнул курносый нос старший.

Иван постоянно ронял себя в Шуркиных глазах. Первое время Дубравин увлекся его рассказами о том, как он скоро пойдет учиться, будет писать стихи. Иван даже показывал младшему брату свою толстую тетрадь в коричневом переплете. Шурка читал. И радовался. Правда, рифма была какой-то вымученной. Но когда брат ревностно цитировал Есенина, Шурка думал: «Вот он у меня какой молодец!»

Но Иван походил, походил со своими стихами, повыпендривался, а потом опять начал попивать. Да и, откровенно говоря, обстановка не располагала к стихоплетству. Стаканы в деревне звенели по любому поводу. Бутылка красного или белого была самой твердой валютой на все случаи жизни. Привез старухе дров – бутылка. Помог украсть мешок кормов с совхозной фермы – бутылка.

Не заладились у брата дела и с девушкой, которая ждала его из армии. Когда Иван вернулся, отношения их пошли вроде бы на лад. И все думали, дело кончится свадьбой. Ну а так как характер у Танюшки был боевой, то в принципе она могла, что называется, взять дон-Ивана в руки. Но увы. Из этого ничего не вышло. Молодежь, что называется, не сошлась характерами. Иван по простоте душевной предложил девушке пожить с ним, не регистрируясь. В те времена в деревнях о таком и не слыхивали. В ответ она твердо постановила: либо законный брак со штампом в паспорте, либо ничего.

Шурка, глядя на постоянно пьяного братца, стал тихо ненавидеть его, поведение Ивана бросало тень на всю их семью.

Иван чувствовал это переменившееся отношение к себе со стороны младшего брата и злился. Он попытался было вернуть все на свои места с помощью пьяных откровений. Но наткнулся на холодное презрение.

Вот и сейчас Шурка позвал брата пилить дрова так, для проформы, чтобы еще раз, с одной стороны, убедить себя в его никчемности и оправданности своего презрения. А с другой – показать Ивану его никчемность, вызвать чувство вины.

Ведь ясное дело, что в таком состоянии тот работать не мог.

Но неожиданно Иван вышел. Видимо, почувствовал в словах брата вызов. И решил доказать, что он в полном порядке. Хмуро, отплеываясь,

выпил кружку воды и, не глядя по сторонам, встал к козлам. Шурка швырнул первое бревно.

Зазвенела разгибаемая двуручная пила и вгрызлась в мягкий бок белолистки, как еще называют пирамидальные тополя. Шурка завелся с пол-оборота. С ходу взял такой темп, что через минуту отпиленный чурбак глухо стукнулся оземь. Не останавливаясь и не сбавляя темпа, передвинул пилу дальше.

И пошла потеха. Только летели опилки. И стучали оземь чурбаки. Через пять минут оба взмокли так, что хоть рубаху выжимай. Шурка, не останавливаясь, то и дело мотал головой, сбрасывая наземь прозрачные капли пота со лба. Рука уже саднила от неудобной рукоятки. Сердце колотилось в груди со страшной силой.

«Точно мозоли кровавые будут, – думал он. – Ну, ничего. Пробьемся. А ты, браток, терпи. Гад такой. И какой вчера дебош устроил! Как свинья. Орал. Дергался. На отца кидался. Еле усмирили тебя. Пьянчуга!»

Похмельный Иван тоже пока терпел. Он чувствовал отношение младшего брата. И, видимо, пытался доказать, что все ему нипочем. Но видно было, что силы его на пределе. Он тяжело дышал, сопел. Лицо побагровело. Когда допилили третье бревно, Иван не выдержал. Пока Шурка вытаскивал и укладывал на кривоногий, грубо сбитый козелок очередной ствол, молча присел в тени сарая.

– Ну что, перекур?!

– Какой такой перекур? – ответил Шурка, любивший яростную работу, в какой он мог бы дать выход своей натуре, а сегодня еще и желавший досадить Ивану. – Только начали. А ты раскис. Ну ладно, отдыхай! Я сам...

Иван сорвался с места, сжал кулаки, подлетел к нему. Яростный, ненавидящий.

– Я тебе, сволочь, сейчас покажу! Все выпендриваешься? Щенок! – он уже развернулся, примериваясь...

И тут в Шурке перещелкнуло. Видимо, сорвалось долго сдерживаемое раздражение против брата. К тому, что не оправдал надежд. К его бестолковости. К пьяным разборкам по ночам.

Шурка схватил лежавший рядом колун. Выпрямился и процедил, трясясь от ярости:

– Только тронь меня, сука! Изрублю на куски!

Он видел сейчас только красные с прожилками глаза Ивана.

Иван ощутил ярость брата. Увидел, как у того с лица отливает кровь, и понял: тот действительно сейчас пустит в ход топор.

– Психический! – прошипел он, отступая. Повернулся и ушел в дом. А Шурка взял первый попавшийся чурбак. Поставил его торчком на колоду. И ахнул топором со всего размаху так, что чурки полетели в разные стороны.

Джуля, спавший у своей будки, вздрогнул и насторожил уши. А он колот дрова неистово, яростно, вкладывая в каждый удар всю силу молодого тела. Когда попадался сучковатый пенек, насаживал его легким ударом на топор, переворачивал и бил обухом о колоду так, что все вокруг вздрагивало.

Иван больше не показывался из дома.

Собака в ужасе спряталась в будку. А он все махал топором в яростной тишине, грозный, как бог.

Потом снес наколотые дрова в сарай и аккуратно сложил там в поленницу.

«Что здесь за жизнь такая? – думал он уже без гнева, а только с чувством какой-то печали. – В сущности, и наш Иван неплохой. Что-то хотел сделать. А теперь во что превратился? Как все здесь. Пьяница. Засасывает здешняя жизнь. Заживо человека хоронит. Любого. Бежать надо. Бежать отсюда, из деревни», – неожиданно закончил он.

XII

*Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста!
Пленила ты сердце мое одним взглядом очей
твоих, одним ожерельем на шее твоей.*

Песнь песней Соломона. Гл. 4

Вначале был взгляд. Внимательный и пристальный.

Затем он увидел глаза. Большие, круглые, золотисто-зеленые.

После стычки с братом, который по приезде загулял, Шурка третий день ходил сам не свой. Хмурый и серый. Сознание без остановки прокручивает то одну, то другую безобразную сцену. И вот сейчас он натывается на эти глаза и погружается в них. В другой мир. Мир, в глубине которого, в самой глубине зрачков, что-то изменчивое, ласкающее, теплое. Душа?!

Он улыбается.

И приходит свет. Этот поток света пронзает его от макушки до пяток.

Входит в сердце, смывает все: злость, обиду, раздражение. Вот он будто сидел в темноте, в яме. И вдруг его оттуда достали. На солнце.

За светом вливается в душу радость. Такая огромная, что не вмещается в ней. Он чуть не задыхается от счастья. Невольно губы сами складываются в глупо-блаженную улыбку. Становится тепло и спокойно.

А в глазах напротив уже нет сочувствия. В огромных черных зрачках скачут озорные бесенята.

Она подмигивает ему и отводит взгляд.

И вдруг он чувствует, что с этой минуты ему чего-то будет постоянно не хватать. Как будто он маленький-маленький человек и вдруг потерял маму.

Так приходит чувство.

ХІІІ

Неспешной чередой, день за днем, тянется вечность. Внешне мало что изменилось в жизни Шурки Дубравина. Так же собирались на тренировки ребята, так же он ходил в школу. Но душа его была смущена.

Всего один взгляд, одна улыбка. И в мире неожиданно появился человек, мнение которого стало для него самым важным. Сделав что-нибудь, Дубравин теперь обязательно спрашивает себя: «А как бы на это посмотрела она? Одобрила бы?! Осудила бы?!»

Это стало каким-то наваждением. Он приходил в школу и сразу начинал искать глазами Галину Озерову. Если она была на месте – мгновенно успокаивался.

Вот и сегодня Шурка, как вихрь черный, влетел в класс в последнюю минуту. Быстро-быстро достал учебники, тетрадь. Открыл нужный параграф и... И осторожно оглянулся. Невероятная, первобытная сила заставляла его оборачиваться, чтобы уж, наверное, в миллионный раз увидеть ее.

Любимая сидела на месте. Круглолицая, подстриженная под мальчика, с огромными зеленовато-золотистыми, то задумчивыми, то озорными глазами, она внимательно смотрела на доску, где красовалась полустертая надпись: «Витка + Галка =?».

Ощувив его упорный взгляд, она беспокойно оборачивается. Их взгляды пересекаются только на мгновение. Шурка отводит глаза, опасаясь и одновременно желая, чтобы она догадалась о его мыслях.

«Нет, не нравлюсь я ей, – с тоскою решает он. – Не буду больше на нее

смотреть».

– Не буду! – стиснув зубы до боли в челюстях, повторяет он про себя. Его бесит эта несвобода. То, что и горе, и радость его зависят не от него, а от того, как посмотрит, что подумает другой человек.

С соседнего ряда оборачивается Люда Крылова. Трясет кудряшками и улыбается. Но Дубравин делает вид, что не замечает этой ласковой улыбки, и с таким же непроницаемым лицом продолжает разглядывать цветущую сирень под окном. Улыбка на лице Людмилы увядает, синие глаза темнеют.

Есть в их отношениях с Крыловой какая-то недосказанность, неясность. Так случилось, что с похода в кино с двумя подругами начался их роман. Кружилась голова. Шуркиному самолюбию льстило то, что самая красивая девочка в классе каждый вечер спешит к нему на свидание.

Но пришел тот день, когда он увидел Галинины глаза. И все в этом мире перевернулось.

Ах, эти смешные и ласковые бесенята. Куда от них деться?

Сегодня первый урок – биология. Дубравин этот предмет любит, но изучает его довольно своеобразно. К примеру, представляет себя превратившимся в микроба и мысленно путешествует по всему телу, проникая в сердце, легкие, печень, сражаясь с бактериями и вирусами. Как ни странно, такой способ изучения дает ему больше, нежели другим постоянная зубрежка. Он ходит по биологии если не в отличниках, то, во всяком случае, в хорошистах.

Сейчас Шурка достает потрепанный учебник с разноцветными изображениями на обложке бородатых обезьян, мух-дрозофил, схемы деления клетки и пытается за оставшиеся минуты углубиться в материал.

Тихо скрипит дверь, и, как всегда неожиданно, появляется Аркадий Тихонович Кочетов. Сидящие на камчатке не успевают даже вовремя спрятать игру в самолетики, а две девчонки, бурно обсуждавшие платья, так и застывают, осекшись на полуслове.

Кочетов осуждающе смотрит на них, качает головой и, стараясь держаться как можно прямее, идет к учительскому столу.

Маленького роста, щуплый, задиристый, с остреньким носом, белыми, выгоревшими от постоянного пребывания на солнце бровями, коричневым от загара лицом, он ходит всегда важно, стараясь держаться прямо. И этим действительно похож на петушка. Сходство усиливает остроконечная шляпа и привычка по-петушиному вертеть шей.

Он мученик науки, свой предмет считает главнейшим и болезненно переносит всякие посторонние занятия учеников.

Оглядывает все три ряда самых разнообразных – равнодушных и внимательных, насмешливых и напряженных – лиц и говорит:

– Садитесь!

Затем разглядывает аквариум. Разыскивает в его зеленоватом полумраке рыбок. И по привычке проверяет, все ли они на месте. Живо раскладывает свои конспекты, учебники и вместо темы урока неожиданно заявляет, подавляя взглядом сидящих на задней парте девчонок:

– Вот, собираются жить дальше! А думают не об учебе, а только о тряпках! Нет, из вас, Сулеева и Рябова, ничего путного не выйдет... Будете как Пятницкая...

Пятницкая – бывшая ученица десятого класса. В прошлом месяце вышла замуж за парня, вернувшегося из армии. Жили они не регистрируясь. В ожидании совершеннолетия молодой жены. Когда Кочетов узнал, что школьница вышла замуж, впал в неистовство. И талдычил только одно: «Судить его, подлеца!»

Но окружающие смотрели на это дело иначе. Пару раз молодых вызывали в сельсовет. Супруги держались друг за друга крепко. И все отступились. Живут в добром согласии, ну и пусть себе живут.

Особенно разозлил старого холостяка разговор с молодым мужем. Все его аргументы он отмел одной фразой:

– Если бы все рассуждали так, как вы, Аркадий Тихонович, в стране остались бы одни старики. – И ехидно добавил: – Или дети теперь будут появляться с помощью вашей биологии?

Кочетов понял намек. Холостяк в деревне всегда считается пропащим. Здесь же одиноким бобылем всю жизнь прожил учитель, к личности которого сельчане относятся с повышенным вниманием. И конечно, в таком случае не обошлось без слухов, домыслов. В Жемчужном все знали Кочетова. Родом он был из оренбургской станицы Антоновской. Здесь работал уже более двадцати лет. Поселился в этих краях сразу после войны, во время которой, как поговаривали, попал к немцам в плен и много потерпел.

У него был собственноручно отстроенный дом, сад, ульи. Особенно любил Кочетов возиться с деревьями и цветами. Доставал в питомнике серебристые туи, голубые ели. С гор привозил саженцы дикой груши, скрещивал их с культурной. Его стараниями школьный участок всегда выглядел цветником.

Лет пятнадцать назад, когда приехала к ним в село учительствовать умная, красивая городская выпускница пединститута Александра Гах, он хотел жениться.

Что было между ними, чего не было – о том история умалчивает. Факт, что остался Кочетов холостяком.

Ученики считали его довольно вредным, но, в сущности, он был просто одиноким человеком.

С годами причуды его холостого бытия проявлялись сильнее. Кочетов стал резче на слово, деспотично относился к ученикам и не раз доводил девочек до слез.

На селе считали, что он стал сухим пнем, который уже не зацветет.

Но не так давно с ним произошла эта история. На соседней улице жила вдова. Она воспитывала двоих сыновей. И так получилось, что один из них как-то привязался к пожилому учителю. Стал часто хаживать к нему в гости, помогал в саду, ухаживал за пчелами. В деревне поговаривали, что Кочетов якобы даже усыновил Вовку. Но это вряд ли. В общем, ясно одно – и дневал и ночевал парень у него. И хотя Аркадий Тихонович был человеком довольно прижимистым, Вовку он баловал.

В деревне каждый парень мечтает о мотоцикле. Сначала пацаны ездят на велосипедах. Лет с тринадцати пересаживаются на мопеды и отцовскую технику. Потом им приобретают «Восходы», «Ижи».

Не был исключением в своих мечтах и Володька. К шестнадцатилетию подарил ему Кочетов мощную, быструю, как вихрь, «Яву».

Когда он на своем рычащем и сверкающем чуде влетал во двор и на всем ходу тормозил, радовалось сердце старого учителя.

В темную осеннюю ночь, когда из-за облаков не видно ни звезд, ни луны, повез Володька мать в город на вокзал. Возвращался, беспечно газовал. А тут, как назло, что-то случилось со светом. Лампочка, что ли, перегорела. Только не заметил Володька в темноте стоявшего на дороге без огней и опознавательных знаков брошенного пьяным трактористом прицепа...

Умер он, как говорили потом врачи, мгновенно.

Аркадий Тихонович с тех пор стал еще суше, язвительнее. Во всяком случае, внешне.

Уже под конец урока Шурка набрался смелости и спросил Кочетова:

– Аркадий Тихонович! Тут говорят, что мы едем?

Учитель, собирая свои конспекты и тетрадки, хитро сощурился и, не поднимая головы от стола, а только повернув ее, проворчал:

– Скоро узнаем, куда едете. Ишь, разведали... Только бы им на занятия не ходить.

XIV

В коридоре гам, грохот, топот. Малышня носится из угла в угол. Мелькают белые фартучки, алые галстуки, разноцветная обувь. Один толкает другого, и все кричат, словно глухие. К Шурке подходят Андрей Франк и Толик Казаков – сухощавый, высокий, красивый, темноволосый брюнет, подстриженный под «битлов», но как раз на той длине прически, что разрешается в пределах школы. Он торжествующе улыбается.

– Сэр Сашка! – обращается он к Дубравину несколько торжественным тоном. – Сегодня получено известие...

Андрей Франк перебивает его, блестя глазами:

– Толян, да кончай ты церемонии. Санек, едем на слет. Понял! Слет под Усть-Каменогорском.

Шурка, куда только девается его обычная сдержанность, обрадованно присвистывает:

– Да ну?! Не может быть!

– Мне по секрету завуч шепнул.

Из бокового коридора, о чем-то разговаривая, выходят подруги – Галина Озерова и Людмила Крылова. Кудрявая, улыбчивая Людмила стреляет в мальчишек нарочито томным взглядом с поволокой и отворачивается. Невысокая, но удивительно пропорционально сложенная, с высокой грудью и тончайшей талией, она в один год превратилась в прекрасную, обольстительную девушку. Светлая, чуть легкомысленная кофточка и легкая летящая плиссированная юбка удачно подчеркивают ее юную, всепобеждающую красоту. Рядом с нею стриженная под мальчика, большеглазая, худенькая Галина в своем строгом темно-синем костюме кажется еще совсем не оформившимся подростком.

– Ребята, нас всех на следующей перемене директор школы вызывает к себе, – говорит Галина. – Наверное, насчет поездки.

Каждую весну они участвовали в туристических слетах. Последние годы их команда неизменно занимала первое место в районе. Дважды они ездили в Усть-Каменогорск. Нынче осенью снова выиграли районные соревнования и ждали летнего слета туристов республики, где твердо решили победить. Но зимой по школе начали ходить слухи, что их команду не пошлют. Говорили, что поедут запасные из младших классов.

А сегодня ребята узнали прямо противоположные вести.

Чему верить?

– Конечно! – размышляя, медленно говорит Дубравин. – Если мы выиграем, и для школы это будет неплохо. Директору тоже нужна слава.

Как же, у него команда – чемпион республики среди школьников по туристическому многоборью! Да и нам этот успех, я думаю, не помешает. А молодняк не сможет.

– А главное, представляете, – горячо говорит бесхитростный Андрей Франк, – три дня в горах, на турбазе... Поход к месту слета по реке на плоту. Чудо! С девчонками вместе. – Он в упор смотрит на Галину.

К ним откуда-то из-за толпы шумящих третьеклассников пробивается Вовуля Озеров, Галинкин младший брат. Его большая беленькая голова с пухлыми щеками беспокойно вертится на тоненькой шейке, выглядывающей из широкого ворота рубашки. Глаза ищут кого-то.

Узнав новость, он обрадованно обхватывает Шурку и Андрея за шею. Виснет на них и орет, перекрывая шум голосов:

– Ура!

– Да погоди ты! – выворачиваясь из-под его руки, говорит Андрей. – Это пока только слух.

– Дыма без огня не бывает!

Дубравин вспоминает, что принес Вовуле «Красное и черное» Стендаля, и идет за книгой в класс.

На столе у него лежит какая-то записка. Он думает, от Людмилы, но ошибается. Записка без подписи: «Дубравин! Зря стараешься. Ты ей не нужен. Она ждет из армии другого. Если не веришь, то посмотри на перемене. У нее на столе лежит письмо от него».

Шурка ищет по сторонам, кто мог это написать. Но в классе никого. Только за первым столом Косорукова что-то пишет, прикрывая ладонью.

Шурка знал, что Людмила в восьмом классе встречалась с одним пареньком. Он прошлой осенью ушел из школы. Считалось, что у них все кончилось. И вот теперь какой-то неизвестный «доброжелатель» напомнил.

«Ну зачем же она тогда меня ждет по вечерам? Нет, видно, чужая душа – потемки. Что ее обвинять? Сам ты каков? Тоже небось хорош. Гуляешь с нею, а мечтаешь... Сам себя запутал. И как будешь выпутываться?»

Но таков уж человек: что имеет – не хранит, потерявши, плачет. В глубине души Дубравин все-таки чувствует, что самолюбие его уязвлено.

Сделав как можно более беззаботный вид, Дубравин медленно проходит около ее стола. Да, точно, в уголке лежит конверт с треугольником военной печати. Ему очень хочется взять его и прочесть. И даже рука сама тянется. Но он вовремя спохватывается и, отдернув ее, оглядывается по сторонам.

«Ах, вот так? Значит, в записке правда. Вечером встречаешься со мною,

а по утрам отвечаешь на его письма. Ну ладно! Посмотрим, кому от этого будет больнее, – зло думает Шурка. – Я тебе не Коля Чернышев, из которого можно веревки вить».

XV

В маленьком кабинете директора школы никого. На стене картины, показывающие распространение жизни начиная от древнейших времен до нынешних. На полированном столе аккуратными стопками лежат бумаги и книги. В углу сейф, вдоль стен – несколько стульев. В открытое окно озорно пролезает ветка сирени. Пахнет цветами и старой сухой пылью от карт.

Ребята рассаживаются на стульях у стены. Дежурный, приведший их сюда, выходит.

– Точно едем на слет? – оглядев всех, говорит Андрей.

– Меня могут и не пустить, – отвечает Галинка Озерова.

– А я поеду! – вступает Зинаида Косорукова, здоровенная, как борец, плечистая девица.

– Отлично!

– Здорово!

– А как же подготовка к экзаменам?

– Мы нужны школе. Помогут и экзамены выпускные сдать! – откликается на животрепещущую тему Толик Казаков.

Дубравин в разговоре не участвует. Он в это время вспоминает историю, приключившуюся с ним в младших классах и закончившуюся в этом самом кабинете. Пытается мысленно сочинить на ее основе новую, действующие лица которой – он сам и другие.

«Робот ПЮ-61 – ученик четвертого класса Александр Дубравин. Неумная фантазия привела его к роли робота. – Расставляет он действующих лиц. – Учительница. Ольга Владимировна. Задерганная, крикливая, вечно недовольная всем на свете.

Директор школы. Александр Дмитриевич Тобилов. Прозвище Феодал. Бывший военный, перенесший казарменные навыки воспитания в среднюю школу.

Мария. Мать Дубравина. Столько настрадалась от государства, что опасается всего. Учителя и директора – для нее тоже власть.

И школа. Класс. Доска.

Сцена выстроена. Теперь пьеса. Она раскручивается у доски.

– Дубравин! К доске.

«Я робот, робот, робот! Есть команда. Выполняю. Встаю. Выхожу к доске».

Ольга Владимировна: «Что это у тебя за походка? Как ты идешь?»

Шурка: «Я робот! Я робот!»

Учительница: «Ох уж эти мальчишки. Что это с ним? Заигрался малыш. Спросить его. Ой, да некогда пустяками заниматься. Надо опросить сегодня хотя бы четверых. И новый материал закрепить. Когда тут разговаривать?! Поставлю его в угол. Небось живо одумается».

– Стань в угол. Стой! Петров Миша, к доске.

Проходит пять минут.

– Ну что, Дубравин, одумался? Будешь вести себя как положено?

– Робот ПЮ-61 готов решить задачу!

«Ах ты какой упрямый! – пугается она. – И вообще, в классе, кажется, начинается шум? Ох, если они опять выйдут из-под контроля? Что будет, если директор узнает?»

От страха до ненависти один шаг.

«Маленький негодяй! Он еще и издевается, гаденыш! Весь урок может пойти насмарку. Может, попробовать обернуть дело шуткой? Заигрался ребенок. Вошел в роль. Изображает робота. Какие, к черту, шутки, на носу контрольная! Авторитет мой подрывает».

– Прекрати сейчас же придуриваться!!! Марш на место! К директору пойдем!

«Господи, да что я опять кричу! Сорвалась. Ах, муж Иван. Опять вчера напился, негодяй. Устроил дома дебош».

– К директору тебя. К директору! Ты к-а-а-ак х-о-о-о-о-д-и-шь? К директору!

«Действие второе, – говорит сочинитель про себя и добавляет: – Кабинет директора».

Директор: «Господи, опять эта кикимора какого-то ученика притащила. И что сверкает глазами? Вот точно так сверкал глазами в полку прапорщик Бонятко. А потом оказалось, что он пидор. Уволить бы мне эту стерву. Ведь ни на что не способна. Заморочила голову всем. И детям, и мне. А уберешь – начнутся кляузы. У нее какой-то родственник в райкоме. Как же, педагог с двадцатилетним стажем! Ну что там случилось? Солдатик-то вроде смирный. Ну, так и знал, очередная шалость. Мальчишка – просто артист. Могла минуту с ним поговорить, поиграть. И делу конец. А теперь я должен этим заниматься. Ладно, буду поддерживать, как написано в учебнике, педагога».

– Ну что, Дубравин Александр! Что ты наделал? Как ты мог дойти до такого? А? Ольга Владимировна так вас любит. Так старается сделать из вас настоящих солдат э... людей. А ты срываешь уроки. А что будет, если каждый начнет играть на уроке в роботов или медведей? Эта школа превратится в зоопарк. «Господи, что за дичь я несу?» Дисциплины никакой не будет. Занятий не будет. Ну, что ты на это скажешь? Понимаешь, что говоришь?

Шурка: «И что я такого сделал? Разве я сделал что-нибудь плохое? Мы с Наташкой играли. И я подумал, почувствовал себя роботом. Разве им это объяснишь? Хоть бы это все кончилось. А то еще мать вызовут».

– Нет, ты что молчишь? Ты хотя бы осознаешь, что творишь? Я по глазам вижу, что не осознаешь. Да за такое нарушение дисциплины и порядка школа может тебе по поведению оценку снизить. А это, знаешь, первый шаг. Там глядишь – на учет в милицию поставят.

«Господи, и что я несу?! Какая милиция? А впрочем, что делать? Надо поддержать авторитет. И что за ребенок упрямый. Ну, точно как мой Вовка. Хоть бы покался. Сказал бы, что больше не будет. И пошел бы. Вместе с этой... Ольгой Владимировной, мать ее так. И урок идет».

– Ну что, отвечай мне. Будешь еще срывать уроки? Выводить из себя учителя, что молчишь? Будешь?

Ольга Владимировна:

– Ну, давай! Надо сказать: “Не буду!”. Видите, какой он, Александр Дмитриевич! Упрямый, молчит!

Шурка: «Надо, наверное, сказать: «Не буду!». Но откуда я знаю, буду я еще роботом или нет? Скажу, а потом не сдержу слова. Лучше промолчу».

– А?! Так ты еще и упорствуешь! Я думал, у тебя это случайно вышло. А ты, оказывается, все это злонамеренно устроил. Ну, тогда смотри у меня! Ольга Владимировна, оставьте его после уроков. И вызовите его родителей. Пусть они ему покажут!!!

Действие третье. Два часа дня. Учительская.

Мать: «Затюкают они мне парня. К телятам – и то подход нужен, а тут дети. А эти, что они понимают? Хотя как им скажешь, еще больше будут клевать малышку. Особенно эта дура! Ведь сразу видно, что дура!»

– Он больше не будет! Конечно, не будет, Ольга Владимировна. Я его знаю. Нет, Александр Дмитриевич, он неплохой, не то, что старший, вы не думайте. Только фантазер большой. Все время во что-то играет. К нему подход нужен, понимаете...

Александр Дмитриевич: «Сейчас начнет заступаться за свое дитя. Оно и понятно, что парнишка смирный. Но сейчас начнется склока. Лучше пусть

уж помолчит».

– Знаете что, Мария, не знаю, как вас по отчеству?!

Мать пугается: «Господи! Да он меня по отчеству хочет называть, наверняка какую-нибудь гадость собирается сделать Шурику. Лучше уж промолчать».

– Так вот, Мария Ивановна, я думаю, вам надо подумать о поведении вашего сына...

Пьеса обрывается на самом интересном месте. В кабинет входит директор. Все встают.

Бывший военный Александр Дмитриевич Тобиков потерял ногу где-то на какой-то войне и ходит теперь с палочкой, поскрипывая при каждом шаге протезом. Его невысокая фигура с совершенно лысой головой, вечно прищуренными и без того узкими выцветшими голубыми глазами внушает ученикам первобытный страх. Характер у него занудный. Вызвав человека в кабинет, долго и упорно распекает его, пока тот с отчаяния не признает себя виновным во всех мыслимых грехах. Тобиков преподает историю и особенно любит Средние века, за это ученики прозвали его Феодалом. Он знает, и прозвище ему даже нравится.

Сегодня, судя по фальшиво-веселому виду, который директор любит напускать на себя и которому никто из учеников обычно не верит, он принес хорошие вести.

Шурка недавно заметил, что большая часть учителей стала к ним относиться подчеркнуто уважительно, как к разумным людям. Сегодня в этом духе начал разговор и директор. Слушая его вопросы об учебе, оценках, Дубравин впервые осознает, что они уже взрослые.

«Да, взрослые, – горько думает он, – и уже научились лгать побольшему». Ему обидно, сердце щемит от этого открытия. Он почти не слышит разглагольствования Тобикова.

– Ну а у тебя как дела, Дубравин? – заметив его хмурый вид, спрашивает тот. – Что такой кислый? Я в журнале обнаружил – у тебя опять двойка по алгебре. Ай, ай, ай! Не вижу ответственности.

Директор чуть было не впадает в обычный свой тон и не начинает распекать Шуру. Но видимо, вовремя вспоминает, что вызвал не для этого, и резко меняет тему:

– Ну да ладно! Я вас собрал вот по какому делу. Мы тут посоветовались и решили все-таки послать на республиканский туристический слет ваш состав. Хоть вы и выпускники. И экзамены на носу. Но вы выиграли в прошлом году районные соревнования. Что скажете, орлы?

При этих словах Дубравин чуть улыбается, понимая, что директору непривычно говорить с ними, как со взрослыми людьми.

– Возьмите с собой на случай человека три-четыре запасных из младших классов, – добавляет Тобиков, отпуская их на волю.

XVI

*Уста твои – как отличное вино. Оно течет
прямо к другу моему, улаживает уста
утомленных.*

Песнь песней Соломона. Гл.7

– Посмотри на дорогу! – впервые между поцелуями говорит он. – Видишь огонек?

– Двигается?

– Да, который движется! Это машина. В ней люди. Знаешь, что они везут? Они везут в кабине свои мысли, заботы, переживания. О чем-то мечтают. И каждый из них – целый мир. А мы сидим здесь, и мимо нас проносятся эти вселенные. Или хотя бы частички вселенной.

– Как интересно!

– Иди ко мне! Ну, иди сюда...

Они сидят на лавочке на холме у памятника и вот уже, наверное, часа два отчаянно целуются.

В этих горячих объятиях, в этих мягких, податливых, пахнущих мятой губах растворилось все: Шуркино раздражение, уязвленная гордость, желание развязаться с Людмилой.

Он ни о чем давно уже не думает. Только чувствует. Нежную влажность губ, локон, попавший под поцелуй, свой язык, проникший между ее зубами. Встречное скольжение ее языка. Упругость спины под руками. Застежку лифчика. Касание ее бедра. Упорство рук, упершихся ему в грудь. Страшное напряжение желаний.

Минуту назад его рука чуть-чуть продвинулась вперед по бедру. И казалось, пальцы коснутся трусиков. Но снова надо преодолевать вязкое сопротивление ее пальцев и шепот:

– Не надо! Ну не надо! Нельзя!

Сладкая пытка.

А в темноте мягко и волшебно пахнут розы. Вдали чернеет лес. Поле

вокруг памятника полно каких-то шорохов и звуков. Надрываются сверчки. Где-то поет птица. Все дышит жизнью, любовью, желанием. И эта юная пара на лавочке, слившаяся в бесконечном поцелуе, также гармонично и естественно вписывается в волшебную симфонию продолжающейся и торжествующей жизни.

Островекий, похожий на штык памятник был поставлен на этом придорожном холме не без участия школьников года три тому назад. Тогда на берегу Ульбы рыли обводной канал и случайно нашли два скелета.

Из города наехали милиция, эксперты, начальство. Прояснилось, что погибшие были молодыми женщинами лет восемнадцати-двадцати. «Убиты выстрелами в затылок. Приблизительно в двадцать втором – двадцать четвертом годах».

Эта безымянная могила на крутом берегу реки открыла ребятам другую правду о Гражданской войне. Не ту, о которой писали в книгах и которую показывали в кино.

Они начали поиск с опроса стариков. Восьмидесятилетняя бабка Мамлиха и рассказала им, что случилось здесь весной двадцатого года.

– Совсем молоденькие девочки были. Бандиты их споймали. Посадили в сарай. Ох и плакали они! Ох как плакали! Три дня сидели... Говорил народ, что будто бы они были из отряда какого-то...

А потом пошли запросы в архив, десятки писем бывшим командирам красных партизанских отрядов. И открылись имена тех девчонок – Харитина Данилова да Мария Куликова. И лет им было по девятнадцать. И послал их на связь с другим отрядом красный командир. Да не дошли они. То ли белые, то ли бандиты остановили. А дальше – сарай и обрывистый берег Ульбы.

А эскиз этого памятника героям Гражданской войны у дороги нарисовал учитель-немец Григорий Яковлевич Оберман, во время войны высланный в Казахстан.

И построили его совхозные умельцы.

На открытие пришли сотни людей.

Теперь лето, место возле памятника облюбовали влюбленные парочки.

Дубравин высвободился из объятий и подошел к цветущей черемухе. Отломил большую ветку, на которой распустились крупные белые цветы, и, дурачась, протянул Людке.

– Мадам! Си ву пле... На память...

В это мгновение он вспомнил утреннюю записку, и радость его угасла, съедаемая ревностью и обидой. Он помрачнел, но решил схитрить и не говорить о письме прямо.

– Аттракцион в духе великих психологов! Хочешь, я угадаю твои мысли?

Он старался сохранить веселый насмешливый тон, но помимо его воли в голосе нарастало напряжение.

– Ну, попробуй!

– Счас настроюсь на твою волну! Так, готовлюсь. А, вот! Ты думаешь в эту минуту о некоем письме, которое получила на днях. И о том, кто его написал. А написал его... Минуту... Написал его черноволосый, длинноногий парень!

Конечно, Шурка и не собирался угадывать ее мысли. Он просто искал способ, чтобы сказать Людмиле о том, что узнал. Тем разительнее был эффект.

– Откуда ты узнал? – ошеломленно спросила она.

– По глазам!

– Обманываешь?!

– Истинный крест!

– Нет! Кто-то тебе из девчонок рассказал...

Ему вдруг стало до того обидно! Он считал, что любим. Что единственный. А оказывается, даже вся женская половина класса знала о его роли запасного.

Людка женским инстинктом почувствовала происходящее с ним.

– Тебе обидно, да?

И хотя ему действительно было обидно, он сглотнул слюну и гордо ответил:

– Нет! Мне не обидно!

– Почему?

– А теперь ты угадай!

– Не знаю!

Он еще колебался. Но обида вдруг слилась с давно копившейся неразделенной тоской по Галине, которая живет себе на свете и знать не хочет о нем. О том, что у него душа болит. О том, что он запутался в отношениях с Людкой.

Вообще-то, за секунду до этого он не собирался ничего подобного говорить. И было у него такое ощущение, что говорит за него кто-то другой.

– А вон, видишь дом! – протянул он руку.

– Ну, дом Озеровых.

– Так вот, я сейчас думаю о Галине. О том, что в этом доме живет она, тот человек, которого я по-настоящему люблю, без которого жить не могу!

Лицо ее вдруг начало известково белеть. Сложная штука – душа человеческая. А уж женская... С чего, казалось бы, переживать. Ну, встретились. Ну, целовались. Оказалось, у каждого главное не с тобой. А подлец – ты. И побелела вся. И голос осекся.

– Ты чего, Люд?!

В одно мгновение горечь и обида в Шуркином сердце сменились такой щемящей жалостью к ней, что он хотел и не мог найти слов утешения. Во рту пересохло. В голове вертелось глупое «си ву пле»... Тогда он сделал неуклюжую попытку обнять ее.

Она, как кошка, фыркнула и, отскочив в сторону, стукнула его веткой цветущей черемухи. Стукнула и тут же, видимо, испугалась, что он обидится.

А он и вправду снова обиделся. Но постарался не подать виду. А молча шагнул к ней. Взял из ее рук ветку черемухи и язвительно сказал:

– Беру на память. Засушу ее как воспоминание о нашей встрече.

Повернулся и молча зашагал к поселку. Ему чертовски хотелось обернуться. Но он чувствовал, что сейчас поступает как крутые, крепкие парни. И поэтому не обернулся ни разу.

XVII

Через десять минут он уже был на родной улице. Стараясь не шуметь, открыл калитку и двинулся к саду. В этот же миг на крыльце дома показалась какая-то тень.

– Кто здесь? Шурик, это ты? – прозвучал материн голос.

Шурка смутился: «Сколько же сейчас времени?».

– Ты что, мам? Что не спишь? Что-то случилось?

– Тебя ждала.

– Да ты что! На время посмотри.

– Никак не могла уснуть.

– Ну, ты, мам, даешь! Что я, маленький, что ли? Чего меня ждать-то? Иди спать.

* * *

Дубравин читал запоем. Бывало, что книга попадала ему на день-другой. Тогда он читал ее день и ночь не отрываясь, а потом неделями ходил под впечатлением. Отвечал на вопросы невпопад. Жил в каком-то своем мире.

Вот и сегодня, придя из школы, он достал из ранца взятую на один день книгу. Сочинение академика Тарле «Наполеон» издания 1941 года. Не раздеваясь, лег в саду на заправленную кровать. Принялся, быстро листая пожелтевшие от времени страницы, просматривать текст.

Ветер-пастух успел перегнуть стадо белых облаков на другой край неба. Жара начала ослабевать. Тень от вишневой ветки сползла с головы и переместилась куда-то за спину. За воротами замычала, возвращаясь с пастьбы, Ночка. Ее пошла встречать и привязывать мать. Стрелка наручных часов неумолимо падала, а Дубравин все никак не мог оторваться от книги.

«Какая потрясающая судьба! Из глухой корсиканской деревушки... и весь мир узнал его. Да, это жизнь, не дрема. А что здесь? Что еще? Может быть, это время двигает людей? Революции, войны. Где они? Кто бы был Робеспьер без революции? А сам Бонапарт? А мы в какое время живем?»

Шурка вскакивает со своего ложа и возбужденно ходит взад-вперед по тропинке. «Чего я хочу? Чтобы все знали, какой я! Все любили меня. Ради этого стоит стараться!» Он ложится на кровать. «Какое трудное слово! Самосовершенствование. Надо работать, уже сейчас работать, чтобы потом прославиться! Не терять времени».

Он грезит наяву. То видит себя красавцем морским офицером, приехавшим в родную деревню. Все выскакивают на улицу, здороваются, приветствуют его. То представляет себя чемпионом мира по борьбе. Вот он стоит на арене в свете прожекторов. Зал ревет от восторга.

Слава! Господи, как хочется славы! Чего бы ни отдал за этот миг всепланетной известности. Душа его возвышается. Какое-то вдохновение горит на его лице. Он хмурится, потом улыбается. Тихо смеется. В каком-то полуобморочном от радости состоянии он уже видит себя героем. Летит на другие планеты, как Гагарин...

– Шу-у-рка! Где ты? Надо корову загнать!

«Где я? Какая корова? Это меня, что ли, зовут?» – недоумевает он. Приходит в себя. И понимает, что стоит посреди сада с палкой в руке. И его зовут, чтобы загнать Ночку в сарай.

Радость сменяется раздражением и злобой. Весь этот мир. Презренный, ничтожный, наполненный тяжелым трудом, борьбой за существование. И людишки какие-то убогие. И интересы у них глупые.

Он аж стонет, заскрипев зубами. «И за что меня судьба так наказала! Родиться в этом дерьме».

За окном раздается знакомый свист. У калитки их дома стоит Вовуля с велосипедом. Вид у него таинственный, уши и щеки горят от волнения.

– Привет, Александр! – как-то полуофициально здороваются он.

– Привет! Ты чего такой важный и взволнованный? Здороваешься со мной, как какой-нибудь римский всадник с императором.

– Письмо тебе, – на этот раз почему-то шепотом отвечает Вовуля и таинственно добавляет: – От одной девчонки.

– Да ну! – теперь уже Шурка чувствует легкую дрожь.

Все три дня он убеждал себя: «Все закончилось! Наконец-то свободен! Жизнь прекрасна и удивительна!» А тут вдруг язык присох и в коленках слабость от волнения.

Он берет розовый конверт со странной надписью: «Сашке!»

Удивительно: ни Сашеньке, ни Шурику. А вот так. Ну да ладно!

«Саша, мне плохо, и я снова реву и реву. И мне не стыдно, ведь мы всегда плачем. Саша, милый Сашенька, прошу тебя: не приходи больше, забудь меня и все, что было. Ведь это сон. Хороший и стыдливый сон. Я знаю, что для меня это будет большой удар, но так надо, пойми, так будет лучше. Я не пишу тебе о том, что люблю, потому что это будет ложь. Но я знаю одно, что без тебя мне будет очень тяжело... но так нельзя, пойми, любить одну, а целовать другую, это обман, это пошло. Мне стыдно, что это было. Но такое не должно больше повториться. Ты не любишь... Я тоже... Людка».

Прочитав это сумбурное, полное умолчаний и противоречий отчаянное прощальное послание, Дубравин тяжело вздыхает и задумывается. В душе его попеременно поднимаются то сожаление, то раскаяние, то жалость. Он буквально ощущает Людмилу: губы, грудь, тепло рук. Потом отрезвляет себя: «А этого больше не будет. Нет, не будет. Никогда? Никогда!» И ему отчаянно хочется повернуть все вспять: «Не было этого вечера!» Он барахтается в мутном потоке, но где-то на самом доньшке души чувствует, что рад всему происшедшему: «К чему все это могло привести, если бы продолжалось? Чем дальше в лес, тем больше дров. А Галинка... И главное, надо работать для славы, а это все нужно ли?».

Он кладет письмо в карман. Оборачивается к Вовуле. Тот для вида поправляет цепь на велосипеде. Шурка говорит:

– Ответа не будет! Как у нас дела с сегодняшней тренировкой? Скажи пацанам, что я приду сразу на площадку.

XVIII

Прошло три дня.

...Коса, шипя и позванивая, легко ходит в его могучих руках. Под острым жалом никнет трава, падают ниц головки цветов. Ритмичная работа баюкает сознание. «Правильно Людка пишет. Это пошло. А я-то хорош! Размышлял о пошлости, читал другим нотации, а сам влип. Но ведь я не виноват, что так получилось. Она же сама...»

Он механически собирает скошенную на обочине дороги траву в серый дорожный мешок. Закидывает его за спину и, не переставая думать о своей беде, двигается домой.

У ворот дома его ждет посланец.

«Его зовут Леля!» – механически отмечает Дубравин, разглядывая патлатого парня с гитарой и в чудовищно раскрашенных брюках. Леля, а на самом деле Толик Калама вытаскивает сигарету изо рта. Мечет ее через палисадник и, заикаясь от волнения, произносит:

– Т-т-там т-тебя одна девочка ж-ждет!

– Кто? – удивленно вскидывает брови Дубравин.

– П-п-просила, чтобы я тебя вызвал. Ну и ну, брат, везет же тебе! Т-такая девочка. Т-ты будь с ней по-по-доброму. А то она не в себе. Ну, я пошел.

– Стой! А где ждет-то? И кто?

– У-у дуба. У-увидишь.

– Везет же некоторым. Т-такая девочка! – бурчит он, глядя вслед убегающему Дубравину. И, перекинув гитару через плечо, идет на танцы, где обычно развлекает девчонок музыкой. Правда, пока безрезультатно.

Шурка летит. На фоне могучего черного дуба виднеется тоненькая девичья фигурка. Кудряшки спутаны. Носик опух, глаза заплаканные, красные. Не говоря ни слова, Людка обнимает его за шею и утыкается лицом в широкую грудь.

«Женщины – это тьма», – еще успевают подумать Дубравин.

XIX

Огромный малиновый шар солнца оторвался от серебристо-седой вершины Белухи и медленно начал свой вечный путь на прозрачно-голубом своде.

Горы пробуждаются. По каменной осыпи, оставляя струйки пыли и брызгая разноцветными камешками из-под копыт, мчатся на водопой к шумливому горному ручью круторогие козлы-архары. Орел-стервятник поднялся на жилистые ноги в своем терновом гнезде на неприступной черной скале и принялся обозревать окрестности. Ничто в долине не ускользает от его круглого немигающего глаза: ни суетливая серая мышь, подбирающая с тропы оброненные кем-то сухие зерна, ни холодно блеснувшая узорами новой кожи, выползшая погреться под первыми лучами солнца гадюка, ни странная движущаяся точка.

Орел долго и строго смотрел на нее. Так и не определив, что это, он хрипло заклекотал, забил крыльями, поднимая прошлогодний пух. Потом, неуклюже переваливаясь, подошел к краю скалы, сорвался обломком вниз.

На середине падения встал на крыло, покрутился, ища восходящий поток, оперся не него и, чуть шевеля концами могучих крыльев, стал медленно набирать высоту.

Справа вдали курчавилась облаками голова Белухи, слева дымил мокрыми серыми туманами старый, покрытый шрамами расщелин Гульбинский хребет. Прямо под ним по долине тянулся молочно-синий язык ледника. Горное солнце плавало лед, и от этого противоборства жгучей жары и холода рождалась вода ручья, убежавшего к горизонту.

Орел уже разглядел существо, идущее к леднику. Это человек. Человек в мире орлов считается едва ли не самым жалким существом: нечто среднее между мышью и лягушкой. Крыльев не имеет, летать не умеет. Горный баран – и тот на своих четырех перемещается быстрее него. Живет, как крыса, в каких-то каменных норах. Но при этом самомнение... Считает себя главным на Земле. Думает, что она принадлежит ему. На самом деле рядом с ним существуют еще тысячи неподвластных людям миров. Вот, например, мир птиц, где живет и орел. Тут свои законы и обычаи, свои радости и горе. И нет им, птицам, никакого дела до этих двуногих, что питаются падалью и бродят где-то там, внизу. Это они, птицы, чувствуют себя властелинами мира, особенно в те мгновения, когда парят над землей. Высоко-высоко.

Орел покружил еще немного и, потеряв интерес к этой недоптице, опустил в гнездо. Только изредка косил красным круглым глазом на ползущего вверх по склону.

А тот уже вышел на ледник и рубил ступеньки. Пересохшими губами ловил отлетавшие под ударами льдинки, любовался россыпями горящего, искристого под солнцем снега, озирали угрюмые скалы вокруг.

Его ботинки на толстой рифленой подошве давно промокли, ободранные колени дрожали от напряжения, ладони саднило от лопнувших мозолей.

Последние метры он полз. Вбивал сильным ударом ледоруб, потом подтягивался вперед, ощущая животом и коленями холод и шероховатость тонкого снежного наста.

Дополз. Уцепился стальным зубом ледоруба за край ледяной купели ручья, подвинулся ближе и припал к хрустальной струе.

Ледяная вода ударила в нос, глаза, хлынула за шиворот. Шурка Дубравин обжегся, задохнулся и... рассмеялся...

Живая вода и непревзойденно роскошный горный пейзаж стали ему наградой за упорство.

Несколькими стами метров ниже, там, где чахлые, растущие пучками травы из последних сил уцепились корнями за сухую, каменистую землю, сидит в тени под нависшим над тропею крутым лбом скалы другой человек. Андрей Франк, с которым Шурка Дубравин сегодня рванул наверх, до ледника не пошел. То ли не смог, то ли упорства не хватило. В общем, так и остался на месте их последнего привала.

А все началось вчера, когда Аркадий Тихонович Кочетов, с которым они делали зачетный поход перед республиканским слетом туристов, сказал, что их группа находится совсем рядом с истоком Гульбы – всего километра полтора. Тогда-то Шурка и решил, что обязательно к нему дойдет. И позвал с собой Андрея.

Они встали сегодня рано, в темноте, когда весь лагерь еще спал. И двинулись по тропе вдоль ручья. Действительно, исток оказался не так уж и далеко. Часа полтора быстрым шагом. Но дорога была трудной, а с последнего привала и вовсе надо было ползти круто вверх. Шурка пошел, а Андрей остался. Теперь он сидел на берегу на камешке, глядел на воду и размышлял о своих заботах.

Ему очень хотелось стать таким же, как остальные ребята. Сильным. Он красивый парень. Невысокого роста, гибкий, поджарый, как гимнаст. Но в этой красоте нет того, что составляет сущность мужчины, – силы. Уж как он старается. Не было человека, который лучше бы него делал «скобки» и

перевороты на турнике. И мышцы у него росли. А вот этой самой внутренней основы – мужского упрямства – не было. Где-то в глубине души он неосознанно завидовал Дубравину и Казакову. Дубравину – потому что в том была эта упорная сила. Казакову – потому что тот знал, чего хотел в этой жизни.

В каждой группе как-то делятся роли. Так вот, если Дубравин считался совестью компании, а Казаков – ее двигателем, то Андрей, наверное, был ее душой. Его дни рождения отмечались веселее всех. Он чаще всего предлагал походы на природу или поездки в город.

Сейчас его чистые светло-серые глаза грустны, а на лице видны печаль и озабоченность. Полчаса тому назад он сказал Дубравину, что дальше не пойдет, и сел здесь дожидаться того, кто твердо решил добиться своего. Но забота и печаль на этом юном лице были вовсе не о том, дойдет Шурка или нет. Андрей готовился к разговору с Дубравиным. К разговору о сугубо личном, интимном.

«Да, только Шурка может меня понять. И что-то посоветовать», – думал он...

Так он сидел, смотрел вдаль, в долину, где деревья штурмовыми отрядами взбирались на крутые склоны, а голые скалы сопротивлялись этому нашествию жизни, бомбили их многотонными каменными осыпями, часто срезавшими у корня и калечившими стройные стволы.

Там, где небо сливалось с вершинами, он заметил горного козла.

Круторогий контур его появился на минуту на самом краю обрыва и затем растаял в синем тумане.

Через минуту из-за двух громадных валунов, загораживающих тропу, выскочила большая, поджарая, с мускулистой грудью и мощными лапами овчарка.

Подскочила, прилегла в тени у ног. Вытягивая острую мордочку с высунувшимся между белыми клыками языком, залаяла.

– Успокойся, успокойся! Тихо, Джуля, – Андрей потрепал собаку по жесткой шерсти. – Идет Шурка. Идет твой хозяин.

Он не ошибся. Через несколько минут показался сам Дубравин. Распаренный быстрой ходьбой под гору, в распахнутой штормовке и завязанной на пупе рубашке, он шагал легко, иногда съезжая при крутых спусках по песку и камням на каблуках.

Собака бросилась ему навстречу, радостно запрыгала, норовя лизнуть в лицо. Дубравин, стройный, широкоплечий, весь налитый стремительной упорной силой, отталкивал пса, приговаривал: «Кыш отсюда!», а сам победно поднимал, показывал Андрею подмокший снизу рюкзачок.

– Вот, наколол льда от самого истока Гульбы.

Потом они присели перекусить. Пожевали колбасы с хлебом.

Дубравин ел жадно, то и дело оглядывая глубоко посаженными блестящими глазами величественную панораму уходящих к горизонту зеленых вершин. Франк жевал вяло. Чувствовалось, его что-то гнетет. Наконец он глубоко вздохнул и начал говорить:

– Вот ты у нас как бы идеолог. Опыт у тебя общения поболее моего. Растолкуй мне, что делать в такой ситуации...

– В какой?

– А вот в какой. Тут, понимаешь, такое дело. Тянет меня к ней.

– К кому «к ней»? Ты говори яснее. Что темнишь? Тянет, не тянет.

– К Галинке...

– К какой Галинке?

Дубравин сразу и не сообразил, что речь идет о Галине Озеровой. И поэтому подготовился отвечать на все заданные ему вопросы по принципу «чужую беду руками разведу». Но когда понял, что речь пойдет о человеке, который ему далеко не безразличен, осекся.

– К Озеровой!

– Ах, к Озеровой! – Шурке совсем не нравилась роль поверенного чужих тайн. С другой стороны, в нем боролись мальчишеское любопытство и дружеское чувство к Андрею. Он ведь не виноват в том, что произошло. Да и откуда он знает, что творится у Шурки в душе? Для него Дубравин – лучший друг, счастливый возлюбленный самой красивой, энергичной девчонки в классе. Вот пусть и поделится опытом.

– И давно это у тебя? – наконец после минутного молчания спросил Шурка.

– Да всегда это у меня было. Еще с первого класса она мне нравилась. С тех пор как сидели вместе за одной партой.

– Ого!

– Что мне теперь делать? Тянет меня к ней. А вот как подойти, не знаю. Тебе хорошо. У вас с Людой все на мази. Весь класс знает...

При этих словах лицо Дубравина, и без этого по мере продвижения разговора становившееся чернее тучи, вообще сделалось грозovým. «Да, весело, нечего сказать, – подумал он. – Но Андрей ждет какого-нибудь совета от меня. Что же ему сказать? Оставь ее. Не питай иллюзий. Или: я сам люблю ее. Да что ж это за рабство такое, что и дня я без нее прожить не могу! А в общем, мое дело – безнадега. Куда уж мне теперь. Весь класс знает».

Шурка глянул в грустные бесхитростные Андреевы глаза, и что-то в

душе его дрогнуло, надломилось. «А почему, собственно, не помочь другу хоть советом? В конце концов, ради друга... А потом, это какое-то рабство. Почему я, свободный человек, вольная птица, с тех пор так завишу от нее? Так привязан к ней? Глядишь, и поможет мне развязать этот узелок».

– Что тебе делать? – вслух сказал он. – Да я думаю, для начала пригласи ее с кем-нибудь в кино. Ты с другом. Она с подружкой. Найдите какой-нибудь общий разговор. А там пойдет все само собой.

– Давай я ее с Людмилой приглашу. И с тобой. На «Фантомаса»! Вчетвером пойдем...

«Этого мне только не хватало! – ужаснулся такой перспективе Дубравин. – Наблюдать за вашими амурами».

– Да ты знаешь, у нас с Крыловой уже другая стадия отношений. Вряд ли мы вам чем-нибудь поможем. Возьми Толяна хоть с Танькой Жариковой. Они тебе нужны будут только для прикрытия.

«Господи, надо кончать этот разговор, а то я сейчас заоружу!»

– Слушай, Андрей, нам пора топтать вниз. А то наши проснутся и обыщутся, куда мы пропали. То-то будет шума.

– Ну, пойдем!

Двинулись в обратный путь.

Впереди – уши и хвост торчком – бежал Джуля.

Иногда он пускался то за коричневым панцирным жуком, прогудевшим перед собачьим носом, то за севшей голубым бантиком на зеленую траву бабочкой. Следом топал Дубравин. Последним шел Андрей и постоянно заводил один и тот же разговор.

Солнце нагревало камни, припекало спины, затылки. Тропа тянулась вблизи речушки. Она то заворачивала, огибая, словно выросшие из земли, многотонные валуны, то срывалась с гранитных уступов водопадами и разбивалась в радужную пыль.

Дубравин односложно отвечал на вопросы друга, а сам одновременно ворочал тяжелые, как окружающие его камни, мысли. В его представлении Галинка Озерова была существом неземного происхождения. Чудом природы. Честно говоря, он и сам не знал, как к ней вообще можно было бы подступиться. И чувствовал себя перед нею уличным сопливым мальчишкой, который задумал ухаживать за королевой.

Так и шли они вдвоем вдоль русла, а оно бесконечно петляло впереди, пока не терялось в прозрачной туманной дымке далеко на равнине. Цветочные джунгли доходили им до пояса. Зыбкие, как волны, травы оказывались плотными, стоило сделать в них пару шагов.

Природа не жалела здесь красок. Пламенели калерии, молочные

колокольчики собирали рои гудящих шмелей, зеленым ковром стелился рододендрон. Тонкие запахи сменяли один другой.

Здесь шагали молча. Только когда выбрались на верхнюю границу леса, Андрей, отвечая каким-то своим мыслям, произнес вслух:

– И что мне делать, ума не приложу...

А Дубравин подумал: «А уж что мне делать?! Мое-то положение хуже губернаторского... Эхма, тру-ля-ля...»

XX

Лагерь еще спит. Все умаялись вчера, собирая плот, и ныне, несмотря на то что струящийся сумрак леса постепенно развеивается, а на горизонте уже проявились горы, никто еще не вылезает из мешков.

Как сраженный на поле битвы богатырь, лежит, раскинув руки, Толик Казаков. Даже в спальном мешке ухитрилась положить ладони под щеку Галинка. То и дело вздрагивает во сне Вовуля Озеров. В палатках, где спряталась остальная команда, тоже тишина.

– Пойдем искупаемся, – предлагает Шурка Андрею. – Пока все спят.

– Не-е-а, я попробую еще подремать, – залезая к себе в палатку, шепотом отвечает тот.

– Ну, как хочешь, а я пойду!

Он наклонился к своему рюкзаку, чтобы взять плавки, и вдруг снова увидел... ее. Как тогда его поразили ее глаза, так сейчас он с волнением близко-близко рассматривал ресницы спящей Галинки, округлую раковину уха, нежный завиток волос, чуть припухшие губы, чувствовал ровное, чистое дыхание. Вспомнил, как она позавчера чмокнула в нос маленького смешного щенка, и улыбнулся.

Рядом заговорил во сне, перевернулся Толик. Дубравин испуганно отпрянул, пошел к пепельно-серому пятну потухшего костра.

«Надо чайник обмазать глиной, чтоб меньше закоптился. Народ проснется, чаю вскипятим».

И, оставляя взлохмаченный травный след, сбивая босыми ногами прозрачные капли росы, пошел к озеру. Там стоял на светло-прозрачной глади привязанный к дереву плот. Вчера они его собрали. Местный егерь помог найти сухую лесину в основание. С помощью лошадиных и собственных мускулов стащили ее к воде. К лесине прикрепили поперечины из тонкого сухостоя. К этому скелету увязали четырнадцать Зиловских камер. Туго-туго накачали их насосами.

Сверху настелили брезентовую палубу. На корме положили длинные шесты для управления.

Шурка взял с пюта зеленый чайник, аккуратно обмазал его желтой глиной, набрал воды. После этого постоял в нерешительности на берегу, поежился, представляя холодную воду, и все-таки решил искупаться.

Ощущение полной растерянности и безнадежности владело им в эти минуты. Признание Андрея полностью разрушило те воздушные замки и мечты, что бессонными ночами строил он. Рано или поздно развяжется узел. И если Галка заметила и поняла, как он смотрит на нее, то тогда... У него дыхание останавливалось, едва он представлял себе, что тогда... В этом случае будущее виделось ему как вечное счастье. Одна радость, и ничего больше. Теперь же. «Разве может он, всегда бывший душой компании, перейти дорогу своему другу? Никогда».

И ему остается только желать им счастья. Зажать сердце в кулак и молчать, опуская глаза при встрече с нею.

Еще вчера он присмотрел хорошее местечко. Громадный пятнисто-серый от лишайников и мха валун торчал из глубины недалеко от берега.

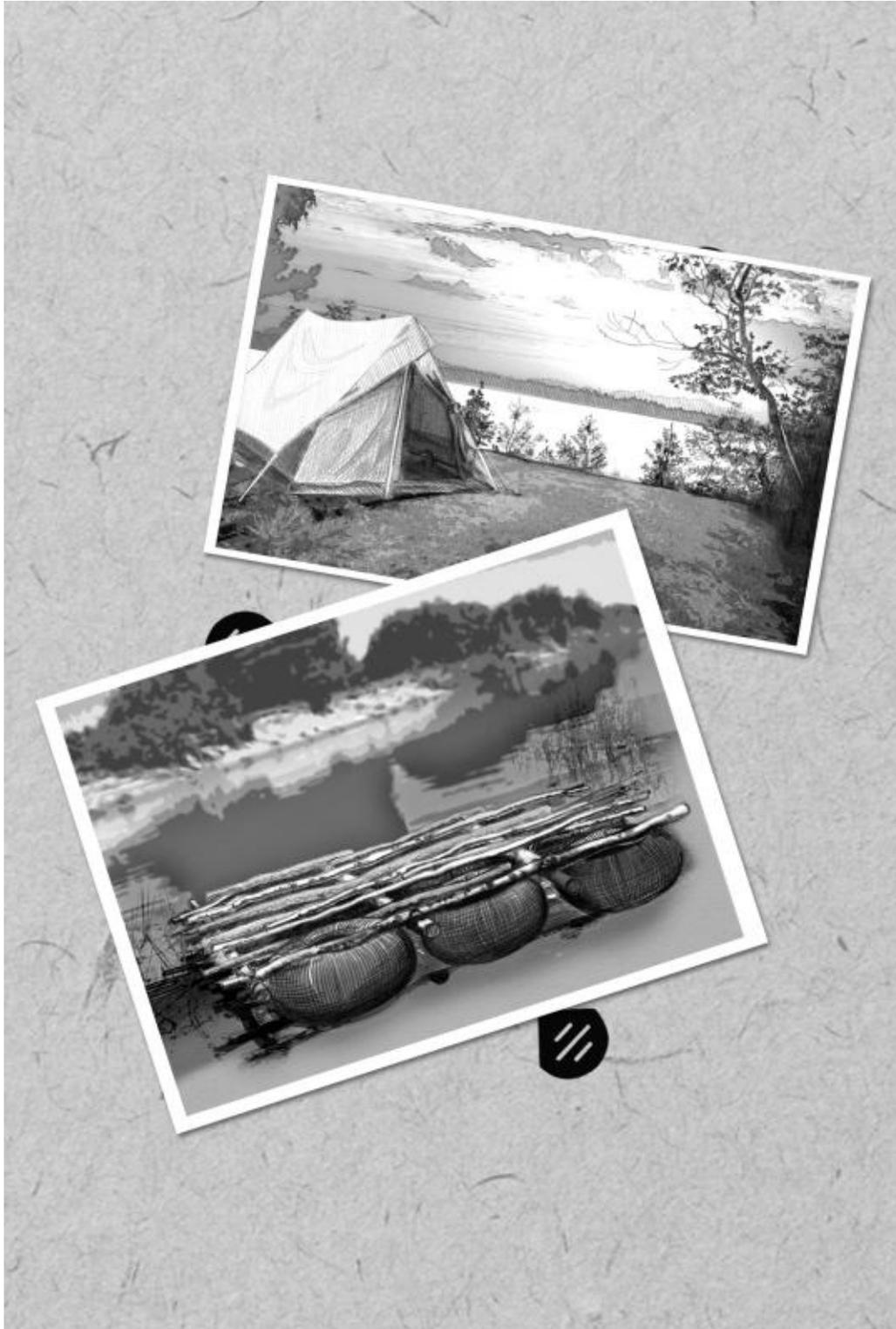
Дубравин сбросил мешковато-плотные, смоченные снизу росой и оттого задубевшие брюки, рубашку и, краснокожий, могучий, остался в одних темно-синих плавках.

От озера пахло глубинной прохладой. Он поежился, побежал к камню. На ходу поднял плотную белую гальку, вспомнил приметку: перевезет дедка бабку на тот берег – быть чему-то хорошему. Сбудутся желания.

Метнул. Галька, булькнув, сразу пошла ко дну. Но у Шурки был упрямый характер. «Ах так, ну-ка еще раз, будет», – решил он и, схватив другой камешек, швырнул.

«Бабка» с брызгами восемь раз отскочила от поверхности воды, оставляя разбегающиеся круги, потом скользнула катерком по глади и звякнула о прибрежные камни.

Шурка влез на обкатанный валун, ступнями ног чувствуя его холодок и шероховатость. Сверху глянул в прозрачную, темнеющую глубину воды. Там со дна к поверхности, покачиваясь, тянулись темно-зеленые косы водорослей, между которыми молниями скользили стайки мелких рыбешек.



У противоположного берега с плеском выскочил из воды сазан. Потом ближе затрепетал в воздухе серебристым хвостом второй.
Разноголосый птичий хор, устроившийся на деревьях, словно ждал этих

сигналов. Неожиданно неистово грянул он свой гимн солнцу и утру. Птицы пели, старательно вытягивая клювики, перелетали с ветки на ветку, и от этого казалось, будто сами деревья машут ветвями, встречая новый день.

«Как же надо любить жизнь, – подумал Дубравин, – чтобы каждый день встречать ее вот так, с песней!» И, собравшись с духом, сильно оттолкнувшись вверх, а в высшей точке полета переломившись, он колом вошел в темную глубину.

Каждую клеточку блаженно обожгла прохлада. Вода будоражила и пьянила. Он дотянул до самого дна. Сердце бешено заколотилось от глубины, в ушах заболело. Он оттолкнулся и стрелой, прорезая светлеющую к поверхности воду, вылетел на воздух. Отдышавшись, поплыл саженками, сильно хлопая ладонями, в мелкий заливчик, где теплее вода.

А по поляне уже скользили косые длинные лучи восходящего солнца. У поющего на все голоса дерева стояла в зеленом купальнике и венке из голубых лесных цветов Галинка Озерова. Она оглянулась на поднятый им шум, увидела подплывающего Дубравина, смущенно улыбнулась, показала ему язык и убежала.

У Шурки, как он ее увидел, сердце сразу стукнуло с перебоем, а потом будто сорвалось, заторопилось. Ему стало тепло и радостно. Он постоял, потоптался в мелкой воде, унимая шальную радость. Потом прошел вдоль берега, нашел хорошее местечко. Блаженствовал, лежа на спине в теплой мелкой воде. Чувствовал, как от затылка к пяткам по течению щекотно перекатываются пузырьки воздуха и песчинки.

«Эх, сейчас бы пойти к ней и все сказать сразу! Прекратить это мучение. Быть рядом и молчать... А как же Андрей? Как друзья? Что они скажут? Предал друга, который тебе доверился. Но я же не виноват, что тоже не могу жить без нее. Ладно, видно, судьба моя такая – молчать и терпеть. А как она ко мне относится? Может, она меня и знать не хочет. Действительно. Никаких отношений у нас нет. Разве что вместе сидели когда-то за одной партой. Так это было в детстве. Вот загадка. Нравлюсь ли я ей?»

XXI

Ребята оттолкнули плот. Серебристая, волнующаяся полоска воды между зеленым берегом и черным толстым боком плота стала

расширяться. Джуля забежал по краю, царапал когтями, скулил. Дубравин подозвал его к себе, посадил.

Первые километры тяжелое сооружение шло туго. Камеры то и дело скребли по камням или шуршали на песчаных отмелях. Тогда парни спрыгивали прямо в воду – бурлачили. Но вырвавшаяся из озера река постепенно набирала силу, и скоро плот ходко пошел по чистой воде.

На крутых берегах зеленел лес. Корни деревьев выглядывали из подмытых обрывов. Бессильными мохнатыми щупальцами тянулись к воде. Сразу от берега начинались непроходимые заросли. Какое-то фантастическое сплетение густых зонтиков папоротников, кустов боярышника, кизила. Там и сям бугрили, пенили воду упавшие в реку и застрявшие на отмелях рукастые стволы деревьев. Тонкие тростинки залитого на стремнинах камыша трепетали, упруго гнулись под напором течения.

Не раз и не два в узких местах, где вода ревела и неслась со скоростью хорошего скакуна, все ребята брались за длинные жерди и отталкивали набегавший прямо на плот берег.

После обеда они вышли на большую спокойную воду.

Толик Казаков лежал на самом краю плота и сквозь ресницы разглядывал окрестности.

Они находились сейчас в самом, наверное, широком месте, где Гульба разлилась по прибрежным лугам, подступила к лесу. Поэтому Казаков видел сверху сквозь прозрачную воду корни деревьев, затопленную траву.

Потом он приподнял голову, и прозрачность исчезла. Поверхность реки отразила лучи солнца, засверкала водным зеркалом, в котором отразились плывущие по небу белые облака, прибрежные скалы, ветвистые кроны деревьев.

Рядом встрепенулся Андрей Франк. Его остренькая треугольная физиономия выразила досаду. Он легко вскочил, пошел к ребятам на корме.

– Ну и куда вы рулите? Надо держать ближе к тому берегу, выходить на струю. Иначе мы будем тут барахтаться до обеда!

– Да бы был мотор... – оправдываясь, возразил Вовуля, – мы бы за час тут промчались. А так попробуй вырулить. Несет как придется.

– Да бросьте вы, мотор, мотор! Не туда вам мама руки пришила! Дай мне! Я покажу, как надо рулить!

– Андрей, да сядь ты. Че пристал к пацанам? – вступился за младших Толик. – Действительно, был бы мотор, завел бы... Как в Америке.

– В какой Америке? Они там только и думают, как бы деньгу

зашибить... Мотор, может, у них и найдется, а вот души нет, – вступил в спор Амантай Турекулов.

Он считал Дубравина и Казакова интеллектуалами и держался в тени. Лишь изредка напоминал о своем существовании. Хотя бы и невпопад, как сейчас.

– Да бросьте вы. Душа! Душа! Мистику разводить, – с пол-оборота завелся Казаков. – На дворе конец века. Еще лет через двадцать мы будем жить при коммунизме, а вы такую туфту гоните. Нам не про это надо толковать, а ликвидировать отставание в технике. В Америке компьютер изобрели, который считает в сотни раз быстрее человека?

– Ну и что?

– А то. Отстанем мы с такими, как вы. На дворе век электроники, физики, химии. Наука – двигатель прогресса.

– Прогресса? – лежа на спине и покусывая травинку, откуда-то спереди плота отозвался Шурка. – А для кого прогресс? Для роботов или для людей?

– Ой, ой, какие ученые разговоры и слова, слова какие!

– Да ладно вам спорить! Лучше смотрите, чтобы мы не перевернулись, – вступила в разговор Людка. – Стихи почитайте нам, девчонкам...

Толик Казаков взял топорик, лежавший рядом, разрубил пополам пупырчатый огурец. Одну половину протянул Андрею Франку, другую аппетитно разгрыз сам.

– Что-то есть хочется, – заметил он и полез в рюкзак за салом и хлебом. Не торопясь, развернул газету, разложил ломтики бело-розового сала, луковицы, хлеб. Народ потянулся к нему.

Откуда-то из-за спины стремительной птицей налетел и учитель Аркадий Тихонович Кочетов. Присел на корточки, клюнул пару ломтиков, надкусил и зажмурился от удовольствия. Однако через секунду он так и застыл с непрожеванным куском во рту. Взгляд его как-то боком, попетушиному вперился газету, в которую было завернуто сало.

– Ты бы, Казаков, газету убрал бы, – наконец произнес он.

– А что? – удивился тот. – Она кому-то мешает?

– Вы посмотрите, во что вы сало заворачиваете!

Все посмотрели и увидели фотографию Брежнева, заляпанную жиром. Переглянулись...

Те темные для сознания молодых годы Шурка окрестил как старые времена. Старые времена нет-нет да и проскальзывали, как сейчас, в скупых намеках матери, в редких воспоминаниях отца. Говорили о них

вскользь, полунамеками, будто люди боялись ворошить прошлое. Коснутся горячего и умолкнут надолго, замкнутся в себе. Что крылось за этими намеками? Шурка догадывался, что скорее всего это был страх. За себя, за своих близких.

На той неделе Иван в очередной раз пришел домой пьяный в стельку и начал очередной скандал с отцом. Багровый, с выступившей белой пеной в уголках рта, он долго рвал на себе рубаху и орал:

– Ничего не боюсь! Ты знаешь, где я служил?! Вызывай милицию. Я в погранвойсках служил. Насрать мне на ваших ментов!

Мать аж посерела и как-то съежилась вся, услышав эти вопли.

– Ты дурак! Не болтай, чего не знаешь, – оборвала она его. – А то вы, молодые, не знаете, как бывает. По-другому запоешь, когда пальцы зажмут дверями...

Шурка часто колол таким способом грецкие орехи. Он представил, что будет, если засунуть в дверную щель вместо орехов пальцы. И ужаснулся.

Сейчас он вспомнил и то, как в раннем детстве, когда разговор заходил о голоде, мать приговаривала: «Сейчас не те времена. Мы Шурику не дадим помереть. Каждый отрежет по кусочку хлеба от своей пайки. Вот наш мальчик и выживет...»

Шурка что-то слышал о голоде тридцатых годов. Говорили, тогда много людей умерло. Навсегда запомнился страшный рассказ бабки Мамлихи:

– Люди съели собак, кошек. Крыс ловили. Ворон. А в одной семье вдруг дети стали исчезать. Пятеро их было. Сначала один пропал. Потом другой. Разговоры пошли. Отец с матерью отвечали: «Да отправили мы их в Краснодар, к тетке. Ребятишки глупости с голодухи болтают». Соседи собрались и с участковым как-то вечером и пришли. На плите что-то варится. Мясом пахнет. Участковый и шасть туда. Открыл чан. А там мясо...

Непонятно одно: в учебниках по истории, коих Шурка прочитал немереное количество, ни о каком голоде, ни о каких пытках ни слова.

Кому верить?

Просаленная газета с портретом первого секретаря ЦК КПСС тихо уплывала вниз по течению. Шурка сидел на краю плота, свесив ноги в прохладную воду. Волны гулко бились о черный бок камеры, добирались до колен. Он смотрел то на близко проплывающий берег, то в призрачную глубину реки.

Под плотом двигались камни, коряги, песчаные островки. Казалось, люди не плывут на плоту, а летят на волшебном ковче-самолете над

неведомым миром.

Но в душе его как-то по-прежнему беспокойно. «Что за мир ждет их там, после школы? Отчего так боятся говорить правду люди? Странно все это».

XXII

В первый день соревнований раньше всех проснулся учитель. Подмигнул Шурке, приподнявшему из спального мешка помятое, с красной царапиной на щеке лицо.

– Как дела?

– Ночью самолет летал, – глухо ответил тот, стараясь залезть в мешок поглубже.

– Я слышал, – задумчиво сказал Тихоньч.

Посидел, помолчал. Достал из кармана рюкзака вышитое красными петухами холщовое украинское полотенце, мыльницу. Потер густую рыжую щетину на загорелых щеках, отложил станок в стакан для бритвы. Сбросил рубашку, майку. Кожа у него оказалась матово-белой, резкий коричневый загар начинался от ворота рубашки. Прихрамывая, пошел к воде умываться.

Шурка молча смотрел на худую спину Аркадия Тихоновича, на широкий лиловый шрам у самого позвоночника. Потом задумчиво пощупал свои круглые, как яблоки, бицепсы.

Лагерь просыпался. Мимо Шурки пролетела счастливая Галинка. Щелкнула по носу щенячью блаженную мордочку спавшего рядом с Дубравиным Джули. Умчалась.

Вовуля спросонья заспорил с Людкой, которая тянула его за ногу из палатки, торопила идти за дровами для костра.

Дубравин потихоньку вылез из мешка. Еще вчера он хотел забраться на прибрежную, крутобокую, пеструю от цветов горку посмотреть трассу и местность, где должна проходить эстафета. Поэтому сразу направился по тропинке, пробитой в кустах можжевельника.

И только сделал несколько шагов, как – бах! Прямо ему навстречу с полотенцем, перекинутым через плечо, – Галка.

Он охватил ее всю сразу одним взглядом.

Любопытные глаза. Солнечная улыбка. Короткая стрижка под мальчика. Тоненькая девичья фигурка.

Шурка задохнулся, как всегда, и хотел было проскользнуть мимо, но она вдруг остановила его:

– Саша, а ты куда?

Он потерял дар речи. В ответ неопределенно махнул рукой куда-то вперед.

– А можно я с тобой? – вдруг сказала она и залилась румянцем во всю щеку.

Он пожал плечами и пробормотал что-то невнятно:

– Я сейчас, только полотенце отнесу. Подожди меня здесь.

Через минуту они уже шагали по тропинке.

Шли довольно долго. Шурка слышал ее шаги позади и молчал, проклиная себя за это молчание.

Прошли очередной холм и вышли к протоке, смело врезавшейся в пологий берег. На нем были слышны яростное сопение, звуки борьбы, то и дело переходившие в крики:

– Ах, ты кусаться! Я тебя! Будешь кусаться? Проси пощады! За ноги его держи, за ноги...

Ребята вышли из кустов на берег и увидели побоище. Прямо на прибрежном песке, поднимая тучи пыли, боролись мальчишки. Трое голопузых, лет по шесть, удерживали за руки и за ноги спиной на земле толстого здорового мальчишку лет одиннадцати-двенадцати, который отчаянно извивался всем телом и пытался стряхнуть с себя нападавших.

– Что делаете, разбойники?! – нарочно страшно крикнул проходящий Дубравин и схватил за шиворот двух нападавших. Толстый, воспользовавшись этим обстоятельством, стряхнул третьего, подхватил свою грязную, пропыленную майку и бросился наутек.

Один из задержанных упрямо пытался вырваться. Другой, почувствовав сильную руку, притих и захныкал:

– Дяденька, пустите-е-е!

– Уши надеру и пущу. Втроем на одного. Не стыдно?

– Саша! Отпусти их. Они уже все поняли, – тихонько сзади попросила Галка.

От ее теплого голоса Дубравин тотчас разжал руки.

Тот, который выворачивался, большеглазый, тощий, ребра ходят ходуном с обидой, вызывающе крикнул:

– А маленьких обижать хорошо?!

– Тебя, что ли? – Дубравин показал на красное пятно у него под глазом, которое постепенно превращалось в роскошный, цвета недозревшей сливы синяк.

Мальчишка хмыкнул:

– Попробовал он бы меня, куркуль, – и кивнул в сторону второго: – У Петьки раков хотел отобрать. Вон тех! Ой, раки! Раки! Лови!

Бросившись животом на песок, он пытался схватить шустрого усача, пятившегося в воду. Но тот уже плюхнулся в набежавшую на песчаный

берег волну. И ушел.

– Ну вот, сбежал, – сидя на песке, безнадежно махнул рукой мальчик. У стоящего рядом Петьки на глаза навернулись слезы, он смущенно стряхнул их запястьем.

– Вы что, на корытах? – спросила Галинка и кивнула на их металлические суда, рядом стоящие у берега.

– А, все теперь стиралки покупают. Нам корыта дают, – ответил большеглазый, потирая цыпки на коленях.

Третий – белобрысый четырехлетний карапуз, не принимавший до сих пор участия в разговоре, – хитро улыбнулся щербатым ртом:

– А вы, дяденька, на плоту плыли?

– Плавает, знаешь, что? – Шурка хотел сказать покрепче, но вовремя спохватился: рядом была Озерова. – Моряки ходят!

Ему было интересно и весело с этими мальчишками, так похожими на него самого в детстве. И очень хотелось, чтобы Галка тоже чувствовала это.

– А издалека идете? – поправился карапуз.

– От истока!

– А мы от фелмы. Лаков ловим.

– А что за ферма? На берегу стоит? – наугад спросила Галинка. Она в отряде отвечала за сбор данных по экологическому состоянию местности. Поэтому искала источники загрязнения и рисовала их на карте.

– Она самая, – за всех сказал большеротый. – Возле нее теперь и не искупаешься. Там свиньи всю воду погрязнили.

Из-за бугра вылезла длинноногая, в коротком цветном платье девчонка с косичками. Увидела чужих, не подошла. Позвала издалека:

– Костя, иди домой. Мамка зовет!

– Отстань! Повалиха! – ответил карапуз и отвернулся к воде.

– Это ты у него научился так разговаривать с сестрой, у хулигана Сережки? – показала она пальцем на черноглазого.

В ответ обиженный в лучших чувствах Сережка выпалил:

– Ты не повариха, а бабка Бабариха...

Все улыбнулись, до того он смешно это произнес.

– Вот я мамке расскажу! Попадет тебе, – игнорируя всех, вновь обратилась к брату девчонка и, уходя, совсем по-взрослому погрозила пальцем.

– Ушла! Жаловаться! – задумчиво почесал в затылке Серега. – Попадет тебе, Костя.

– Да, елунда! – ответил тот и повернулся к Шурке: – А у вас, дяденька,

лемень солдатский есть?

– Нет. А зачем тебе?

– Жаль. А плотив Змея Голыныча! Вы, дяденька, Змея Голыныча боитесь?

Шурка пожал плечами:

– Ну, как тебе сказать?

– Я тоже не боюсь, только мне лемень нужен. У Селеги есть, а у меня нету, – смешно вздохнул Костя.

– Эй, ребята! – крикнул Дубравин вслед полезшим в воду Сереге и Петьке. – Вы за раками? Я тоже с вами. – И он, решительно сбрасывая на песок одежду, пошел в стоячую, маслянистую, с чуть плывущими соломинками воду.

Нащупав ногой в прибрежном дне первую рачиную нору, присел. Стал заталкивать руку по узкой, глинистой норе все дальше и дальше, покуда к подбородку не подобралась вода.

Вдруг его щипануло за кончик пальца. Шурка от неожиданности отдернул руку.

– Да вы не бойтесь! Это лак вас ущипнул! Вы хватайте его за клешню, – подбодрил его с берега малый.

– Да я знаю, – буркнул в воду Шурка и повторил маневр. Огромный, усатый, матерый, какой-то аж буро-зеленоватый рачище шлепнулся на берег и сразу начал искать, кого бы схватить клешнями.

Галка в ужасе отскочила от него, прижимая руки к груди и, вытягиваясь в струнку:

– Ну и чудище!

Костя смело подскочил и, схватив за панцирь со спины, перевернул рака.

Дубравин, возбужденный охотничьим азартом, крикнул:

– Ты их в рубашку собирай. Держи еще, это тебе взамен сбежавших.

* * *

Потом они снова шли по тропинке, которая в скором времени должна была стать тропой соревнований. Шурка мысленно недоумевал: «Только что на людях мне было так хорошо с нею, а стоило остаться вдвоем, и опять я онемел. И мысли какие-то в голову лезут дикие».

Ему страстно хотелось обнять ее, защитить, укрыть от всех гроз и опасностей жизни. Взять на руки и нести, нести. А вместо этого он вынужден был идти впереди, что-то буркать в ответ на ее вопросы. В общем, от этой несурaziцы он все мрачнел и мрачнел.

Так, молча, они дошли до дерева, упавшего над речкою. Корни его лежали на этом берегу, а вершина зависла над противоположным.

– Ничего себе переправа! – прошептал Шурка.

И чтобы избавиться от неловкости, поддразнивая Галину и одновременно как бы извиняясь, сказал громко:

– Здесь ты не пройдешь. А больше перехода нет...

Она лукаво посмотрела на него, в глазах замелькали чертенята:

– Перейду!

– Ну, хорошо. Я предупреждал!



Он быстро, слегка красуясь, привычно ловко пошел по стволу. Дошел до верхушки, которая висела над краем берега, и спрыгнул вниз.

Она робко двинулась следом, дошла до вершины и остановилась на

краю.

Внизу уносились вода. И всю ее храбрость словно смыло этим потоком.

– Я боюсь! – сдавленно крикнула она.

– Ну, иди сюда! Прыгай ко мне!

– Боюсь!

– Я удержу! – он опустил уже к самой воде и протянул руки, представляя себя могучим индейцем. – Сниму тебя, давай ко мне!

Она стала осторожно спускаться со ствола и повисла на руках над водою. С берега он не дотягивался. Его «индейская» поза с вытянутыми руками со стороны выглядела смешной.

Чтобы достать до нее, он ступил на самый край.

И – бултых! Оступился в воду. Уже стоя в воде, взял ее под мышки и, сняв с дерева, хотел поставить на берег. Но споткнулся обо что-то... И они медленно в обнимку упали. Он спиной на траву. Она грудью на него.

Как тогда, во сне, он почувствовал твердость ее маленьких грудей и увидел в близких-близких глазах бесенят.

О, великая тайна прикосновения! Тайна человеческой кожи. Все не в счет перед нею. Взгляды, слова. Только на мгновение он остро-остро ощутил трепетание юного тела, тепло живота, запах чистых волос и уже никогда в жизни не забудет их. Потому что в этот миг отчетливо почувствовал, что где-то за этими глубокими глазами, за улыбкой совсем рядом живет и бьется другая человеческая душа.

Она потихоньку высвободилась из его объятий и поднялась, смущенно улыбаясь. Он уселся на траве.

Смешное положение! Думал, что выглядит, как могучий индейский вождь, а оказался как мальчишка на берегу и чуть не уронил ее в воду. Наверняка она будет смеяться с подружками над ним. От этой мысли он аж задохнулся.

– Саша, куда пойдём дальше? – ласково спросила она, как будто ничего и не случилось.

– Никуда, – буркнул он грубо, стараясь скрыть смущение.

Обиженная, она повернулась и молча пошла по берегу. Потом присела на краешек метра в ста от него, что-то шепча про себя.

А он уже раскаивался в своей грубости. Больше всего на свете ему хотелось сейчас сидеть рядом с нею и смотреть на воду. Но гордость не позволяла теперь сделать этот шаг.

От этой раздвоенности и от злости на самого себя он схватил огромный булыжник и швырнул его с берега. Потом еще и еще один. Раздавались глухие удары о воду, поднимались потоки мути со дна. Их подхватывало

течение и уносило...

Когда он пришел в себя и оглянулся, ее уже не было.

Надежда, что все как-то утрясется, которая еще жила в его сердце до этой минуты, ушла. Ядовитая горечь и раскаяние охватили его. Дурак! Ведь она была рядом. И, несомненно, чего-то хотела от него. А ведь это такое счастье – быть рядом. А он своей глупостью превратил счастье в пытку.

* * *

Место это раньше было выгоном для скота. Ленивые, задумчивые коровы медленно бродили по нему. Жевали траву. Оставляли позади зеленые лепешки. А нынче оно преобразилось. Широкая поляна на берегу быстрой реки заполняется палатками. У подвесного моста раскинули свои красные шатры усть-каменогорцы. Чуть сбоку от них поставили три старенькие зеленые палатки краснознаменцы. Рядом с лесом, за деревьями, расположились станичники.

За полдня тихий выгон превратился то ли в гудящий улей, то ли в разноцветный цыганский табор.

Дубравин вышел из палатки, где возился, раскладывая по брезентовым карманам необходимые в походе вещи, и опытным взглядом окинул бивуак. Ну конечно, у усть-каменогорцев, как и в прошлом году, палатки провисли в середине.

– Плохо натянули, – презрительно процедил он сквозь зубы. – Городские. Даже не окопали вокруг. Дождь пойдет – будет в них сыро.

Он с удовольствием оглядел безупречно выстроенную линию своего лагеря. Заметил, что одна палатка «вывалилась» немного наружу. Подошел. Перетянул. Стальной колышек мягко вошел в землю в новом месте.

Учительница географии и астрономии Александра Михайловна Гах с девочками готовят обед. Над костром висит закопченное ведро с варевом. Рядом на брезенте раскладываются невиданные в деревне яства: синие-белые банки со сгущенным молоком, красно-белые – с тушенкой, сырокопченая колбаса. Шурка сглатывает слюну и отворачивается.

Поесть он любит. Но сейчас к импровизированному столу не торопится. Не хочет оказаться рядом с Людкой или Галинкой. Утренний поход не располагает.

А народ уже грудится дружной кучей у брезента и начинает тянуть все подряд. Садятся кружком. С аппетитом жуют. Поглядывают на суетящихся

соседей, на реку, лес.

К их стоянке подходит молодой, но уже с высокими залысинами на лбу и тяжелый в животе парень. На рукаве у него красная повязка, а круглое лоснящееся лицо выражает важную озабоченность. Видимо, он один из судей.

Александра Михайловна поднимается ему навстречу. В белом платочке, покрывающем голову, она выглядит сейчас как простая деревенская баба. Но если внимательно взглядеться в ее решительное, красивое, интеллигентное лицо, крепко сжатые губы, нахмуренные брови, то сразу понятно – учительница.

Шурка, как и другие, одновременно и уважает, и любит, и побаивается ее. А в последнее время почему-то жалеет. Жалеет энергичную, деловую, подтянутую, отлично знающую свои предметы. Кажется, что обыденная жизнь обходит ее стороной. Но однажды Шурка стал случайным свидетелем ее разговора с завхозом школы – вороватым и пронырливым мужичком по фамилии Пьянков. Речь шла о привезенных для учителей дровах.

– Савва Петрович! Это ведь не дрова. Ими печку топить нельзя. Это щепки...

– Я ничего не знаю! Мне какие выделили, я такие и привез, – вытирая лысину и начиная с ходу нервничать, как кошка, знающая, чье сало съела, ответил завхоз.

– Такие дрова я не беру. Ведь зима впереди! – резко заявила она. – И вообще в прошлом году та же история была.

– Что вы мне указываете! Не хотите – не берите! – заорал Пьянков.

– Вы устроили из школы кормушку! Все жульничаете! – вдруг крикнула она. И в этом крике – Дубравин, между прочим, никогда не слышал, чтобы она кричала, – было столько какой-то отчаянной боли, такой застарелой, явной женской усталости, что Шурка дрогнул от жалости. Сразу вспомнились ее муж, пьяница, двое детей, крохотная холодная квартирка возле школы.

Но сейчас она что-то деловито и нахмуренно обсуждает с подошедшим судьей. Через минуту к ним подскакивает и Кочетов.

Вся команда напрягается. Разговор у стола стихает. Наконец судья уходит. Учителя возвращаются к столу. Их обступают.

– Решили начать соревнования прямо сейчас, – задумчиво-озабоченно говорит Александра Михайловна. – С конкурса по минералогии. Только не знаем, кому идти. Ведь тут почин очень важен. Как начнем, так и пойдет.

– Давайте решать, кому доверим такое дело, – встревает Аркадий

Тихонович.

– Дубравину!

– Франку!

– Федьке Богеру, он лучше всех знает минералы.

– Мне! – откуда-то из-за палатки кричит второгодник Рябухин. – Я судью обаяю, у меня вон усы какие.

– Да сиди ты! – шипят на него девчонки.

– Думаю, надо идти Саше Дубравину и Гале Озеровой! – наконец высказывается Александра Михайловна. – Они и материал знают, и ребята симпатичные.

И, уже обращаясь только к ним, добавляет:

– Зайдите ко мне в палатку на секунду.

Когда они усаживаются рядом с ней на брезентовый пол в полумраке шатра, она дает им несколько советов:

– Первыми не ходите. Посмотрите, как будут другие отвечать. Сейчас с полчаса потренируйтесь. Втянитесь в работу. Показывайте по очереди друг другу минералы и рассказывайте о них. Вот здесь, у меня в палатке, можете и потренироваться.

И выходит.

Неожиданно оставшись одни, они с полминуты сидят молча. Наконец Шурка поднимает глаза. Она, отвернувшись, напряженно вытаскивает из карманов палатки минералы.

Галина и Володя Озеровы выросли в большой и, по нынешним временам, патриархальной семье. В большом каменном доме жили прабабка по отцовской линии, дед и бабушка по материнской, отец, мать и трое детей. Галина была старшей.

Родители ее вместе учились в сельхозинституте. Поженились на четвертом курсе. После окончания приехали в Жемчужное с большеглазой дочкой и двумя чемоданами. Однако обосновались молодые специалисты на месте очень основательно. Завели хозяйство, построили дом.

Правда, молодая жена была вначале против совместного проживания со стариками. Но Василий Иванович, как к тому времени стали называть молодого Озерова, настоял. Старшее поколение взяло на себя все заботы по хозяйству.

Большая семья, где работали все, легче противостояла трудностям жизни. Дети чувствовали себя защищенными от бурь и невзгод. Было только одно «но» в жизни Галинки: прабабка по отцовской линии прессовала старшенькую. Что сверлило ворчливую злобную старуху? Может быть, воспоминания о собственном детстве, может, зависть к

молодости? Никто не знает. Но бедный ребенок с раннего детства находился под неусыпным злобным взглядом и каждую минуту ждал окрика: «Не так делаешь, дура! Куда пошла!» Так что ласковая и добрая, как телочка, девочка в глубине души тихо ненавидела прабабушку.

В прошлом году старуха умерла.

В тот вечер Шурка Дубравин возвращался из кино поздно. И неожиданно для себя встретил Галину и ее младшую сестру Татьяну. Они сидели на скамейке возле школы. Подошел:

– Привет, девчонки! Вы что такие смурные? И в такое время здесь сидите?

– У нас бабушка умерла, – ответила Татьяна.

– Да, сочувствую вам, – сказал он. И тут Галка обронила странную фразу:

– Господи, и зачем старые люди живут так долго?

Шурка потом два месяца думал над этим. Он считал, что Галина и Вовка живут совсем в другом мире. Кто он? Сын телятницы и шофера. Они же – другое дело. Отец – главный зоотехник. Мать с высшим образованием.

Галка училась кроме обычной еще и в музыкальной школе по классу фортепиано. Более того, с нею отдельно занимался учитель рисования.

И вдруг – ненавидит бабку?

Впрочем, с ее рисованием у Шурки была связана и неприятная история.

Сколько он себя помнил, всегда себе под нос что-то такое напевал. Эта привычка оставалась неискоренимой. Он пел дома, на уроках в школе – везде. И вот однажды в пятом классе обнаружил в стенной газете карикатуру на себя: ушастый и губастый тип, развалясь за партой, тянет во все горло: «Джама-а-айка!» Самое обидное для Дубравина заключалось в том, что раскритиковали его незаслуженно. У него ведь душа пела...

Вот так они и жили рядом. И не замечали друг друга до тех пор, пока он не увидел ее.

Три дня назад Людка Крылова «по огромному секрету» поведала Галке о том, что услышала от Дубравина. Рассказывая, она хотела убить трех зайцев. Во-первых, услышать от Галины, что Дубравин ей «по фигу». И таким образом успокоить себя. Во-вторых, при случае она могла бы передать такую нелестную оценку самому Шурке. И естественно, уязвить его. В-третьих, передавая подруге узнанные признания, она выглядела в собственных глазах благородно.

Но тут что-то пошло не совсем так, как хотелось. Озерова почему-то задумалась...

Больше всего Галину удивила та разница в обыденном общении, которую выказывал Дубравин, и то, что сказала ей Людмила. Душа ее была еще неопытна в этих делах. И она не понимала, что его подчеркнутое равнодушие, его срывы, его взгляд, как ей казалось, пристальный, «ледяной», на самом деле были просто прикрытием. И естественно, ею овладело простое женское любопытство. Она стала приглядываться к Дубравину. Заметила, какие у него «маленькие ушки». И что он вообще «такой сильный».

Конечно, были в этой девичьей душе, как и в любой другой, мечты и грезы. Жизнь рисовала что-то белое, воздушное. Но на одну тропинку с Дубравиным ее сегодня утром толкнуло только любопытство. Сначала все было ужасно страшно, а потом смешно и весело. Особенно когда они свалились в воду. Но Саша отчего-то разозлился. Она на него обиделась. Да как тут не будешь разговаривать, если надо вместе идти сдавать экзамен?

– Ну что? Это какой минерал? – сдавленно спрашивает она теперь, показывая на кусочек серного колчедана.

Оба понимают, что дело, конечно же, не в серном колчедане. Что им нужно решить – мир или ссора после утреннего. Шурка набычивается еще сильнее. И вдруг замечает ее все понимающий и ласковый взгляд. Он молчит еще секунду, а потом, вздохнув, как перед прыжком в воду, бормочет:

– Галь, ты извини меня... за утреннее...

– Да ладно, чего уж там, – растерянно шепчет она. – Бывает.

Он вздрагивает. И стучается головой о брезентовый потолок.

Оба облегченно смеются. Каждый своему.

* * *

Через полчаса они направляются к павильону.

В наскоро сколоченной деревянной беседке, где идут зачеты по минераловедению, пахнет свеженастеленными досками. На стеллажах выложены кусочки минералов и пород из коллекций.

Они, как и советовала Александра Михайловна, пристраиваются в уголке и внимательно прислушиваются к тому, что отвечают другие.

Зачет принимают тот самый животастый молодой человек с повязкой и пожилая седая женщина, одетая в плотно сидящие джинсы и легкую оранжевую ветровку. Она безостановочно курит сигарету за сигаретой и сбрасывает пепел прямо на пол. Слушая ответы, одобрительно покачивает седыми кудрями, словно старается помочь отвечающим. Шурка

вспоминает, что ее зовут Мариной Афанасьевной. Она бывший геолог. Кажется, даже начальник партии. И в прошлом году была главной на республиканском слете молодых туристов.

– Это что за минерал? Где встречается? А у нас где добывается? – один за другим сыплются вопросы.

Беленькая полненькая девочка в шортах из команды усть-каменогорских долго-долго вертит минерал в пальчиках и никак не может точно ответить. Говорит неуверенно, морща губки:

– Это, кажется, кварц! Встречается... Где же он встречается?..

У Шурки Дубравина душа ликует. Ему хочется сделать приятное всем, в том числе и этой девушке, и седому геологу, и даже важному парню.

– В горных породах, – подсказывает он.

– Молодой человек, идите сюда, – зовет его женщина. – Вы так уверенно подсказываете, можно подумать, все знаете. Поэтому я вам билеты давать не буду. Мы с вами продолжим разговор по этому минералу.

Она забирает у беленькой девочки кристалл кварца и насмешливо добавляет:

– Если все знаете, поставлю высший балл. Так, Анатолий Николаевич? – обращается она к ассистенту.

Тот согласно кивает.

– Ну, скажите мне, молодой человек, что представляет из себя кварц в химическом отношении?

Шурка еще только собирается с мыслями, а Озерова уже выпаливает:

– Это одна из кристаллических модификаций кремнезема – двуокиси кремния. Существуют две модификации кварца...

– Стоп, стоп, стоп... А почему она отвечает? – спрашивает седовласая.

– А мы с ним одна команда, – тихим голосом быстро вставляет Галинка.

– Ах, вы одна команда! – смеется женщина. – Ну-ну. Тогда скажите мне, одна команда, как этот минерал называется в просторечии? Смелей, смелей, – подбадривает она Шурку.

– Горный хрусталь, – с некоторым сомнением в голосе наконец произносит он.

– Молодцы! – облегченно вздыхает тетенька. Ей, видимо, нравятся эти двое. И она в душе очень хочет, чтобы им повезло. – Молодцы! А то мямлят, мямлят, – она достает свежую сигарету. Закуривает, крепко, по-мужски затягивается и добавляет: – Всегда приятно, когда твоим делом интересуются. А я думала, тут одни дилетанты.

Глаза ее весело и лукаво блестят. И Шурка вдруг понимает, что никакая

она не пожилая. Просто седая...

Они выходят из павильона счастливые и обескураженные одновременно. Шурка, которого распирает изнутри, неожиданно для самого себя протягивает руку и берет ее узкую теплую ладонь в свою. В первые секунды он чувствует, что ее напряженные пальцы безвольно лежат в его ладони. Но через десять шагов неожиданно ощущает легчайшее пожатие...

* * *

Растянутый над всей землей гигантский полог неба густо усеян яркими звездами. Они отражаются в темной, тяжелой речной воде. По берегам чернеет лес. Лунная дорожка чуть колеблется от легкой волны. О чем-то шуршат прибрежные камыши.

На пригорке горит костер. Потрескивают дрова. Блики огня выхватывают из темноты молодые лица.

– Может, пойти проверить раколовки? – ни к кому не обращаясь, говорит Володя Озеров.

Он встает от костра, расправляет плечи в «ширину», подтягивает живот и спускается по тропинке к камышам. За держак достает круглые сетки с привязанными кусочками жареного сала. Раков, которые впились в сало и пируют, аккуратно отрывает от лакомства и бросает в железное ведро. Там они безуспешно скребутся и гремят клешнями о железные стенки.

Собрав добычу, Володя идет обратно к костру. А здесь все еще продолжается естественный для выпускников разговор.

– Кончим школу, – говорит Толик Казаков, поправляя на лбу зачем-то надетые поверх кепки темные пижонские очки, – и начнется для многих серая, скучная жизнь. Не поступят. Пойдут пахать.

Он говорит это таким небрежным тоном, что становится ясно: уж он-то в своих силах уверен на сто процентов. И его самого ждет студенческая, яркая, интересная жизнь.

– Да ладно тебе, Толюня, – ломая руками очередную толстенную дровеняку и бросая ее в огонь, отвечает ему Дубравин. – Что же так пессимистично?

Он опускает голову и, подняв над нею граненый стакан с домашней настойкой, произносит:

– За нашу и вашу свободу! Ура!

Народ тянется чокнуться и тихонько, чтобы не было слышно в лагере за бугром, придушенно кричит: «Ура!»

А Дубравин продолжает:

– Вот это главное, что мы получаем, закончив школу. А пойду ли я работать или учиться... Разве это важно...

Он лукавит. Все понимают: от того, поступят они или нет, зависит судьба. Самооценка, оценка окружающих. Просто ему хочется заранее обеспечить оправдание тем, кто не сразу пробьется.

– А что важно? – спрашивает он сам себя. И сам отвечает: – Важно – стремишься ты к чему-то или плывешь по течению. – И добавляет: – Так хочется, чтобы все узнали, какой ты. И самому увидеть мир...

Он замолкает, стараясь не выдать своего волнения, и заворуженно смотрит прямо на огонь так, что пламя костра отражается в его глубоких темных глазах.

– И для этого ты идешь в военное училище? Что ты там увидишь? Казарму? Наука – вот где сейчас все происходит. Физика, химия, математика, – говорит Казаков.

Разговор на время затухает. Каждый думает о своем. В эти дни все они хорохорятся и уверяют себя и друг друга, что уже твердо знают свою дорогу. Но в глубине души у каждого живет страх перед самостоятельной неведомой жизнью. И они инстинктивно ищут опору. Кто в чем.

– На все наплевать! – неожиданно для всех, но вполне естественно для хода своих мыслей высказывается Амантай Турекулов. – Наука, физика, химия. Поеду к дяде в Алма-Ату. Он устроит в институт. Обещал. Дядя Марат, двоюродный брат моей апашки, – большой человек в столице!

Всем после его слов становится как-то неловко. И эту неловкость спешит сгладить Андрей Франк. Он подцепляет ведро с раками на крючок над костром, бросает туда щепотку соли и несколько лавровых листочков:

– А я не знаю, как будет. Раньше немцам не разрешали в вузы поступать. Старики мои боятся... Может, пойду работать фотографом куда-нибудь. У меня в районке штук пять снимков вышло...

Хотел сгладить неловкость. А получилось еще хуже. Они до сих пор особо не задумывались о том, кто немец, кто казах, кто русский. А тут, оказывается, из этого что-то следует.

«Вот тебе и на... – думает Шурка. – Столько лет жили вместе».

Девчонки в этот разговор не встревают. Но мечтают о своем. Людке хочется стать юристом. Однако она понимает, что матери одной не потянуть ее высшего образования в большом городе. Значит, надо идти туда, где попроще. Может, в техникум.

У Галинки все по-другому. Выбор больше. Но ей кажется, что в ней живет художник. И даже не это главное. Там, в туманном будущем, встретится, обязательно встретится такой человек. Ну, положим, не принц

на белом коне, но такой, с которым вместе можно идти целую жизнь.

– Эх, сбудется, не сбудется! Что сбудется, забудется! – помешивая прутом раков, говорит Казаков. – Время нынче скучное. Тоска какая-то... Будто все остановилось. Одно слово. Развитой социализм, – он вздыхает и присаживается на корточки у огня.

Шурка возражает только из желания противоречить:

– Да брось ты на время валить. Время самое что ни на есть живое. Космос. Бомба. Куда ни кинь – революции кругом. Нам скучно, потому что мы в тихой заводи. А вот выберемся на дорогу. Большую дорогу...

– Хорош вам философствовать! Айда купаться, – бросает предложение Вовуля Озеров.

Они спускаются под обрыв, где их не видно с пригорка. Вода в реке кажется темной, нечистой. От нее тянет сырой прохладой.

Народ снимает плавки и трусы. Бросает их у самой воды. И с шумом, хохотом кидается в реку. Первым с разбегу, поджав под себя ноги бомбовозом, рушится Амантай. За ним дает пузяка Вовуля Озеров. Горохом сыплются остальные.

– В сома играем! – орет на всю реку от избытка чувств Вовуля. – Кто последний в воду нырнул, тот и сом с одним яйцом!

Но ночные купальщики не откликаются на его призыв. Догоняя и обгоняя друг друга, мчатся они в серебристых брызгах по лунной дорожке.

Дубравин отворачивает чуть в сторону и, стараясь развить максимальную скорость, плывет на середину. Он чувствует, как под напором его мелькающих рук вода становится упругой.

Но река все равно потихонечку сносит его. Тогда он перестает бороться с течением, переворачивается на спину. Взгляд его блуждает по темному небу. Он замечает, что между звездами мелькают серые тени. Это летучие мыши ловят мошкару над рекою.

Проходит несколько секунд, и ему уже чудится, будто он остался один, совсем один. Кажется, что река унесла его далеко-далеко от ребят, от костра.

Какой-то пещерный ужас заползает в его душу. В страхе он быстро переворачивается на живот и ищет глазами берег, друзей.

А они уже суетятся возле береговых камышей недалеко от пригорка, на котором приветливо трепещет алый язык пламени костра.

Дубравин плывет прямо к ним. И видит комическую сцену. Пацаны стоят по пояс в воде, но не выходят. Потому что нет их трусов. Они висят на дереве. Возле огня. Но там сидят девчонки.

– Люд! А Люд! – жалобно кричит из воды Андрей Франк. – Кинь

трусы. Мы же замерзнем.

– А возьми! – озорно улыбаясь, отвечает Крылова.

Рядом, опустив голову, давясь от смеха, говорит Галинка:

– Вот они висят!

– Люда! Е-мое, отдай трусы! А то плохо будет тебе! – вступает в переговоры Амантай.

– Ой, плохо мне без тебя, миленький!

– Ну, погоди, зараза! – Толик Казаков срывает у берега разлапистый лопух, одной рукой прикрывается им и двигается на сушу. – Счас я тебе покажу...

Через мгновение Людка в притворном ужасе несется по берегу к воде. Следом, размахивая, как знаменем, трусами над головой, мчится Казаков...

От ведра с красными сварившимися раками валит густой пар. Все уже натанцевались дикарских плясок, набегались, напрыгались через огонь. И теперь мирно сидят в кружке, перекидываясь словом о том о сем.

Андрей достает из ведра огромного клешнятого рака. Пытается оторвать самое лакомое – хвост. Но обжигается и бросает его на траву. Обдувает пальцы. Ища сочувствия, смотрит в сторону Озеровой:

– Горячий!

Дубравин сидит чуть поодаль, поглядывает на девчонок. Ловит Людкин внимательный взгляд, который она изредка бросает на него. Галинка, наоборот, потупилась и старается в его сторону не смотреть.

Он понимает, что обе чего-то ждут от него, может быть, кивка – «Уйдем от костра вместе».

И... не двигается...

* * *

Где-то там, внизу, осталась вся путаница жизни.

А здесь – невыносимая запредельная радость. Блаженство свободного под облаками полета. Полное освобождение.

Над ним синева. И под ним синева. Океан. От горизонта до горизонта.

Из прозрачного хрустального воздуха внизу материализуются на воде белые паруса. Яхты.

Он летит над ними, соревнуясь с упругим ветром...

...Палуба под парусами полна народа. Это женщины. Тут и чернокожие, полностью обнаженные негритянки, и светловолосые синеокие девушки севера Европы, желтолицые китайки в шароварах. Хрупкая, как стебель бамбука, тайская красавица в сари и короне из пальмовых листьев и цветов. Индианка с серьгой в носу и вишневой

точкой на лбу. Раскосая эскимоска в легком меховом капюшоне. Элегантно пахнувшая француженка в маленьком черном вечернем платье. Лощеная англичанка. Рыжая веснушчатая ирландка.

Господи, да кого тут только нет! И все они что-то хотят от него. Увлекают в сладострастную игру... Ему хочется, чтобы этот сон, это наслаждение было бесконечным. И вечным было это желание...

Дубравин вылез из палатки. В небе, словно прислушиваясь к тому, что делают люди, застыл багровый диск луны. Вокруг него сияющий мертвенный, синий, как от люминесцентной лампы, свет. Он заливает всю поляну. Шурке стыдно и радостно. Тело легкое и звенящее. А на душе скребет: «Оно как взбесилось. Хочет женщину. Любую. Это неправильно! А как правильно? Правильно – это когда любовь. А тут приходит ночь, и тебя будто поджаривают на медленном огне. Жгучее желание. И ничего с этим не поделаешь. Стыдно. Грязно. Человек выше этого! А все-таки какое наслаждение... Какая радость и какая тайна. Тайна мироздания...».

* * *

Самое трудное в жизни – ждать. И догонять.

Где-то там, впереди, в начале эстафеты мощно гребет в лодке Толик Казаков. Взбирается на скалу по морской веревке Андрей Франк. Раскачиваясь, бежит по подвесному мосту над рекою Косорукова.

А они ждут.

Нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, то и дело поглядывает на стрелки часов узкими черными глазами Амантай. Он пытается высчитать, где сейчас эстафета.

Турекулов, как и многие казахские ребята, из большой многодетной семьи. И жизненный уклад ее резко отличается от образа жизни других соседей. Двор у Амантая – голая земля. Не растут ни цветы, ни картошка! Зато посередине стоит белая юрта, а на базу постоянно белеют барашки. Аульные родственники подбрасывают мясо, муку, рис. И оттого в юрте не переводятся манты и вареное мясо.

Прадед Амантая был степным разбойником – барымтачем, то есть угонщиком скота.

В степи угон скота у вражеского рода в те времена был явлением обыденным. Налетали на стойбище лихие молодцы с камчами и соилами. Бились до крови и отгоняли чужих барашков и верблюдов. А потом уходили от погони в намет на степных лохматых лошадах.

Прадед Турекул вместе с легендарным «красным батыром» Амангельды Имановым покуролесил по степи и в шестнадцатом году.

Потом посидел в тюрьме, хлебнул каторги.

Дед Амантая породнился с родом Ураза Джандосова. Учился в числе первых казахских интеллигентов в Москве.

Отец – уже профессиональный партиец. Но из-за «вредного» характера высоко не поднялся. Работает парторгом целинного совхоза. Он свято верит в то, чему учат в партшколах, и, судя по всему, относится к редкой вымирающей породе людей, принявших коммунистические идеалы всею душой.

Мать Амантая, Бибигуль, живет и мыслит совсем по-иному. Большой многодетной семье в одиночку не выжить. Она старательно поддерживает отношения с многочисленными родственниками. Не бывает дня, чтобы к их двору не подкатывала машина или повозка. А иногда подъезжает всадник на верблюде в чапане и малахае. И всем она находит ласковое слово, всех оделяет баурсаками и поит чаем из большого самовара.

И множится род, к которому все они принадлежат.

Амантай органично впитывает все. При необходимости может вспомнить всех своих родственников до седьмого колена, но, если надо, готов произнести здравицу в честь комсомола и партии – наших рулевых.

Он хочет быть начальником. Неважно где. И неважно каким. Поэтому с друзьями ему порой очень сложно. Они его претензии признавать не хотят. Что делать – юность ведь судит не по званиям и должностям, а по реальным достоинствам. Вот он постоянно и обижается на весь мир, который, как ему кажется, не может оценить его.

Сейчас Шурка сидит рядом с ним на траве в позе лотоса. Не двигается. И старается внешне не выдавать своего волнения. Делает невозмутимое «индейское» лицо, прикрывает глаза. А когда открывает, молча разглядывает пушистую круглую голову одуванчика, растущего перед ним.

Но внутри у него будто вибрирует и поет тонко натянутая тетива. Тронь – и он, как стрела, сорвется в полет, помчится к цели. И тогда уже никто не стой на дороге. Ударит – пробьет любую преграду.

Но нетерпение его скрыто в глубине души, а мысли вертятся вокруг вчерашнего вечера: «И где мы все будем завтра? Чего ждать? Оказывается, не все так безоблачно. Вроде все равны в нашей стране. А еще школу не закончили, уже пошла сортировка. Вам сюда. А вам никуда нельзя...»

– Ну, кажется, бежит, – почему-то шепчет Амантай. И обтирает о штанины взмокшие от волнения ладони.

Из-за скрытого зелеными деревьями и кустарниками поворота показывается тоненькая, как лозинка, фигурка в голубом спортивном костюме. Галя бежит легко и не касается земли кроссовками, а просто

летит над тропинкой. Вот она уже рядом с отмеченным свежесрубленными колышками огненным рубежом. Прилегла на плащ-палатку. Быстрым, отточенным, автоматическим движением зарядила винтовку.

Приготовилась к стрельбе.

Шурка даже мысленно представляет себя на ее месте. Видит, как литая мушка совмещается с черным силуэтом на мишени.

– Огонь! – машет зажатым в кулаке красным флажком пожилой военрук. Сухо щелкает первый выстрел из малокалиберки. Шуршит в воздухе пуля. За пробитой ею стоящей у стенки оврага грудной мишенью вскидывается фонтанчиком пыль.

Еще. И еще раз... Блеснув на солнце, отлетают в сторону, в траву медные гильзы.

Стрельба закончена. Как положено по инструкции, она открывает затвор, показывает судье пустой патронник.

Все. Теперь его с Амантаем очередь. Заключительный этап эстафеты. Доставка «раненого» в базовый лагерь.

От того, как быстро и четко они сделают это, зависит успех всей команды. Победа, к которой они шли столько лет.

Ребята быстро подбегают к огневому рубежу. Привычным движением сплетают руки, так что получается нечто наподобие сиденья. Галка садится в это импровизированное кресло, обнимает «санитаров» за загорелые крепкие плечи.

Шурка чувствует тепло, упругую гибкость ее тела и удивленно отмечает про себя: «Какая легкая. Как перышко».

И вот они с Амантаем уже бегут по едва заметной тропинке со своей драгоценной ношей. Ориентир – торчащая среди леса голая верхушка скалы, прозванная в народе медвежьей головой.

Но Шурка мысленно переименовывает ее в лысую голову. И на самом деле она похожа своей макушкой на голый череп, который окаймляют по бокам вместо волос кустарники.

Там и располагается финиш.

Бежать неудобно, так как руки заняты в связке.

Они преодолевают почти треть пути, когда он подворачивается им на дне оврага. Камень как камень. Лежит тут, наверное, с ледникового периода. Весь врос в землю. Только гладкий правый бок возвышается над тропинкой.

Вот так-то, торопливо двигаясь боком, Амантай и поскользнулся на его гладкой поверхности. Ничего сразу и не понял. Почувствовал только: что-то хрустнуло в ноге.

Сгоряча сделал еще несколько шагов. А потом присел прямо на тропинку. Губы его как-то побелели и скривились от боли. Лицо стало серым.

– Ой, бай! – прошипел он. – Кажется, я ногу сломал.

– Давай гляну! – Шурка склонился над ним вопросительным знаком. Амантай завернул штанину трико, расшнуровал кроссовок. Открылась лодыжка с наливающейся сине-красной опухолью.

– Аманчик, тебе больно? – всплеснула руками Галинка.

– Эх я, пустая башка! Как же я оступился? А эстафета! Уй! Мы же проиграем соревнования! – замотал головой Турекулов.

– Что же делать? Что делать-то, господи? – Галинка растерянно закрутилась на месте. Потом опустилась рядом с ним.

Старый, с заглаженными стенками, заросший травой и кустарником овраг казался ей ловушкой, из которой им не вырваться никогда.

– Может, носилки сделать? Или костыль? – наконец очнулся от оцепенения Дубравин.

– Тут надо самим выкручиваться! Прибегут судьи. Ох-ах! Нас снимут с дистанции. И кранты. Не видать нам победы как своих ушей. А столько сделали!

– Во, нашел! В принципе, все равно, кто у нас раненый. Ты, Галь, беги. Предупреди наших. А я понесу его. Как смогу.

Шурка наклонился, подхватил друга на руки. Поднял.

– Аманчик, держи меня крепко за шею.

Медленно пошел по тропинке вперед. Попытался выбраться из оврага наружу и не смог: ноша мешала. Присел на край.

– Ну ты, Аман, блин, худой, худой, а тяжелый – не утащить.

– Надо помощи ждать!

– Давай сделаем по-другому. Помнишь, как в детстве в Чапая играли? Вот и садись на меня верхом. Буду твоим конем.

Теперь он легко вышел из оврага. Ступил на простор. И будто изнутри толкнула его какая-то сила. Влилась в позвоночный столб. В руки. Сама собою непроизвольно сжала зубы. В душе появилась готовность преодолеть все. Идти до конца.

Тропа вилась между кустарниками можжевельника, барбариса, боярышника. И Амантай, у которого сохло во рту, даже ухитрился сорвать несколько ягод, пока они шли по ней.

Они преодолели уже больше половины пути, когда наконец увидели бегущих Галинку, Аркадия Тихоныча Кочетова и еще двух ребят из команды с носилками.

Бойко, петушком подбежавший Тихоныч скомандовал:

– Давай слезай с него! Счас Федор с Колей тебя на носилках потащат!

– Не-а! – прохрипел Шурка. – Тогда нам не зачтут эстафету. Снимут очки. Мы проиграем!

– Да черт с ним, с проигрышем! Тут такое дело!

– Не надо! Осталось-то всего ничего! – из-за плеча проговорил Амантай. – Мы так старались. Попробуем еще. Это наши последние соревнования.

– Ну, смотрите, черти полосатые, – отступился Тихоныч.

– Крепче держись! – Шурка встряхнул Амантая за спиной и медленно, упрямо пошел вперед. «Санитары» с носилками двинулись следом.

Он сильно устал. Взмок. Соленый пот тек по бровям, щипал глаза. Отяжелевшие руки, поддерживающие друга, разгибались сами собою, не в силах выдерживать такое напряжение. Один раз хотел даже присесть. Но потом понял, что встать уже не сможет.

На последних ста метрах останавливался шесть раз. Встряхивал Амантая, поправлял руки.

Наконец финиш. И вот он опускает Амантая на смятый брезент рядом с санитарной палаткой. А сам отходит к медвежьему камню. Садится, прислонившись спиной к его ноздреватой теплой поверхности.

Сидит долго, долго. Отдыхает. Молча, смотрит, как суетится возле Амантая черноволосая девушка-фельдшер с зеленой брезентовой сумкой, на которой ярко выделяется красный крест. На то, как мелькает белый бинт в ее мягких полных руках.

Вокруг стоят ребята. Доносятся возбужденные голоса, обрывки фраз.

– Я за веревку схватился, а она мокрая вся, скользит...

– Смотрю, а он валится с моста...

– Как куль с овсом...

– Думали, счас рванут...

– А судья, судья... Стоит и не машет флажком...

К нему, покачивая крутыми бедрами, подходит Люда Крылова. Осторожно, участливо спрашивает:

– Саша, ты как?

– Отдыхаю, обсыхаю. Нормально. Что с ногой?

– Перелома нет! Просто сильно подвернул. Связки потянул или порвал.

С месяц попрыгает с костылем.

– Нам эстафету зачли?

Она достает душистый беленький платочек из кармана, вытирает ему лоб:

– Да, сначала спорили. Говорили, что не по правилам. Потом наш дирек-Феодал с ними поругался аж. Орал, что будет жаловаться. Сейчас очки считают.

* * *

Сигнал к последнему общему построению звучит неожиданно. Шурку он застает в палатке. Там он переодевается. Когда выходит на построение, все команды уже стоят на лагерной линейке при полном параде. То есть в спортивных костюмах с лампасами и разноцветных пилотках с эмблемами.

Дубравин присоединяется к своему отряду в тот момент, когда к руководителю слета подходит с рапортом длинный, как жердь, сутулый юноша в коротком, не по росту костюме – капитан команды туристов из Усть-Каменогорска.

– Товарищ главный судья соревнований, – еле слышно бормочет он, – отряд усть-каменогорской средней школы номер сто восемьдесят один для подведения итогов слета юных туристов прибыл в полном составе...

– Ты что опаздываешь, герой? Так можешь главное пропустить! – слегка подтрунивая над ним и одновременно заигрывая, толкает Шурку могучим плечом Косорукова. – После рапортов будут результаты объявлять.

Однако она зря беспокоится. Уже давно отзвучали рапорты капитанов, уже в рядах началось беспокойное шевеление, а судейская коллегия все еще не выходит из штабной палатки. Согласовывает окончательный протокол.

Главный судья – приземистый плотный мужчина, на широких плечах лобастая голова, «украшенная» маленькими усиками, – долго переминается в своих высоких горных ботинках, а потом не выдерживает – посылает помощника, животастого парня, чтобы поторопил коллег.

Но и тот пропадает.

В отрядных рядах начинается тревожное перешептывание. Некоторые особо нетерпеливые даже отходят от каре.

Наконец из штабной палатки, где не смолкает гул голосов, вываливается раскрасневшаяся от споров группа.

Главный судья берет в одну руку согласованный протокол, во вторую – невесть откуда взявшийся черный микрофон.

Все затихает.

Он говорит общие слова о том, что слет продемонстрировал возросшую активность, выучку юных туристов, а Шурка смотрит вдаль, за горизонт, где за плотной стеной леса виднеется покрытая белой папахой из снега

одинокая вершина Ульбы.

Мысли его свободно скользят одна за другою, не пробуждая никаких чувств. Он думает о тех людях, которые много столетий назад дали название этой вершине. О великих путешественниках. О народах, когда-то населявших эту землю.

Очнулся от мечтаний, когда все вокруг зашумели, раздались аплодисменты и радостные вопли. Шурка неожиданно для себя оказывается в руках Вовули Озерова и Андрея Франка. Тут же подскакивает Косорукова, выхватывает его, душит в объятиях. Валя Сибирятко чмокает мягкими губами в нос...

Сквозь аплодисменты прорывается глуховатый, плотный голос главного судьи:

– ...Мы вручаем капитану команды-победительницы на вечное хранение переходящий кубок областного совета по туризму...

Выходит счастливый, пунцовый от волнения Толик Казаков. Старательно изображая строевой шаг, соблюдая все углы и повороты, идет к центру, потом сбивается и двигается напрямик.

Взметает вверх блестящий серебряный кубок.

Дикое ура, выдохнутое во всю мощь легких победителями, больше похоже на боевой клич и клекот индейцев сиу. Вспугнутые вороны на опушке леса поднимаются в воздух.

У Шурки неожиданно для него самого распускается на лице радостная, широкая, глупая улыбка.

«Да, ради этого, ради таких мгновений стоит жить! – думает он, исподволь потихонечку наблюдая за Галинкой. – Вот оно, счастье! Эх, если б нам еще с ней быть вместе!»

В эти мгновения каждый из них ощущает такое общее чистое чувство единения, дружбы, любви, какого, наверное, уже не будет в их жизни никогда.

Эта общая любовь и радость витают в воздухе чистой, светлой аурой над всей командой. Нити ее тянутся от человека к человеку.

Они никогда в жизни не забудут этого счастья общей победы.

* * *

Едут домой с песнями. Новенький голубой совхозный автобус весело мчит их команду по асфальтированному шоссе через бескрайние зеленые поля.

Проплывают мимо светлые березовые рощи. Стекают одна за другою цветущие белыми акациями лесополосы. Мелькают рядом с дорогой одинокие трактора с сенокосилками на прицепе.

Когда открываются взгляду неумело спланированные улицы целинных поселков, Колька Рябухин на ходу высовывает в окошко свою румяную усатую физиономию и кричит какой-нибудь голенастой девчонке в цветном сарафане:

– Эй, Марья, дай воды испить!

Та с испугу роняет ведро и таращится глазенками вокруг. А автобус уже проносится мимо с песнями и хохотом.

Тундра – одно слово.

В Жемчужный приехали вечером. Долго разгружали у школы палатки, котлы, камеры от плота и другой скарб.

Уже в сумерках Шурка с Джулей потихоньку открыли калитку, заложенную на засов, и прошли во двор. Навстречу им из будки загредел цепью Полкан. Собаки обнюхались. «Чего это они его на привязь посадили?» – подумал Дубравин.

Но дома его ждет еще один сюрприз. Родители, которые всегда укладываются вместе с солнцем, чтобы и встать так же, сегодня не спят. В окне летней кухни, построенной в глубине двора, горит свет. Слышны голоса.

«Меня ждут!» – радуется он.

Всю дорогу он нес в душе счастье победы. Старался не расплескать его. Хотел поделиться.

В темноте подходит к светлому окошку и заглядывает в комнату.

Взгляд выхватывает гудящий примус возле плиты. Маленькую, черноглазую, смуглую, как цыганка, женщину в халате и тапках на босу ногу. Она торопливо чистит картошку в огромную алюминиевую кастрюлю. Картофельная кожура кружевом стекает на пол из-под блестящего лезвия. А мать в это время что-то раздраженно говорит отцу.

Алексей, сгорбившись, сидит возле радиоприемника. Лохматые брови нахмурены так, что глаз из-под них не видно. Наклонив русую голову с седыми висками к приемнику, он терпеливо двигает пальцами стрелку по шкале. Ловит «Голос».

Сколько Шурка себя помнит, отец каждую ночь слушает западные «голоса». А так как рассказывать об этом в деревне никому нельзя, то он делится узанным с сыновьями. Когда Иван ушел в армию, главным слушателем стал Шурка. Так что Дубравин неплохо осведомлен о том, что говорят о нас «из-за бугра».

Частенько Дубравин просыпается посреди ночи и видит одну и ту же картину. Алексей сидит у приемника. Радио шипит, трещит. А сквозь это шипение и треск едва-едва пробивается потусторонний, почти как загробный, голос диктора какой-нибудь «Немецкой волны из Кельна». Потом вдруг раздается дикий гул. Это вступает в дело советская глушилка. И тогда отец срочно ищет другую волну.

Выручает то, что приемник у них мощный, чувствительный. Матери его дали как участнику Выставки достижений народного хозяйства в Москве. Кроме того, были у нее еще две медали и золотые часы. Все это богатство их семья получила за то, что Мария, когда работала дояркой, надаивала вручную аж по пять тысяч литров молока от каждой коровы. Рекорд.

Правда, от такой работы руки у матери к вечеру гудели. А потом и вовсе стало «не разогнуть». Впрочем, на самой выставке она так и не побывала. Вместо нее директор послал в Москву свою любовницу – доярку Машку Жбаниху. Ну да это отдельная история.

Необычное для деревни увлечение отца как-то влияет и на взгляды сына. Как говорится, критический осадок остается.

Алексей приучил младшего сына и к чтению газет. Сделал он это просто. Брал, например, «Известия». Вслух читал семье пару заметок и где-нибудь в середине третьей останавливался, откладывал газету в сторонку. Шурке-то любопытно, что там написано дальше. Он подбирал. Читал. Сравнивал.

Так и жили в своей глуши, зная две правды. О Сахарове и Солженицыне. О Буковском и Корвалане. О «диссидентах» и «отщепенцах».

Сейчас отец настраивает булькающий и хрипящий на разные голоса приемник и пытается поймать радио Ватикана. Одновременно он разговаривает с матерью на уровне междометий и вопросов. А мать, расходившись, высказывает все наболевшее за последнее время. До Шурки доносятся ее слова:

– Ждали, ждали его! Думали, ну, Шурка – тот скорей всего в город подастся, а этот с нами останется. Хозяиновать начнет. И что? Принесло ясна сокола. Черт его мордует. Хоть ты с ним, отец, поговори, что ли, как мужик с мужиком. Сегодня меня бабы перестрели на улице. И давай выговаривать. Пьяный бродит по вечерам меж дворами. И то к одной прилипнет, то к другой. То к Глашке-разведенке, то к Люське-медсестре. Как кобель с цепи сорвался. Я от стыда глаза не знала куда прятать. Явился сыночек, порадовал родителей пьянкой своей бесконечной да б...

– А где он сейчас-то? – спрашивает отец, все более осторожно проворачивая ручку настройки, нащупывая волну.

Раздается еле слышимый голос: «Вы слушаете радио Ватикана. Передаем сводку главных новостей».

– Поймал... кажется...

– Спал до обеда. А потом пофантилил куда-то. Дружок к нему пришел. Вовка Дурман. Нашел друга! Самого забубенного пьяницу в поселке. Как тот явился, наш сразу подскочил ко мне. Мать, дай три рубля. Друг пришел!

– Я говорю: «Ну, пришел друг, хочется выпить. Сядьте дома. Будьте как люди. Я вам закуски приготовлю». Так нет же. Надо куда-то бежать, чтоб где-нибудь напиться в лесополосе. А потом валяться под забором. А люди все видят. И страмят.

– Ладно, я с ним поговорю, – уже с ожесточением говорит Алексей. – С балбесом таким. Думал, в армии ему мозги вправят. А он как ушел дураком, так и вернулся.

Чувствуется, ему уютно и спокойно здесь, у приемника. И не слишком хочется отрываться, разбираться с этой пьянью. И оттого, что он должен все-таки это делать, его и одолевает злость.

– А первые дни помнишь, что говорил. Пойду, мол, учиться в вечернюю школу, потом институт... Я стал другим...

– Хвастаться он всегда был здоров...

Шурка прошел к двери, толкнулся в кухню и нарисовался на пороге всей своей мощной фигурой.

– Здравствуйте, я явился, не запылелся! – с легкой самоиронией представился им.

– А, Шурик! – радость только на мгновение мелькнула в глазах отца и опять угасла. Он снова прилег к приемнику.

– Ужинать будешь? – спросила матушка. – Борщичка тебе налить?

Дубравин ждал, что его сейчас спросят о соревнованиях. О том, кто победил. Он расскажет им, как тащил Амантая. Что сказал директор. Поделится своей радостью, которую бережно нес в груди всю дорогу, чтобы не расплескать ненароком. А тут... «Даже не поинтересовались!» – с горечью подумал он. А вслух сухо ответил:

– Да нет! Не хочу!

– Я думаю, они опять в лесополосе сидят, пьют! – Мать не заметила его тона. Она занята мыслями о старшем сыне Иване. – Ты бы съездил, Алексей. Привез его домой. С Шуркой бы и съездили!

Вся его радость словно улетучилась куда-то. Он неожиданно для себя самого стал вредным и злым.

– Я не поеду! – И в этом отрывистом ответе, сказанном сквозь зубы, звучат и обида, и вызов, и ненависть.

Мария, не находившая себе места из-за старшего и только что ругавшая его на чем свет стоит, напустилась на ни в чем не виноватого младшего:

– Вот ты всю жисть такой, нелюдимый. Родной брат пропадает, а тебе хоть бы хны. И в кого ты такой уродился?

– В вас! – рявкнул Шурка в запале. – Брат!.. Пьяница он. Алкаш. Такой брат мне не нужен!

– Да что ты такое говоришь? Шурик! – мать всплеснула руками.

Шурка уже понял, что в запале ляпнул лишнее. И попытался оправдать свои слова:

– А то и говорю. Пусть он попробует еще раз на меня руку поднять спьяну! Я ему башку сразу отрублю.

– И откуда в тебе столько злости? – опешила мать. – Какой ты чужой нам.

Мать, действительно, сегодня будто в первый раз увидела своего младшего. Как он изменился в последнее время. О чем-то думает постоянно о своем. А о чем? Ни с кем в семье не делится.

– Никогда с нами не сядешь, не поговоришь!

Шурка промолчал. «А о чем с вами говорить? – уныло думает он. – Если мои дела, моя жизнь вам абсолютно не интересны. Одно только и знаете: “Корову загнал? Сена накосил?” А о чем я думаю, о чем мечтаю – вас не касается. Только о себе и думаете. Главное – кто с вами на старости лет доживать останется. Надеетесь на Ивана, вот перед ним и расстилаетесь. А я вроде как побоку для вас. Отрезанный ломоть».

А мать, уже не останавливаясь и не притормаживая на поворотах, понесла:

– Зойка завихрилась. Уехала черт-те куда. И ты собрался. И что вам тут не живется? Ведь хорошо все. Деньги есть. Дом есть. Живи да живи...

– А для чего жить? – неожиданно для себя выпалил Шурка.

– Как «для чего»? – искренне удивилась Мария. – Просто жить. Детей растить. Не понимаю я вас. Чего вам не сидится на месте?

«Ну, завела свою шарманку», – зло думал Шурка, слушая уже, наверное, в тысячный раз песню о том, какие они неблагодарные. У других, мол, дети как дети, а эти – сплошные выродки. Что Зойка, что Иван, что он, Шурка...

– Да ладно тебе, мать, причитать! – наконец оторвался от приемника Алексей. И заступился за своего любимца: – Нормальный он парень. Смотри, какой красавец. Грудь, плечо, нога. Вон лучше иди встречай. Кто-то в калитку стучится.

В ответ на явственный стук залились лаем Джуля и Полкан. Мать пошла открывать. Услышав пьяные чужие голоса, следом вышли Алексей и Шурка.

За калиткой, пьяно-масляно улыбаясь и покачиваясь, в обнимку стояли двое. Растрепанный Иван почти висел на плече у известного деревенского пьяницы – толстяка Вовки Дурмана.

– Э-э-э, – бессмысленно промычал брат, а потом начал пьяно хихикать над самим собою.

– Теть Марусь! Забирайте своего! – бодро отрапортовал Вовка.

– Отец, иди помоги!

Когда мать с отцом подхватывают чадо под мышки, Иван, пьяно икнув, дыхнул перегаром и потянулся целоваться к Шурке мокрыми губами...

Шурка не выдержал сцены и, хлопнув калиткой, вышел на улицу.

XXIII

Накатило лето. Опустела школа. Отгремел последний звонок. В классах поселилась настороженная тишина. Экзамены.

Облитый солнечным светом, засаженный вечнозелеными туями, елями, соснами школьный двор скрывает в тени озабоченных выпускников. С учебниками и шпаргалками, разбившись на группы и поодиночке, повторяют и заучивают они какие-то одним им понятные заклинания. То и дело из укромных углов слышны бойкие или гнусавые голоса:

– Ну, скажи-ка мне, в каком году была Куликовская битва?

– Э-э-э, кажется, в тысяча... тысяча триста шестидесятом?

– Два! В восьмидесятом.

– Ну, я же все помнил. Помнил же...

– Вот Феодалу и скажешь, что ты помнил...

К появившемуся в школьном коридоре Дубравину сразу подкатывают Зинка Косорукова и Валюшка Сибирятко. На раздавшейся вширь, могучей румяной Зинке как-то нелепо сидит куца школьная форма. Телеса выпирают через коричневое платье и белый фартучек.

Зинка явно не в своей тарелке. Куда только делся ее грубоватый задиристый тон! Она сникла и как-то робко-робко просит Шурку объяснить ей разницу между Февральской и Октябрьской революциями семнадцатого года.

Круглолицая, с румянцем во всю щеку Валюшка молча, преданно глядит на него своими бездонными зелеными глазами.

Что тут поделаешь. Приходится объяснять.

Дубравин с полчаса добросовестно излагает им содержание работы Ленина В.И. «Развитие капитализма в России». Потом толкует о том, как «верхи не могут управлять по-старому, а низы не хотят жить по-старому».

Но, в очередной раз заглянув в их глаза, соображает, что никогда в жизни девчонки этого не поймут, а самое главное – им это и не надо понимать. Машет рукой и смывается.

Историю Шурка любит всей душой. Как говорится, его медом не корми, а только дай порассуждать о войнах и императорах, о Римской республике и греческих городах-государствах. Он постоянно влюбляется в героев начиная от Александра Македонского, спартанцев и заканчивая Наполеоном и генералом Корниловым. Но при этом он не любит все, что связано с годами советской власти. И сколько ни вдалбливали ему учителя

и учебники, что в России и даже в мире настоящая жизнь началась после ВОСР (так он пренебрежительно именуется Октябрьскую революцию), Шурка так и не осознает величия этого события. Все, что было после семнадцатого года, кажется ему серым, пресным, тоскливым. Как будто он смотрел яркий, полный красок цветной фильм, и вдруг его прервали на самом интересном месте. А затем механик зарядил в аппарат старинную, пыльную черно-белую ленту. И пошла волынка.

Даже в фильме «Чапаев» ему больше нравятся белые, чем красные. Он с восторгом смотрит на атаку полка каппелевцев, на их мундиры, стройные ряды и тихо презирает и патлатую Аньку-пулеметчицу, и комиссара Фурманова. Красное войско кажется ему сущим сбродом.

Отличалось от общепринятого и его отношение к литературным героям. «Войну и мир» он пытался читать аж в пятом классе. Но заскучал. Выбирал то, что нравилось. А нравились ему тогда битвы, походы, гусары. Но и битвы в этой книге описывались как-то странно.

В восьмом он ни с того ни с сего выделил из всех такого, казалось бы, несимпатичного героя, как Борис Друбецкой. Ему было по душе, что Борис ходил всегда в лучшем мундире и весь такой аккуратный, светский человек.

Потом он стал обожать Андрея Болконского. Вот родственная душа. Но зато в упор и по сей день не воспринимает Пьера. Тот кажется ему вовсе не героем и не примером, а никчемным человеком, игрушкой в чужих руках. «Не способен выстроить свою жизнь. Тряпка какая-то», – думал о нем Дубравин и торопливо пролистывал те страницы романа, где рассказывается о духовных исканиях Безухова. Надо заметить, что и красавица Элен занимала его воображение намного больше, чем «предательница» Наташа Ростова.

Преподавателем русского языка и литературы у них в классе жена директора целинного совхоза. Видная, приятная во всех отношениях женщина. Приехала она с Украины и всем полюбилась. Смешалась когда-то русская северная кровь с горячей татарской. Получилось: волосы густые иссиня-черные, а кожа ослепительно белая. И огромные черные очи. Настоящая восточная красавица, какими воспели их Омар Хайям и Низами.

Немудрено, что и Шурка в нее влюбился. Ну и, соответственно, хотел отличиться. Показать себя. Поэтому свои личные соображения о героях «Войны и мира» как-то высказал в сочинении.

И что тут было! Красавица-то она красавица, но закончила советский пединститут. А потому свято верила, что «Катерина – луч света в темном царстве», «Печорин – лишний человек», а «Пьер Безухов – прототип

декабриста».

Так мало того, что в четверти Шурке вывели пару по литературе, его еще долго донимал директор школы: «Как ты мог, Дубравин? А еще собирался историей заниматься!»

В общем, влюбленность Шурика в черноокую учительницу куда-то пропала. И, когда ныне на выпускном одной из тем сочинений стали образы героев «Войны и мира», а другой – «Твой современник», Шурка не стал умствовать, а просто описал жизнь «знатного комбайнера, орденоносца Василия Скрипки – моего современника».

И без всяких фокусов получил свою законную пятерку.

Самое сложное – понять человека. А в эту горячую пору экзаменов бывает трудно понять не только учителей, но и близких. Шурка к экзаменам относится без фанатизма. Он уже сообразил, что учителя их давить не будут. У них тоже конец года, выпускной класс. Время собирать камни, так сказать. Директору хочется, чтобы школа выглядела в районе хорошо. И медалисты нужны, и процент успеваемости соответствующий.

Но вот ученики... Некоторые даже человеческий облик потеряли. Зубрят. Зубрят. Подойдешь, спросишь что-нибудь. Буркнут в ответ. А по глазам видно: где-то там, далеко.

Сегодня в воздухе разлита тревога. Никто не знает, откуда она появилась. Но каждый физически чувствует. Шурка старается не поддаваться общему настроению. И когда Андрей Франк с дрожью в голосе ему в очередной раз говорит, что Феодал сегодня чудит, он думает: «Чудит-то чудит, но собирается ли он выполнять обещание? Сдержит ли слово? Должен!». И поэтому смело заходит на экзамен с очередной группой дрожащих одноклассников.

Кабинет истории тот и не тот. На стенах, как обычно, висят карты и картины, изображающие сцены из древней истории. Особенно бросается в глаза одна, полная правды жизни и динамики. На ней толпа носатых и волосатых возбужденных людей в звериных шкурах забивает до смерти дубинами и камнями свалившегося в яму мамонта.

Каждый раз, когда видит эту картину, он мысленно представляет себя и своих друзей на месте охотников. «Вот этот, с огромным сучковатым дрыном, – точно я. А вот тот, поменьше, с камнем в заголке и бородатый, ну точь-в-точь Толька Казаков...»

Но сегодня ему фантазировать некогда. Посреди кабинета стоит накрытый красной тканью, как эшафот, громадный стол. На нем батарея минеральной воды «Нарзан» с голубыми этикетками. А за ними сидит комиссия в полном составе.

В центре блестит вспотевшей лысиной сам Феодал. Слева от него – маленький, черный, как жук, усатый завуч Ибрагим Махмудович. Справа – физрук, стриженный бобриком тип с длинной лошадиной физиономией.

Вся «святая троица» страдает от жары. Потеет и пьет нарзан из граненых стаканов.

– А, Александр Алексеевич пожаловали! – увидев его, говорит, хитро улыбаясь, директор. И вытирает лысину платочком.

Шурка аж опешивает от такого вежливого обращения. Не ожидал. Даже теряется.

– Берите билет! – директор широким жестом указывает на красное сукно, где ровными рядами лежат билеты.

Шурке достается та самая Февральская буржуазная революция. Он обрадованно читает вслух вопрос и идет к парте. Но директор вдруг останавливает его движение.

– Дубравин, откройте, пожалуйста, окно!

Это «пожалуйста» звучит точно гром среди ясного неба. «Какого черта он так? Может, действительно какую-то пакость задумал?»

Он долго возится с окном. Но рама, видимо, разбухла от влаги, покорежилась. И поэтому никак не поддается. Приходится идти в каморку завхоза, брать там долото. И только с его помощью, приподняв раму, удалось открыть. Пока ходил туда-сюда, разнервничался.

Отвечать начинает срывающимся голосом. Но потом вроде успокаивается. И про низы сказал. И про верхи. В общем, бойко замолотил. Как надо! Комиссия сначала молча переглядывается между собой, потом, склонившись, начинает шептаться. Наконец директор снова принимает вертикальное положение за столом, произносит со вздохом:

– А расскажи нам об Октябрьской революции.

«Вот она, пакость! – мелькает у Шурки в голове. – Ну, Феодал. Ну, гад». Но вслух он, конечно, ничего не говорит. И даже более того, бойко переходит к апрельским тезисам, а от них уже к перерастанию буржуазной революции в социалистическую. Даже изображает на доске схему движения революционных отрядов к Зимнему дворцу.

Но историка сегодня точно куда-то несет. Он действительно чудит. Вместо того чтобы поставить оценку ученику и отпустить, Александр Дмитриевич Тобилов произносит:

– Дубравин, что вы все знаете, я не сомневаюсь ни минуты. На уроках мы с вами все это проходили. А что вы по правде думаете об Октябрьской революции?

– То и думаю! – буркает Шурка.

– Хм, а я считал, что вы имеете свою точку зрения, – продолжает подначивать его Феодал.

– Имею!

– А нам не скажете?

Шурка чувствует, как нарастает внутри него глухое раздражение: «И чего ему надо? Какая вожжа ему под хвост попала? Никого никогда моя точка зрения не интересовала». Он несколько раз на уроках пытался высказаться, но Феодал его всегда останавливал. Или обрывал. Он словно объяснял ему, пытаясь научить: держи свои мысли при себе. А тут ни с того ни с сего начал пытаться. «Может, это ловушка?» – думает Шурка. Но гордость его возмущена, и он начинает говорить. Сначала как бы нехотя, напрягаясь, а потом все более свободно:

– ...Сам Владимир Ильич Ленин назвал октябрьские события никакой не революцией. Просто переворотом. И «Аврора» стреляла не боевым, а холостым патроном... Не было и никакого штурма Зимнего дворца, как это показывают в кино... Так что отсюда можно делать определенные выводы... Много дорисовано потом...

– Так! – директор аккуратно записывает что-то в своем маленьком блокноте.

– Что он такое говорит?! – угрожающе шевелит усами Ибрагим Махмудович. – За это ему аттестата нужно не выдавать.

– Да правду он говорит! – сверкает глазами Феодал. – Правду! И поставим мы ему за это большую пятерку!

Он смотрит на Шурку, и Дубравин видит в его глазах странное, с хитринкой удовлетворение. «Значит, он все это давным-давно знает. Про то, что в учебнике вранье. И думает точно так же, как я, что никакой ВОСР не было. Но вынужден приходить и рассказывать нам эту брехню. И самому ему тошно. Вот оно в чем дело!»

– Да как же так? Как же так, Александр Дмитриевич? – не унимается и квохчет завуч. – Ведь это же дело такое. Вдруг он где-нибудь на вступительных экзаменах подобное заявит? За это спросят. Чему учили? Ведь это диссидентщина какая-то...

Директор улыбается, подмигивает Шурке:

– Он не скажет. Он умный! В общем, мы тут посоветовались, – добавляет он, – и я решил! Пять с плюсом. Поздравляю. Можешь идти.

– Спасибо! – молвит Шурка и идет к двери, провожаемый восхищенными взглядами сидящих и корпящих за столом одноклассников. Он ошеломлен своим открытием. Но когда выходит в коридор и его обступают толпящиеся за дверью, настроение меняется. Чувствует, что

делиться открытием не надо.

– Ну как? – терзают его. – Какой вопрос?

– Молоток, Саня!

– Дополнительные вопросы были?

– Не! – гордо отвечает он. – Поставили пять без всяких заморочек!

– Везет тебе! – вздыхает, как паровоз, Зинка Косорукова. – А он билет обратно на стол положил или отложил в сторону? – допытывается она.

Но в этот момент открывается дверь, и из класса вылетает, как из парной, красный, но радостный Колька Рябухин. Рой оставляет Дубравина и, гудя, подкатывается к нему. Выдыхают трудно:

– Ну что?

– Ура! Трояк! – вопит Колька.

До самого обеда Шурка сидит в коридоре, консультирует и обсуждает подробности экзамена. Разные мысли бродят у него в голове. Ох, разные.

Последней с экзамена выходит бледная, как смерть, но живая Зинаида Косорукова. В руке она судорожно зажимает пачку билетов:

– Ну, гад Феодал! Ну, гад! Все не по теме спрашивает!

«Бедная Зинка. Или бедный Тобиков? – думает Шурка. – Кому из них сочувствовать? Тому, кто учил вранье, или тому, кто учит вранью? Вот вопрос, достойный своего решения».

* * *

Парни покидают школу отдельной группой. Какое-то внутреннее томление, напряжение владеет всеми и требует разрядки. Что-то важное заканчивается в их жизни. И они никак не могут понять, радоваться им или грустить. Андрей Франк предлагает:

– Айда сфоткаемся на память!

И все дружною толпою идут за школу на спортплощадку. На ходу разговаривают об экзаменах, об оценках.

– Отцы! – останавливает всех Толик Казаков. – Что вы все долдоните: экзамены, экзамены! Никак не поймете, что все кончилось. Школа кончилась. Что мы свободные люди. Люди свободного племени!

И вдруг он от прилива радости кидается бежать по аллее и орать дурным голосом. Все бросаются за ним дружною толпою. Повисают друг на друге, обнимаются, целуются и так же, как он, орут во все счастливые глотки:

– Свобода!

– Свобода!

– Свобода!

– Ура!!!

Потом пускаются в какую-то дикую пляску по кругу, чтобы в ней выразить эту неожиданную и такую долгожданную радость...

В общем, прорывает.

А Андрюха Франк, не останавливаясь ни на минуту, счастливо улыбаясь, все бежит вокруг и щелкает, щелкает затвором фотоаппарата...

XXIV

*Поутру пойдем в виноградники, посмотрим,
распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли
почки, расцвели ли гранатовые яблоки; там я
окажу ласки мои тебе.*

Песнь песней Соломона. Гл. 7

Закат заалел. Лучи заходящего солнца огненным вихрем отражаются в высоких окнах школы. И от этого кажется, будто вся она пылает изнутри огнем. Но чуть только начинает темнеть, солнечный пожар в окнах затухает. А школа снова светится изнутри мягким домашним светом.

В сумерках на этот свет парами, группами и поодиночке подтягиваются люди. Это выпускники и их родители. Все принаряженные, гордые и чрезвычайно важные.

Выпускники держатся особо. Девочки в белых, розовых, светло-голубых платьях самых разнообразных фасонов, но все в белых туфельках. Юные взволнованные лица, блестящие глаза, горящие румянцем щеки – просто невесты-куколки. А парни будут посолиднее. Взрослые костюмы с галстуками, завязанными единственным на весь класс умельцем. Белые рубашки, черные ботинки.

У Шурки Дубравина тоже облегает широченные плечи добротный синий пиджак. А кожу приятно холодит впервые надетая ослепительно белая нейлоновая рубашка. И вообще весь он сегодня, как сказала бы бабушка, ну просто из коробочки. Новенький, чистенький, свеженький. От белого в клетку носового платка до шнурков на ботинках. Не отстают от него Андрей, Толик и Амантай. Все тщательно отутюженные, молчаливо-торжественные.

Перед тем как идти на выпускной, заскочили к Шурке домой. Причастились янтарно-красным домашним винцом. А то про выпускной разные слухи ходят. Говорят даже, какой ужас, что Тобиков запретил выставлять на столы заманчивые бутылки с разноцветными этикетками. И норму установил смехотворную. По полбутылки шампанского на человека. А таким, например, как Колька Рябуха, это только слегка освежиться. А хочется-то быть веселым.

И если все выпускники чем-то неуловимым похожи друг на друга, то

отцы и матери как бы разделены на два лагеря. Те, кто работает в поле, на фермах. И так называемые в народе конторские – учетчики, бухгалтеры, экономисты. Конторские более естественны. Их пиджаки, шифоновые кофточки, лакированные туфли на высоких каблуках никого не смущают. А вот шоферы, чабаны, трактористы, доярки выглядят слегка комично. Загорелые дочерна лица, тяжелые, раздавленные работой руки с вьевшимся в ладони мазутом, обломанными ногтями как-то не слишком гармонируют с белыми рубашками, шляпами отцов и новыми кофтами матерей.

Шуркины родители – тоже не исключение. Мария достала из комода синее плотное с блестками платье с ослепительно белым воротником. На плечах ее горит расшитый золотом черный павловский платок. Вместо всегдашних выдавших виды остроносых галош на ногах босоножки, пусть не на высоком, но все-таки каблуке. На руке кольцо и даже золотые часики, даренные ей когда-то родным государством. Черные глаза ее сегодня живые, веселые, счастливые.

А длинный Алексей в шляпе. И этим все сказано.

У школы родители церемонно здороваются, приподнимая шляпы и протягивая друг другу не гнущиеся от работы и мозолей ладони.

Да, сегодня все необычно. И в школе тоже. Ребята переступают через порог родного класса и останавливаются в изумлении: «Ба, да это прямо ресторан “Голубой Дунай”!» Везде цветы: алые розы, белые холодноватые каллы, ромашки, васильки. Аж в глазах рябит. Столы, исписанные, изрезанные поколениями школяров, тоже принарядились. Закрыли свои боевые шрамы и любовные надписи белыми скатертями. А на них... Сразу даже слюнки потекли... Одно слово: лучшая рыба – это колбаса.

Но прочь отсюда. Уже шумит, галдит разношерстная толпа в актовом зале. Там начинается официальная церемония.

На сцену вылезает хромающий директор, усатый завуч и две толстые тетки – члены родительского комитета.

Народ затихает.

Директор школы, торжественно блестя лысиной, церемонно надевает очки и достает из кармана белые листы с речью. Написана она лет десять тому назад одним умельцем. Тобиков ее к каждому следующему выпускному подновляет, вставляет свежие цитаты, имена. И звучит она, надо сказать, неплохо. Особенно в части, где говорится, что у всех выпускников большое будущее, что учителя сейчас отрывают от себя кусок сердца, ну и, конечно, про то, как партия обо всех нас заботится. Не ест, не спит, только и думает, как облагодетельствовать народ. Юноши в

середине его речи начинают было ерничать, острить меж собою. А потом и, правда, проникаются. А как тут не проникнуться, если некоторые матери начинают сморкаться в платки и прикладывают их к глазам. Вот она, великая сила слова!

Особенно грустится им, когда на сцену поднимается маленькая, но торжественная Александра Михайловна. Она сильно волнуется, так что ее напряженный голос проникает в самые дальние уголки зала и в самые тупые сердца. А когда она называет их лучшим в своей жизни классом, то неожиданно плачет. Увидеть ее плачущей никому никогда не доводилось. Дорогого стоит. Так что выпускники запомнят эти слезы.

Стали вручать аттестаты. Сначала Витька Тобиков – весь чистенький, беленький, пухлогубый, ни дать ни взять молодой Ульянов-Ленин – выскочил попрыгунчиком на сцену. Получать золотую медаль. Взял трепетно. Расцеловался со взволнованным папашкой. Потом стали раздавать «путевки в жизнь» остальным. Досталось вроде всем.

...Шурка берет свой синий билет и долго разглядывает подписи учителей, удостоверяющие, что десятилетний курс страданий и побед он прошел и теперь готов идти верной дорогой дальше.

Однако нерадостно у него на душе. И смотрит он в свою синюю книгу, а видит незнамо что. Ибо сегодня последний день, когда он может вот так запросто видеть Галинку Озерову. Действительно. В школу они ходить больше не будут. На танцах встречаться некогда. Впереди вступительные экзамены. Надо готовиться. В общем, куда ни кинь, всюду блин... А там и разъезжаться пора. А вот от этой мысли у него все внутри холодеет и переворачивается. Как будто нет там теплого живого сердца и кишок, а есть одна тупая боль и пустота.

После «раздачи слонов» все дружно переходят в классы: родители с учителями в «А», бывшие школяры – в «Б». Чувствуя близкое расставание, все как-то жмутся друг к другу. Стараются быть подобрее, что ли. Уже не вопится от радости при слове «свобода». Понимают: теперь надо ею как-то распорядиться. А что там у каждого впереди – один Бог знает. Короче, тревожно, братцы-кролики. И каждый гасит эту тревогу как умеет. Кто-то преувеличенно, надрывно радуется аттестату. Кто-то беспрерывно тостует, быстро и неуклонно набирая нужный градус.

Штук шесть девчонок сбились в кучку в углу, обнялись и рыдают, как белуги.

Наши друзья расстарались. Путем долгих и сложных маневров и пересаживаний они вчетвером оказались за одним столом с Галинкой Озеровой, Людмилой Крыловой и зеленоглазой круглолицей русской

красавицей Валюшкой Сибирятко.

Галинка вся в белом. Воплощенная хрупкость и нежность. Ровный, недеревенский загар в начале лета, чуть-чуть телесной губной помады, новая красивая прическа с заколотым в волосах белым цветком. А над всем этим – сияющие, огромные, как озера, глаза. Когда Шурка наконец рассмотрел ее сегодня, у него так защемило сердце, такой наполнилось нежностью... Ну, ни в сказке сказать, ни пером описать.

Людка тоже хороша, но по-другому: как дорогушая кукла. Одета в блестящее золотом платье. Кудри ее вспенились в высокой прическе, грудь налитая, бедра подчеркнуты. Это уже не хрупкая девчонка, как Галинка. И взгляд у нее другой: осмысленный, женский, ищущий. Вот так неожиданно взяла и проступила в один вечер на свет божий вся ее женская природа и красота. Во всей силе. Теперь она ловит внимательные и восхищенные взгляды одноклассников. И млеет от всеобщего внимания. Одно беспокоит. Для полного счастья ей нужен еще один взгляд. Иначе все без толку.

«Зачем же я тогда наряжалась? – думает она. – Для кого старалась? С утра суетилась. Кремы, мази доставала, прическу делала. А он будто ослеп... А ведь я решила сегодня... Плевать на все. Мой он. Отобью. Заберу...»

Кругом молодой народ. Молодая кровь. Играет музыка. Играют гормоны. Веселье набирает обороты. Хор родителей в соседнем классе затягивает: «Ой, мороз, мороз...». То там, то здесь раздается смех и тосты типа: «А вот Мишка Самохин будет профессором. Так выпьем же за профессора...».

Шурка сидит прямо напротив Галинки. На столе, накрытом белой скатертью, помимо еды и бутылок стоит прямо между ними ваза с цветами. Она его раздражает, так как мешает видеть ее глаза.

Никто особо не ест. Так, клюют помаленьку. Главное – разговор. А он за этим столом какой-то нервный, прерываемый взрывами смеха. Толик с Андреем стараются вовсю. Острыят по полной программе.

Шурка решается. Убирает в сторону стоящую прямо перед ним вазу с цветами. Но Людмила, заметив его маневр, как бы дурачась, снова ставит ее на место. Тогда Дубравин снимает цветы со стола вообще и передает их на другой. Садится на свое место. И у этих троих начинается свой разговор глазами.

Уже через секунду он ловит беспокойный, зовущий взгляд Крыловой. И... отводит глаза.

А потом все происходит как тогда. Ах, эти ласковые бесенята! Взгляд в сторону. И он уже не слышит музыки, песен родителей. Не слышит

подтруниваний Толика Казакова над этими песнями.

Поздно. Они уже остались вдвоем.

И зря Людка толкает Галину ногой под столом.

Мрачнеет Андрей Франк и начинает беспрерывно подливать себе вино в стакан.

Ничегошеньки они уже не замечают. Только глаза напротив.

Веселье за столом как-то само собой угасает. Валюшка даже перестает строить глазки Казакову. И тогда он говорит:

– Душно здесь что-то. Душно! А не выйти ли нам на улицу – постоять? – И при этом ловко подает ей руку.

Они дружно встают из-за стола. И гуськом проходят мимо двери класса «А», где самодеятельный хор родителей гремит песней о первой любви.

Выходят в школьную ограду. Стоят, болтают о том о сем. К ним подкатывает Колька Рябуха. Сегодня он фартовый парень. Усики торчат. Кожаная куртка распирает плечи. Вышел покурить. Для форса достает целую пачку, предлагает всем. Открыто. Кто теперь ему чего скажет? Взрослый человек.

Берет сигарету только Андрей. Прикуривает с Рябухой. Но, пару раз затянувшись, затаптывает бычок.

Разговор особо не клеится. Все чего-то будто ждут. И теперь уже Андрей Франк предлагает:

– Пойдем в класс. Там уже, наверное, танцы начинаются. Вон и музыку ставят...

И действительно, из распахнутого окна класса доносятся первые вкрадчивые звуки «Школьного вальса».

Четверо уходят. Трое остаются. Напрасно Людка Крылова награждает их с крыльца огненным взглядом. Напрасно отчаянно машет Шурке Андрей. Он ничего не видит и не слышит.

Колька Рябуха курит, топчется возле них, молчаливых, смотрит, соображает что-то и тоже говорит:

– Ну, я, пожалуй, пойду...

А они, молча, стоят друг против друга. Им столько надо сказать, особенно Шурке, но – пока молчат. Языки проглотили.

Честно говоря, Дубравин и раньше-то был не слишком разговорчивым. А сейчас совсем онемел. Страшно ему. Боится, что наступит завтра и она навсегда исчезнет из его жизни. А как тогда жить? Чем жить-то?

Вот и получается: струсил, не скажешь – будешь остаток жизни себя проклинать за это.

А откроешься – можешь схлопотать по самолюбию такую плюху...

Возьмет, пожмет плечами и ответит: «А я тебя не люблю!» Или еще хуже – дружбу предложит. И все – кирдык тебе, Александр Алексеевич. Хоть в петлю полезай.

Однако задачка ничего себе. Собрался он с духом. И наконец проямлил дрожащим голосом:

– Погода сегодня хорошая! И вечер, наверное, получится хорошим...

Умная девушка всегда поддержит кавалера. Чем может. Взглядом. Улыбкой. Она так и поступила.

Мелькает у него мысль: «А как же Андрей? Не по-товарищески поступаю. Но что делать? Что делать-то? Ведь ничего у них не получается. Не смотрит она на него таким взглядом...».

Он чувствует, что не посмеет. И в то же время какая-то сила словно бы толкает его вперед. Тянет за язык. Дрожащей мокрой рукой он нащупывает во внутреннем кармане пиджака блокнот, в котором последние два месяца записывает мучившие его мысли. Достает его. Поднимает глаза и, глядя прямо в ее огромные зрачки, как будто вместившие его самого и целый мир в придачу, неожиданно выпаливает:

– Знаешь! Я вот тут писал для тебя! Хочу, чтобы ты знала об этом... Возьми, почитай на досуге...

Она еще раз внимательно смотрит на него и неожиданно серьезно отвечает:

– Хорошо! Я обязательно прочту сегодня же.

Кладет голубой блокнот в свою белую сумочку, висящую на ремешке через плечо.

Неожиданно Шурка ужасается тому, что сотворил. Как? Он доверил свои мысли, свою жизнь, свою, можно сказать, судьбу другому человеку. И этот человек сейчас возьмет да уйдет?

Страх толкает его вперед. Страх, который надо срочно прогнать. Что-то сделать. И он, чтобы развеять свое сомнение, говорит с каким-то надрывом в голосе, так, что получается странно и вычурно:

– Пойдем погуляем... под звездами...

И ничего не произошло. Гром небесный не грянул. Молния не поразила его. Более того, она легонько кивнула в ответ. Повернулась. И они тихонько пошли рядом по аллее, заросшей сиренью.

В школе уже вовсю гремит музыка. Аж стекла дрожат. Вдоль главной улицы поселка загораются на столбах фонари. Сладко пахнет отцветающая сирень. В палисадниках возле домов пробуют голос соловьи.

Шурка счастлив. Пытка неопределенностью кончилась. Он осторожно берет ее мягкую, податливую ладонь в свою. От прикосновения легких

теплых пальчиков, от запаха каких-то таинственных духов у него кружится голова и радостно распирает грудь.

Хочется сказать что-то важное. Или заорать на всю Вселенную: «Вот это мы идем вместе!»

Но пока он ищет слова, она чуть улыбается уголками губ и думает о своем, о женском.

Так они и шагают, не понимая толком, куда идут, зачем идут.

Круглая глупая луна ярко льет свой теплый, почти солнечный свет на улицы, сады, реку. Все вокруг дышит тишиной и тайной.

И будто птица счастья незаметно кружится над ними. Только не знает, куда сесть.

– Смотри, какая сегодня луна, спутница влюбленных. Подглядывает за нами! – вдруг с какой-то детской хитринкой в голосе говорит она.

Он радуется, что наконец-то прервано молчание. И еще тому, что она своими словами как бы присоединяет себя и его к великому племени влюбленных, хотя между ними о любви еще не сказано ни слова.

– Да, единственный был их приют. И на него уже высаживались американцы, – хрипя от волнения, подхватывает Дубравин.

Они долго идут рядом. Он чувствует тепло ее плеча. Ему хочется остановиться, обнять ее и целовать, целовать, целовать без конца, чтобы наконец излить на эту тоненькую девочку в белом коротеньком платьице всю неожиданно нахлынувшую, заполнившую душу нежность...

* * *

В памяти Дубравина этот вечер остался какими-то обрывками. Когда начал ни с того ни с сего накрапывать теплый летний дождик, они спрятались в беседке, которая стояла в детском саду. Сидели там обнявшись. Щека к щеке. Очень долго. Но вне времени и пространства.

Где-то в школе играла музыка. Потом умолкла. Но им было все равно. Они говорили. И никак не могли наговориться. Слова при этом не имели ровным счетом никакого значения. Оба прислушивались к интонации. А она еще и к нежности, которая звучала в каждом сказанном им слове.

– Саша! – тихонько спрашивала она его. – Ты всегда смотрел на меня таким взглядом, что мне даже страшно было...

– Почему? – так же шепотом отвечал он.

– Ну, не знаю. Таким холодным, равнодушным. Стеклянным. Мне казалось, что ты меня просто ненавидишь.

– Как голова подсолнуха за солнцем поворачивается, так и моя в классе за тобою вертелась. Я просто не мог на тебя не смотреть. Само собой

выходило. Ну а чтоб ты не догадалась, набычивался...

Так сидели, шептались. Перед утром похолодало. Он накинул ей на плечи свой пиджак. И все удивлялся тому, какая она в нем маленькая. И робко ласкал, целовал ее тоненькие нежные пальчики. А она отвечала на его ласку легким пожатием...

Забрезжило серое утро. Порозовевшая цепочка облаков на востоке поплыла к горе. Они вышли из своего укрытия и направились по сиреневой аллее к притихшей, с темными окнами школе.

Им хочется найти ребят, чтобы вместе с ними встретить рассвет. Увы. У школы никого нет. Они проходят мимо и через чахлый парк с бетонными, белеными козлотурами выходят к трассе, ведущей в город.

Так и двигаются рука об руку. И он, изредка оборачиваясь к ней, видит округлую розовую раковину ее ушка, нежный пух волос. А она только улыбается загадочно в ответ на его немой вопрос: «Что же кроется за этой улыбкой, за огромными, широко распахнутыми к миру глазами?»

Впрочем, он уже ничего не хочет от жизни. Ни о чем не мечтает. Он рядом с нею. И смысл жизни, и ее бессмыслица, и счастье, и несчастье, все загадки бытия и его разгадки заключаются в ней...

* * *

Она ждала объяснения. И она его получила. Непонятно только одно – что с ним делать дальше? Если кто-то думает, что семнадцатилетняя девушка с первого же свидания испытывает те же чувства, что и парень ее возраста, то он глубоко ошибается. В этой наивной, чистой душе еще не пылали женские страсти. Да, льстит самолюбию внимание еще одного поклонника. Но это отнюдь не значит, что благоразумная девушка, забросив все дела, примется страдать. И поэтому, вернувшись домой, Галина Озерова отнюдь не стала лихорадочно листать Шуркин дневник, где вперемешку со стихами были вписаны самые нежные, самые лучшие слова.

Она сначала сняла свое белое выпускное платье. Приняла душ. Потом позавтракала в летней кухне. И только забравшись в кровать, наконец открыла дневник. «Я люблю ее. Она даже не представляет, как я ее люблю!» – прочла она вслух первую фразу.

«А я не представляю, как ее можно не любить. Ведь она самая хорошая, самая лучшая девчонка на свете...»

Она жадно впитывала эти слова, обращенные к ней. В душе ее поднимается – нет, не любовь, она еще не знает, что это такое. Это просто интерес, женское любопытство, какое-то предчувствие чувства. В котором

она не отдает себе отчета.

«В мире властвует любовь. Только она имеет право на жизнь. Из поколения в поколение люди передают ее как эстафетную палочку. Мужчина любит женщину. Потом они любят своих детей, внуков. И эта вечная эстафета любви – самое важное дело на Земле. А от ненависти, равнодушия ничего не родится. Я нашел ее, свою половину...»

Она останавливает чтение дневника. Снова представляет Дубравина. Удивляется тому, какие слова пишет он здесь, и тому виду резкости, силы, холодности, который он представляет из себя внешне.

«А я? Что я могу сказать в ответ? Не знаю! Еще не знаю. Для любви, наверное, нужны годы. А впрочем, мне так хорошо, так тепло с ним вместе... Что же еще? Пусть все будет, как будет. Он ждет ответа. Что сказать? Скажу правду. Я еще ничего не знаю. Все еще впереди. Надо учиться. Потом уже подумаю обо всем этом».

Так ничего и не решив, она дочитывает дневник. Кладет его под подушку. И, полная самых противоречивых, но все равно приятных мыслей, засыпает крепким молодым сном.

* * *

Последнюю неделю он живет от свиданья до свиданья. День делится на две части. Первая половина – ожидание счастья. Вторая – встреча. Счастье. Он просыпается. Внимательно смотрит на окружающий мир. Думает о чем-то. Но как-то отстраненно. Словно бы все, что происходит вокруг, его не касается. А потом ждет. Сейчас кольнет сердце радостью: «Мы же вместе».

Тогда, после выпускного, друзья окружили его холодным молчанием. Дело было так.

Отоспавшись, Дубравин направился к Толику Казакову. Чтобы обсудить вчерашний праздник, подумать о дальнейших делах. Он застал Казакова усердно копающим грядки в огороде. Склонившись в три погибели, Толик так налегал на лопату, что земля летела из-под острого блестящего лезвия. Обычно, завидев Шурку, Казаков радостно махал ему рукой. Или свистел дружески. В тот раз он молча, исподлобья глянул на него и без всяких слов и жестов, насупившись, еще более усердно принялся копать.

Дубравин без слов и объяснений понял друга. Не дойдя несколько шагов до калитки, он круто развернулся и гордо зашагал прочь.

«Они считают меня изменщиком, – точила его мысль. – Ради девчонки оторвался от компании. Увел ту, в которую влюблен твой друг. Но ведь с Андреем у них ничего не получается! Они не хотят понять, что и я, и она

имеем право любить. Имеем право встречаться. Ну и хорошо, проживу без вас. Не нужен мне никто, кроме нее!»

Но на душе у него было очень погано.

Через пару дней такой жизни к нему заглянул Галкин брат, Володя Озеров. Он осторожно зашел в Шуркину комнату, где когда-то его принимали в компанию. Присел на краешек кресла. Вежливо полистал книжку о Наполеоне. Вообще был какой-то «примороженный».

Шурка обиняками попытался было узнать у него, что думают о происшедшем его друзья. Но Володя так уходил от намеков, так неискусно хитрил с ним, старался не сделать Дубравину больно, что он понял: хорошего ждать нечего.

«Наверное, решили меня бойкотировать, не хотят ничего понимать. Вычеркнули из нашей дружбы. Откуда им знать, что это чувство сильнее меня?!»

Визит так и не закончился откровенным разговором. Хотя и отозвался в его душе болью. Он видел, что у Вовули тоже тяжело на душе. Трудно видеть, как расходятся близкие друзья. И помочь нечем.

Но и это не было главным сегодня. Грозная реальность жизни подступала все ближе. В любой день Галинка могла уехать в Усть-Каменогорск поступать в художественное училище. Она уже отправила свои работы на комиссию. Ждала только вызова на экзамены.

Поэтому их хрупкое счастье каждый раз, когда он спешил на свидание к заветному дубу, было под вопросом.

«Придет или нет? Уже уехала? Или осталась?» – так и гадал он, стоя на мостике над ленивой речкой.

В тот выпускной вечер в последнюю минуту он таки ухитрился поцеловать ее. А потом всю неделю вспоминал этот поцелуй. Жил с ним, ощущал его постоянно.

А дело было так. Шел легкий летний дождь. Она сломала мокрую ветку цветущей белой акации, росшей перед ее домом, и стала дразнить его. Брызнула с ветки водой. Он стал отнимать ветку, она спрятала ее за спину. Шурка потянулся, желая все же выхватить, и получилось так, что обнял Галину за плечи. Прижал к себе. Близко-близко...

И вдруг своей грудью почувствовал, как у нее быстро-быстро, будто у зайца на бегу, бьется сердце.

Она отодвинулась. Улыбнулась смущенно и чуть вызывающе, заглянула в его глаза. А потом попыталась загородиться от него цветами.

Куда там! От такого медведя загородишься! Шурка наклонился к цветам.

Широко открытые ждущие зрачки приблизились. И, уже не сознавая что делает, он коснулся губами ее мягких, теплых губ.

И губы не ушли. Не оттолкнулись. Они чуть заметно пошевелились. Отвечая.

Глухо застучало в висках. Закружилась голова. Все поплыло перед глазами...

Приятно вспоминать. Но сегодня – не вчера. Он ждет. Под мостом лениво проплывают утки. Так же лениво плывут минуты. Вот стрелка преодолела заветную цифру. А ее все нет и нет...

Он топчется в нетерпении. Ходит по мостику туда-сюда. Начинает даже молиться: «Господи, сделай так, чтобы она не уехала!».

И – о чудо! – замечает наконец ее белые туфельки, мелькающие на лесной тропинке. Секунда. И она появляется из-за поворота. Тоненькая и прямая, как березка.

Заметив его, стоящего на мостике, она прибавляет шагу. Еще мгновение, и, задыхаясь от радости, он обнимает ее.

А она вздыхает, поднимает руки, утыкается ему в грудь и обнимает вечным женским движением за шею.

В лицо дышат сладким ее мягкие, пушистые волосы.

* * *

Сегодня ее нет. Мир стал пустым, серым и ненужным. Шурка сидит дома в своей комнате и чувствует, как весь этот глупый огромный земной шар уходит у него из-под ног. Проваливается в какую-то пустоту. И он падает, падает в бездонную вечную ночь космоса.

Как ни крути, а смысла жить без нее нету. Но жить как-то надо. Хотя бы ради будущей встречи.

Ему тоже скоро уезжать. Дождаться вызова из Севастопольского военно-морского училища. И в дорогу. К новой жизни. А значит, расставаться со старой. Куда-то пристроить теперь уже ненужные, тяжелые разборные гантели, боксерские перчатки, дневник их команды, казну, общие книги.

Все это придется передать молодым из нашего «Лотоса». А что делать с остальным? Магнитофон, горные ботинки, рюкзак. Курсанту они не нужны. Он на казенном содержании... Как там описывал жизнь курсанта военком, когда мы были на медкомиссии? Рай, истинный рай... «Одет, обут с ног до головы, да еще деньги дают... За обедом селедочка для возбуждения аппетита... Полдник – чай с печеньем... Перед сном – кефирчик... Вот это и есть счастье по-военному...»

За воротами раздается нетерпеливый свист. Мысли обрываются. «Неужели ребята?»

Торопливо собирается. Вышагивает из калитки. Видит: возле крашенных зеленых ворот его дома кружится патлатый гитарист Леля в своих неизменных необъятных клешах. А рядом прохаживается, нервно пощупывая свои знаменитые усики, Колька Рябухин.

Здороваются, как положено. С почтением. Двумя руками.

– Какими ветрами, уважаемые? – спрашивает Дубравин. – Ты ж, Колька, в сельхозтехникум, на «горку» хотел поступать. Там уже и экзамены начались. Старики твои говорили...

– Да ну их на хрен! – машет рукой Колька. – Отдохнуть надо. В школе десять лет мантулил, мучился. Да тут еще четыре года. Лучше пойду шоферить.

– Хозяин – барин. Че прискакали-то, отцы? Взволнованные какие-то...

– Да, да, де-де-ло есть! – дергая от напряжения шеей, вступает в разговор Леля. – Во-во-вку Лумпика, он-н сейчас ка-каменщиком папашет, вчера че-че-ны замочили...

– Как «замочили»?

– А так, – напористо перебивает Рябухин, – попинали. – Он на втором отделении подсобником у наших каменщиков вкалывает. А там пару дней назад бригада шабашников из Кегеня, из-под Алма-Аты, подрядилась. Молодые, но борзые. Он ходил мимо них в магазин. Они к нему и пристебались. Слово за слово. Бригадир ихний на него кинулся. Потом еще двое подскочили. Навалили...

Леля оттопырил нижнюю губу, напрягся и вклинился в Колькин рассказ:

– Де-де-деньги да-давай, говорят, с-с-суки!

– А сам Вовка-то где?

– Он там, на бараке с ребятами. Собирается!

Вообще-то Вовка Лумпик, добрый, белый, рыхлый парнишка из барака, принадлежал к компании Островкова. Той, в которой когда-то верховодил сам Дубравин. А потом передрался с ними. И ушел. Поэтому, в принципе, он мог сослаться на занятость или еще на что-нибудь и не участвовать в разборках. Но закон гласит: «Если пришли чужие, обиды забывай, своих не бросай, помогай». Кроме того, после отъезда Галинки и охлаждения с друзьями Шурке было страшно одиноко. Он привык быть среди людей. Куда-то двигаться вместе со всеми. Поэтому только спросил у Рябухина:

– И сколько их там, шабашников этих?

– Точно не знаю. Ну, рыл семь-восемь, наверное...

– Так. Нас трое. Вовка четвертый. Но он не боец. А где барачные-то? Братья Островковы, Валька?

– Хрен их знает! Лето. Все разъехались кто куда, разбрелись.

– А где встречаемся?

– У дороги, что ведет на второе отделение.

«Эх, хорошо бы сейчас сюда наших ребят: Амантая, Тольку, Андрея, Вовика. Ладно. К ним дорога заказана. Обойдемся как-нибудь...»

– Счас обуюсь пойду. И догоню вас, – сказал Шурка вслед удаляющимся в сторону обсаженной деревьями асфальтированной дороги гонцам.

Когда он подошел к автобусной остановке, там, у дороги под тополем, кроме Рябухи и Лели уже сидели на корточках Вовка Лумпик, Комарик и Коська Шарф.

Шурка иронически осмотрел это разношерстное воинство. Вовка Лумпик, тихий смирный парнишка, без особого возмущения, только виновато моргая ласковыми телячьими глазами да шмыгая курносым носом, рассказывал о стычке. Он уже и не рад был, что поднялась такая буча. Парни выражали готовность постоять за него.

Вовка после школы, которую он закончил в прошлом году, учился в сельском профтехучилище на пасечника. Дело это ему страшно нравилось. Лес, степь, цветы, травы, пчелы, мед. Но черт его попутал... Вернее, не черт, а старший пасечник с совхозной пасеки, куда он устроился прошлым летом. Посоветовал. Мол, чтобы нам план по меду выполнить досрочно, надо подкормить пчел. И поставили они неподалеку от ульев деревянное корыто с разведенным сахаром. План по меду, конечно, выполнили. Да и все бы обошлось, если бы их мед не попал в столовую обкома партии. Тамошний заведующий производством сразу все понял про их мед. Короче, коли не по Сеньке шапка, то дают Сеньке по шапке.

Старший пасечник-то отмазался медом. Кому надо дал. И свалил все на Вовку: «Не знаю, мол. В отъезде был. Его оставлял за себя».

Вовку с пасеки поперли взащей. И пришлось ему, бедолаге, идти в совхоз подсобным рабочим. На стройке, как водится, каменщики дядя Вася и дядя Петя его припрягли. Стали гонять в магазин за водкой. Вот, когда он в обед шел за пузыриком, его шабашники и остановили.

На память об этой встрече у него остался роскошный, цвета спелой сливы синяк да разбитый локоть.

В конце своего рассказа Вовка ни с того ни с сего для окружающих, но совершенно логично по ходу своих невеселых мыслей произнес, глядя в землю:

– А может, не поедем разбираться, а? Ну их на фиг. Боюсь я их. Вдруг они меня потом снова перестрянут? И что будет?

– Ты че, с ума сошел? Ну, не поедем. Завтра они еще кого-нибудь из наших отметелят. Тебя или меня! – возмущенно растопырился и зачастил ему в ответ Комарик. – Так оставлять нельзя. Падлы они! Втроем на одного.

Не зря Толик Сасин получил свое прозвище. Хоть и мелкий, но едкий и задиристый он был с детских лет. Его конопатая, как сорочье яйцо, мордочка выныривала всегда, где возникали разборки. Он уже давно начал капитально квасить. А в подпитии всегда лез драться к мужикам, которые весят больше него как минимум раза в два. Сейчас он живо достал кожаный солдатский ремень с тяжелой медной, остро отточенной по краям бляхой и взмахнул им:

– Ну, держитесь, падлы! Как рубану по черепку! Мало не покажется! Ишь, какие блатные крестьяне объявились! Раньше боялись. Ловим тарантас и поехали на место. Будем разбираться.

– Ох, и не люблю я тех, кто больше меня брешет! – врезался в разговор Коська Шарф. – Ну чего ты размахался? Поедем. Поговорим, предупредим.

Коська – здоровенный, похожий на индейца, черноволосый, загорелый, могучий парень. Один только недостаток у него как у бойца. Лет пять тому назад возился он с самопалом. Заряжал. Сорвался спусковой крючок. И самопал выстрелил ему рублеными гвоздями прямо в живот. Отвезли в больницу, гвозди из брюха у него повыковыривали. Но при этом живот разрезали так, что шрам почти напополам рассек могучее молодое тело, будто человека слепили из двух кусков.

– Короче, мужики, – подвел черту Шурка Дубравин, – надо ехать!

И все почувствовали: он взял командование на себя. И сразу признали в нем вожака. Ясное дело – он, бесспорно, самый сильный среди них. И с детских лет был самым заводным и самым свирепым в драках.

Наконец на дороге показался зеленый бортовой зилот. Шурка поднял руку. Обдав их запахом бензина и пыли, машина резко остановилась рядом. Из кабины высунулось бородатое лицо знакомого водителя со смешной фамилией Тычина.

– Куда такой толпой, хлопцы? – с интересом спросил он, улыбнувшись и показав желтые прокуренные зубы.

– На второе отделение, – за всех ответил Дубравин.

– Тады сидайте. Один у кабину. Другие у кузов. Там е брезент. Прикроетесь от витра...

Парни, не дожидаясь повторного приглашения, соколами взлетели в

кузов. Дубравину по какому-то негласному одобрению досталось место в кабине.

Тычина медленно прикурил, разгоняя редкий дым от беломорины ладонью, и, легко коснувшись широкой потной ладонью рычага, включил первую передачу. зиллок медленно тронулся. На второй передаче Тычина спросил:

– Чего это вы туда подались? Скупнуться у тамошнем озере чи шо?

– Да нет, дядь Володь! – ответил Шурка, разглядывая бегущие по сторонам дороги деревья. – Хотим шабашников мочить.

– А шо так?

– Обижают наших! – охваченный благородным негодованием, сказал Шурка.

– А, значить, драться идете?

– Угу!

– Что ж, це дило гарное! Я помню, у молодости це тоже любив. К нам бойцы из-за речки ходили. У них там воинская часть была. На танцы придуть... И того. Дивчин наших кадрить. Ну и зараза понеслась... Як-то раз сошлись мы прямо на берегу Ульбы. Во было мамаево побоище... я помню, одного как хлопнул в зубы свинчаткой. Так вин у реку – бултых. Чуть не втоп...

Так, рассказывая о былых подвигах, победах и поражениях, и ехали всю дорогу. Шурка, вообще-то, особо не напрягался и планов не строил. Как получится, так получится. Просто поддался общему настроению лихости и удалства.

В кузове не смолкал смех. Это Комарик развлекал всю толпу. Рассказывал, как ходил с другом в общежитие к практиканткам из пединститута. Врал напрапалую, но парни, слушая его, хохотали. Нервничали перед боем. Никто еще не знал, будет драка или нет. Может, шабашников не окажется на месте.

На краю новенького целинного поселка Шурка попросил Тычину остановиться.

Прямо в пустой степи выстроились в ряд десятка полтора домиков. Ни деревьев, ни речки – голое, унылое место. Только антенны телевизоров, на которых сидели приготовившиеся для охоты за полевками хищные птицы, да невысокие одинаковые заборы из штакетника. Плюс вдалеке виднелся зерноток с поднявшимся над равниной бункером и чуть в стороне – строящийся мехдвор.

Туда они и направили свои стопы. А машина, фыркающая и подскакивая на ухабах, укатила дальше.

Недалеко от стройки остановились, стали переминаясь в нерешительности. Одно дело – сорваться с места, доехать. И совсем другое – рвануться с ходу в драку. Заробели ребяташки. Но Дубравин, взяв на себя бремя лидера, видя взгляды окружающих, чувствовал, как несет его вперед какая-то бесшабашная удаля. Парни пытались что-то мямлить, мол, надо остановиться, посоветоваться, но он уже летел вперед, как паровоз, понимая, что так можно сбить наступательный порыв. И решительно осаживал робких:

– А что совещаться-то? Айда на стройплощадку. Побазарим!

И продолжал двигаться к красной кирпичной коробке мехдвора, еще стоящей «без окон, без дверей».

На их удачу или неудачу, это как рассматривать, все шабашники оказались на месте. Это молодые чернявые ребята приблизительно того же возраста, что и наши друзья. Они сидели на сваленных кучей бревнах, обедали. Дубравин вмиг охватил взором всю группу: похоже, все кавказцы. Хотя тоже разные. Эти носатые, черные. А тот вообще рыжий. Надо же! Но здоровые.

Завидев решительную широкоплечую фигуру Дубравина, его нахмуренное, с крепко сжатыми зубами лицо, заметив позади его соратников, «грачи» уставились на него в каком-то оцепенении. Видимо, внезапность этого появления, смелость и быстрое движение группы произвели на них должное впечатление. Через минуту они повскакивали со своих мест и, растерянно оглядываясь по сторонам, встали за своим вожаком. Тем самым рыжеволосым чеченом.

Он один не испугался. Выдвинулся чуть вперед. Встал, широко расставив короткие ноги.

Ваха Сулбанов родился и вырос в Казахстане, еще точнее, в городе Кегене, что под Алма-Атой. В большой многодетной семье нохчей, как чеченцы сами себя называют. Жили неплохо. Большой дом, сад вокруг него. В гараже «Жигули». Отец Вахи, Султан, строго держал семью. У женщин была своя половина в доме. Никто из них при отце и пикнуть не смел. Поговаривали, в соседнем селении у отца была еще одна семья. Но для Вахи это было не важно. С детских лет он чувствовал себя мужчиной.

Отец частенько уезжал из Кегеня на целину. Зарабатывали там неплохо. Договаривался с директорами совхозов. И они закрывали наряды так, как надо. В общем, жили не тужили. Но Ваха по настроению отца, по разговорам родственников-чеченцев, которые часто собирались в доме, чувствовал их какую-то обиду на мир. Все вспоминали Чечню, из которой их когда-то выслали. Погибших родителей. Дома в Гудермесе. И сам Ваха

впитал это чувство обиды за свой народ.

Держались молодые нохчи как-то обособленно от всех остальных. И хотя все они ходили в школу, ни с кем там не дружились. И на улице тоже сколачивались в отдельную стаю.

В прошлом году Ваха закончил школу, но учиться дальше не пошел. Семья решила, что надо помогать отцу. Вместе с другими они создали строительную бригаду. Поработали у себя в Кегене. А нынешним летом махнули сюда, на целину. Благо тут в районе большим начальником был двоюродный дядя Вахи, Руслан Сулбанов. Он и устроил их бригаде хороший подряд на строительство.

Но работа с самого начала как-то не задалась. То кирпич есть – раствора нет. То раствор «бар» – кирпич «джок». В общем, не работа, а так, маета. Все сидели. Точили байки. Злились. Так вот, походя, вчера и прицепились к местному пареньку. Слово за слово. Гордому Вахе показалось, что разговаривал он с ним недостаточно почтительно. Это его заело. Вот и ударил. А тут подскочили Адам с Ахмадом. Тоже стукнули. Ощущение у Вахи осталось неприятное. Получилось, что втроем на одного. Гордиться особенно нечем.

И вот теперь налетели русские.

По правилам надо разбираться. То есть враждующие партии, выстроившись друг против друга, должны выяснить отношения. Возбудиться взаимными обвинениями и оскорблениями. И уже после этого, дойдя до точки кипения, начать драку. Но Дубравин (и откуда только взялось?) понимал: чеченов больше, и рассчитывать надо только на внезапность и натиск.

Поэтому он лишь одну секунду молча смотрел на то, как у переднего низенького, но широкого, «с дуб», коротконового парня со странной для чечена шапкой рыжих волос блестели зубы и отливала кровь с лица. А потом кивком позвал к себе Вовку Лумпика и коротко спросил:

– Этот тебя бил?! – И, не дождавшись ответа, сам не понимая, как все происходит, выкинул вперед правую, сжатую в кулак руку.

Удар пришелся прямо в подбородок. Клацнули зубы. Однако от сильного, неожиданного тычка странный чечен не упал. Он сделал несколько шагов назад на согнутых ногах. А Дубравин в это время, не медля ни секунды, достал левым боковым в челюсть стоявшего рядом длинного носатого парня. Тот, видимо, не ожидал такой прыти и рухнул как подкошенный.

Третий, скуластый, в расстегнутой до пупа рубахе и шляпе с обвисшими полями, нацелился было ему в затылок, но Коська Шарф, зорко

ловивший происходящее, лихим прямым ударом свалил и этого на землю. Только шляпа покатила по песку.

Началась свалка. Шурка бил в чьи-то невесты откуда возникающие перед ним лица. Кто-то сзади колотил его по широкой спине.

Через минуту враги оправились от первого натиска. Они дружно откатились назад, подскочили к лесам, схватили доски и лопаты, которых полно валялось на стройке. Шурка неожиданно обнаружил, что он стоит один, безоружный, перед толпой разъяренных чеченов. Еще миг – и его замолотят кольями, затопчут. Мгновенно подхватил с земли громадное, обтесанное топорами сосновое бревно, на котором до их прихода сидели в рядок шабашники. Поднял это «орудие возмездия» и сам удивился, с какой легкостью оно поддавалось. Выставив вперед более тонкий конец и размахивая им из стороны в сторону, двинулся навстречу вооруженным лопатами и палками врагам. Конечно, ошкуренное бревно – не сабля, но сам его тяжеловесный вид и страшный крик Дубровина подействовали. Шабашники бросились врассыпную в разные стороны.

Шурка пробежал за рыжеволосым с десятков метров. Не догнать. Улепетывает, как заяц. Швырнул вслед ему бревно.

А парни, ринувшись вслед, хватили обломки красного кирпича, куски бетона и швыряли в бегущих. И так гнали их по полю все дальше и дальше.

Шурке пришлось долго кричать, пока вся его армия не вернулась.

Сошлись у крайнего дома. Каждый радостно и возбужденно рассказывал, как бился. Кого свалил. Кого достал. Показывали раны. Коська, тяжело дыша:

– Я смотрю, ты так резко... Секунда – и двое уже готовы. А третий тебя сзади обходил. Целился. Я его сходу прямым в пятак. К-а-ак дал. Он – брык с копыт.

– Сам удивился, как у меня так ловко получилось...

– А я длинному доской по хребту врезал. Он аж крякнул и вот так разогнулся, – радостно размахивал руками Колька Рябуха, показывая, как выгнулся длинный.

– Ого-го!

– Будут знать, как трогать наших... – крутился и жужжал Комарик. – Я тоже...

– Ты как в том анекдоте, – перебил его Коська. – Комар прилетает к комарихе и хвастает: «Там в лесу слона бьют. Я тоже его два раза ногой пнул...»

– Га-га-га!

– Ха-ха-ха!

– Ну т-ты д-даешь. Точно, – бормотал заика Леля.

– Надо уходить, – когда смолк хохот, произнес Шурка, потирая ушибленную руку. – Ни к чему нам тут светиться. Пошли!

И они дружно, радостно переговариваясь на ходу, двинулись кучей к дороге...

* * *

Вечером мать долго возится, наливая ему в тарелку наваристый, красный от помидоров борщ. Шурка ест сосредоточенно, отрешенно глядя в дальний угол кухни. Зачерпнет полную ложку, долго-долго держит ее перед собой на весу и только потом отправляет по назначению.

Мать садится напротив него и, беспокойно перебирая в руках край фартука, неожиданно спрашивает:

– Ты сегодня ездил на второе отделение?!

Дубравин чуть не давится борщом. «И откуда она узнала?» Но быстро берет себя в руки. В конце концов, их дело правое. Вступились за своего парня.

– Ездил! – говорит он с вызовом в голосе. – А что, нельзя?!

– А если бы вы кого-нибудь покалечили? Или, не дай бог, убили? Ты об этом подумал?

Шурка в этот миг вспоминает летящие вслед шабашникам камни и теряется: «Хорошо, хоть не попали, а ведь могли. А если по затылку кирпичом... И вспоминать не хочется...» Но отвечает твердо:

– Ну не убили же! Не покалечили. Они сами нарвались. Вовку Лумпика поколотили.

– Что ж вы, ехали драться и не могли язык за зубами подержать? Меня Тычина встретил и говорит: «Сегодня возил вашего и еще ребят на второе отделение. Бить чеченов». Вы уж если собрались, так делали бы все молчком да сопком. Дали им хорошенько так, чтоб никто не знал. И ходу. А вы расхвастались. А ну как они соберутся со своими да начнут искать вас? Что будет?

– А мы им еще подбавим!

– Эх, сынок. Сиди уж, помалкивай. Почему ты поехал, а, например, братьев Островковых не было? Это ж Лумпика лучшие друзья. Они-то небось умные, не ввязываются. А ты у нас всегда такой. Все тебе справедливость нужна. Нашел себе компанию, Рябуха-бездельник...

И пока она его так пилит, Шуркина радость постепенно превращается в тяжесть, от которой нудно ноет в животе. Даже ноги становятся холодными. И уже кажется, что сделали они не нужное и благородное

дело, а совершили преступление.

Вековечный страх матери начинает передаваться и ему. Он хмурится и откладывает ложку в сторону.

Скрипнула во дворе калитка. Залаял, а затем приветливо заскулил пес.

Приходит отец. Сразу – на кухню. Садится за стол. Бросает фуражку на топчан.

Лицо у него запыленное, усталое, глаза красные. Шурка невольно опускает голову, останавливает взгляд на его руках, которые ходуном ходят по поверхности стола, то цепляя хлебницу, то поднимая нож, то бросая его на клеенку.

– Ну что, доигрались?! У одного из них дядька в районе начальник. Говорит, заявим в милицию, будем искать хулиганов. Так не оставим, посадим...

– Вот горюшко-то! У других дети как дети, а эти... Что Зойка заваялась, что Иван, теперь этот... И за что Господь нас так наказал... – Слезы текут по черным от загара щекам матери. Она старательно вытирает их фартуком, но они текут и текут по лицу. – А ведь могут посадить! Могут...

Весь опыт их тяжелой трудовой жизни, весь опыт их родных и знакомых, многих поколений предков учит, что с государством лучше не связываться. Плохо будет.

Они еще долго допрашивают Шурку. Что да как. Пока окончательно не уясняют для себя, какова была его роль в событиях.

В конце концов, уже поздней ночью, оценив все и действуя по принципу «береженого Бог бережет», решают, что Шурке немедленно нужно уезжать из Жемчужного. Пусть едет к Зойке в Алма-Ату. А там посмотрим.

Он не спит до самого утра. Все ворочается на своем диване: «А как же теперь училище? Как Галка? Что делать в Алма-Ате? Неужели все мечты пропали даром... И из-за чего?»

XXV

Утро. Гигантский желток Солнца еще только-только начинает разогреваться на голубой сковороде небосвода, а на дороге, ведущей в сторону города, уже показываются двое путников с собакой. Они выходят за околицу и быстро топают по асфальту через огромное поле желтоцветущих подсолнечников.

Впереди шагает крупный широкоплечий парень, одетый в парадный,

видимо, выпускной костюм и белую рубашку, но в потрепанных кроссовках и с рюкзаком за плечами. Чуть отстают от него, семенит, поспешает худенький, беленький, лопоухий мальчишка с тонкой шеей, выглядывающей из-под воротничка голубой рубашки. То обгоняя, то отставая, мотается между ними большая серая овчарка. Это Шурка Дубравин, Вовка Озеров и Джуля. Собака, чувствуя скорое расставание, то забегает вперед, преданно заглядывает в глаза Шурке, то вдруг останавливается, смотрит на еле виднеющийся позади поселок.

Парни останавливаются передохнуть, когда крыши домов скрываются за горизонтом.

– Ну, прощай, Володя! – протягивает руку лопаткой Шурка. – Привет нашим передавай. Пусть не обижаются. Это жизнь. Я тоже человек... Гантели, штангу, книги, журнал нашего общества заberi. Я все приготовил. Мать отдаст. Дальше не ходи! Я сам!

Они крепко обнимаются. Вовуля тыкается носом в парадный пиджак, шмыгает. Дубравин отрывается. Опускается на корточки. Чтобы не выдать своего волнения, долго тербит жесткую, густую шерсть Джули. Наконец встает.

И уходит вперед по асфальту. Один.

На душе у него как-то торжественно-печально. Он чувствует, что родное село позади. И может быть, навсегда остался там самый лучший, самый важный кусок его жизни. Он смахивает прозрачную слезинку с ресниц. И прибавляет хода.

Володя долго стоит на дороге, держит собаку за ошейник и смотрит вслед удаляющейся, уменьшающейся фигурке. Легкий, прохладный утренний ветерок шевелит листву на деревьях, а потом вдруг накатывается на поле и громко шуршит жесткими листьями подсолнечника.

Фигурка на шоссе неожиданно оборачивается. Дубравин из невероятного далека, куда он уже ушел за эти три минуты, машет им рукой. Вовуля поднимает ладонь ему в ответ. Пес гулко лает, скребет лапами по асфальту. Но Озеров удерживает собаку и еще долго стоит, ждет, пока Дубравин не исчезает, не растворяется в дымке восходящего солнца.



Часть II

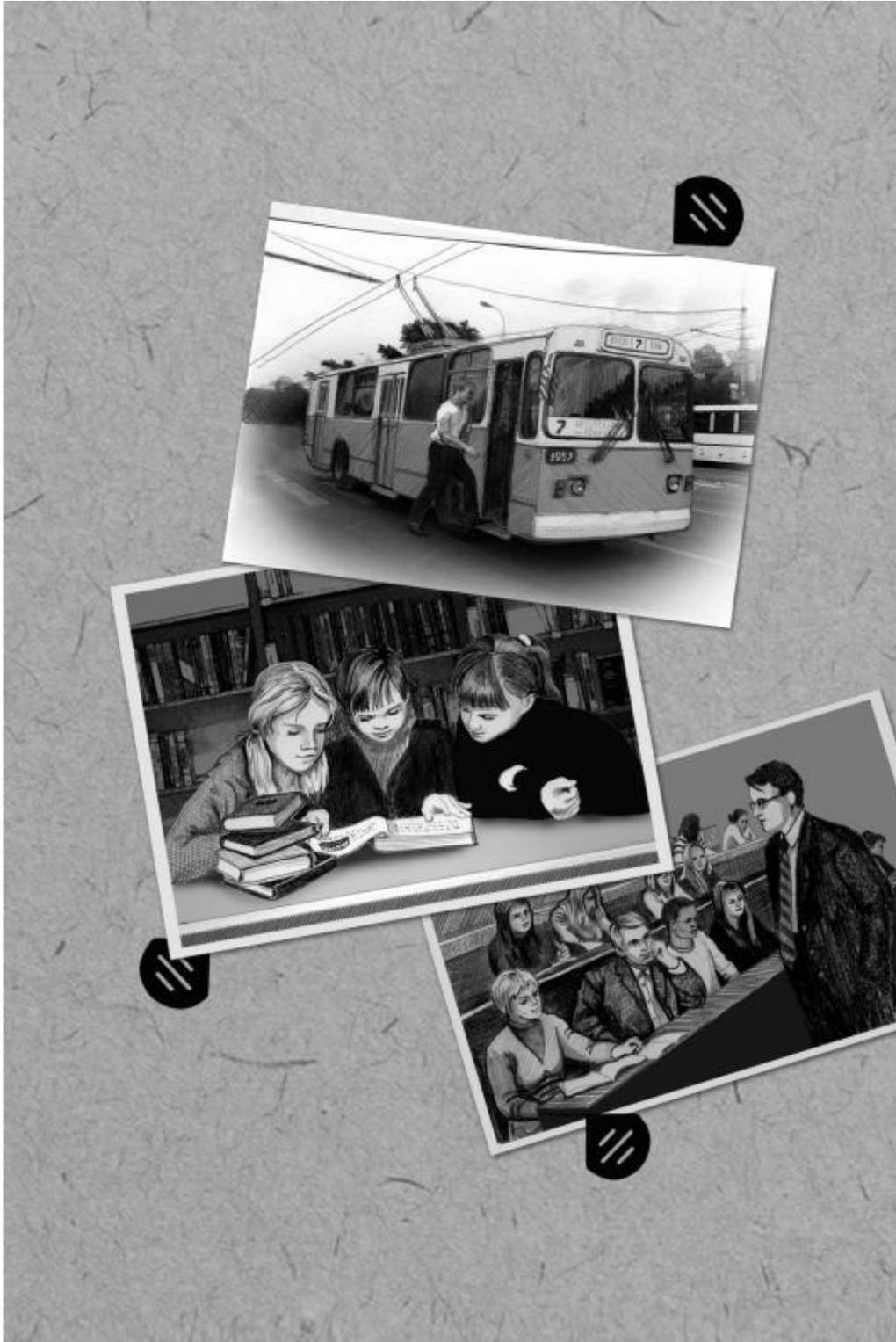
Судьба переселенца

...Начали с кумыса, потом подали чай, а после него – горячий бешбармак, доставлявшийся на конях... Для джигитов-подавальщиков подобрали иноходцев с посеребренными седлами, головы джигитов обвязали белыми шелковыми платками.

Они брали из кухонь блюда с дымящимся мясом и неслись на иноходцах к гостевым юртам, сверкая серебряными украшениями...

М. Ауэзов. Путь Абая





I

Желудь упал на землю. Был он лаковый, тупо-блестящий. И похож на пистолетный патрон. Или маленький зеленый дирижабль.

Долго лежал без толку на земле. Пожелтел.

Приходила дебелая, с грязным пузом свинья. Ела, хрумкая, чавкая. Слюни текли из пасти. Острыми копытцами рвала вокруг землю.

Желудь уцелел. Скатился в ямку, оставленную хавроньей. Черная земля обняла его и дала силу. Лопнула блестящая оболочка, выпустился белый корешок. Ушел вглубь. А с другого бока проклюнулась веточка, и раскрылся зеленый нежный листок. Солнце обогрело и оживило его.

Год прошел. Стало маленькое деревце. В два листочка.

Желудь же усох, превратился в труху.

Началась новая жизнь.

II

Амантай вышел из серой юрты на зеленый горный луг, простирающийся перед нею. Голубой Иссык-Куль далеко внизу бриллиантом переливался под ослепительным солнцем. И белый пароход, за которым тянулся пенный след, казался отсюда игрушечным. Суровые же черные гранитные скалы Ала-Тоо, наоборот, приблизились.

Вчера вечером он не разглядел всей красоты. А сейчас увидел. И задохнулся. «Все прозрачное! Воздух, вода, свет. Как на картине! И белые юрты, как плывущие лебеди на зеленой траве!» – неожиданно для себя поэтично произносит он.

– Амантай-бала! – ласково зовет его вышедший из-за самой большой белой юрты дядя. – Иди умойся и помогай Жакыпу! Сегодня у нас важный день.

Дядя Марат – живое воплощение справедливости эволюции. Прадед его и дед были кривоногими толстяками с вывернутыми наружу жирными губами. Но каждый из них брал в жены первых аульных красавиц. Белокожих пери. Два поколения. И результат налицо. Дядя – высокий, худощавый, с благородной сединой на висках. Одно слово – красавец мужчина-лев. Взгляд его темных с восточным разрезом глаз спокоен и важен.

Агай Марат нравится Амантаю. Не нравится ему другое. То, что дядя приехал сюда «поговорить» с нужными людьми об университете. Школа, книги, отец, друзья учили другому. И хотя перед друзьями Амантай бравировал и хвастался, на самом деле ему было стыдно. Он чувствовал себя униженным. Что, если спросят: «Как ты поступал?» Вот от чего, когда сейчас дядя сказал об этом, все в груди у Амантая напряглось, затопорщилось, уперлось. Не таким он видел свой путь в «начальники». Но дяде перечить не смел. Только искоса глянул и с неохотой пошлепал к Жакыпу. Испортилось настроение.

Дальний родственник секретаря райкома Жакып – плосколицый, медведковатый киргиз – уже ловко раздувал с помощью сапога огромный, пузатый, медно-блестящий, начищенный по торжественному случаю самовар. Синий дымок из прокопченной металлической трубы тянул в сторону юрт. Свежий ветерок разносил запахи кошмы, дымок кизиловых дров, конского навоза.

Молодая жена секретаря райкома уже разожгла огонь под огромным

казаном. В пенящемся, кипящем янтарном масле жарились казахские колобки – золотистые баурсаки.

Самовар запыхтел. Жакып отер рукавом клетчатой рубашки пот с плоского загорелого лица. И пригласил Амантая. Они присели на кошме недалеко от самовара и принялись тянуть сладкий чай со сливками.

Жакып так и надувался от важности. Еще бы! Ему, простому аульному киргизу, сам секретарь райкома доверил обслуживать важных гостей из самой Алма-Аты! Больше того. Казахи всегда ставили себя выше киргизов. А тут ему в помощники дали городского казаха. «Ой, бай! Что творится на белом свете! Надо срочно показать этому тощему с сердитыми глазами, что он, Жакып, здесь главный».

– Будешь помогать мне! Твой дядя сказал. Мы с тобой будем гостям подавать. Надо хорошо услужить. Это дело важное! – произнес он. И уже с облегчением обратился к хозяйке: – Эй, байбише, дай нам баурсаков, пожалуйста. Чайку попьем да и начнем.

Амантай, выросший на севере, не понимал, почему дядя велел ему подавать гостям. Он вообще не просекал всех этих восточных тонкостей обхождения с «большими людьми». И, наверное, долго бы еще оставался в неведении, если б не Жакып.

– Сегодня большой праздник. Той, – толковал он ему, крепкими зубами жуя баурсак. – И испортить его нельзя. Тут любая мелочь важна. Что будет, если ты возьмешь и нальешь ректору полную пиалу чая? Он обидится. И тебя никогда не возьмут в университет. А почему? Потому что уважаемым гостям чаю наливают на донышко пиалы, понемногу, чтобы остывал быстрее. А тем, от кого хотят избавиться, бухают полный стакан. Мол, выпей и уходи... Полотенце для рук подавай с поклоном... Говори почтительно. У нас это главное, а не твои великие знания. Учись, пока Жакып живой...

«Как же так? Неужели все, что он говорит, – правда? Да врет он все. Не может этого быть. А зачем же нас тогда учили в школе? Бред какой-то. Моя судьба зависит не от знаний, а от того, как я умею голову барана разделявать? Это унижительно!»

А праздник тем временем разворачивался во всей красе.

Из гостевой юрты на полянку потянулись приезжие. Рядом с дядей Маратом шел ректор университета Ураз Джолдасбеков. Могучий, толстый. Волосы черные, гладкие, глаза узкие, масляные. Пузо торчит далеко вперед так, что брюки не сходятся. Когда-то он занимался вольной борьбой, поэтому и сейчас ходит, растопырив руки и переваливаясь. Ну, прямо большой пингвин. Особенно в этом черном костюме.

Чуть позади – не так давно избранный мэр Алма-Аты Серик Кунтушбаев. Еще недавно он был комсомольским секретарем, мальчиком на побегушках у сильных мира сего. Люди его типа до самой старости сохраняют молодость. Стройный, гибкий, подвижный, как ртуть, сразу и не поймешь, сколько ему лет. Модные усики, модная кепка с большим козырьком, модный свитер.

Чуть позади – первый секретарь райкома партии – сторона, принимающая гостей. Он единственный одет официально в костюм, впрочем, довольно мятый. На его темном от загара, маленьком, сморщенном, побитом оспой личике застыло выражение подобострастия и неподдельной радости, которую он испытывает от прибытия таких высоких гостей.

Позади них тянулась живописная группа, в которой выделялся длинный, сухой старик с белой тонкой бородкой и в высокой войлочной киргизской шапке с черными узорами. Это знаменитый акын.

Вот все подходят к месту жертвоприношения. Туда же подтягивают на веревке упирающегося, блеющего козленка. Народ смотрит на него и разом поднимает руки к лицу.

– Бисмилля! Благословляем!

Пастух в синем чапане прикивает к козленку, которого крепко держат, достает длинный, блеснувший на солнце, отточенный нож. И круговым движением перерезает козленку горло. Копытца, безнадежно подергиваясь, стучат о землю. Через минуту козленок стихает и обмякает. Кровь его собирается в миску. Она пойдет на угощение.

Медведковатый, кривоногий Жакып берет тушку и торжественно выносит ее на середину лужайки.

Дочерна загорелые, рослые джигиты, стоявшие с лошадьми недалеко от них, садятся на коней. Лужайка становится пестрой от атласных разноцветных рубах и войлочных шапок с витиеватыми узорами.

Сигнал. И начинается скачка. Это кок-пар. По-русски – козлодрание. Десяток джигитов на конях с разных сторон устремляются к козлу. Каждый хочет схватить его прямо с лошади. Толкаются. Задача – поднять тушу с земли, протащить и бросить к ногам дорогих гостей.

Лошади кружатся на месте. Наступают на козла. Его то подхватывают, то роняют оземь. Но все так и задумано в этой игре. Потому что у киргизов и казахов существует поверье. Если мужчина хочет, чтобы у него родился сын, то он должен устроить праздник «той», на котором к столу подадут мясо козла. Во время кок-пара его разомнут. Оно станет мягким, сладким и целебным. Мужчина поест его и зачнет сына.

А что творится с гостями! Они возбуждены игрой. Ревет не своим голосом ректор:

– Давай, давай, тащи его сюда!

При каждом движении понравившегося ему джигита вскакивает с места мэр, громко хлопает в ладоши:

– Ай, молодец! Будет тебе суюнши-подарок!

У секретаря райкома галстук сбился набок, волосы запутались, сам он вспотел, заискивающая улыбка пропала, и только хрипит сквозь съеденные зубы, когда козел падает на землю:

– Выгоню мерзавца, выгоню...

Амантай, как зачарованный, смотрит на кок-пар. Не отводит глаз. Будто что-то, чего он и сам в себе не знал, проснулось в нем от этого топота копыт, бешеной скачки. Ему тоже хочется скакать сейчас на взмыленном коне, прижимая тушу козленка ногой к мокрому от пота боку лошади. Он уже чувствует себя прадедом Турекулом, который уходит от погони после удачной барымты – кровной мести. Какое-то неясное еще ликование теснит его грудь, а сердце сладко стучит, как от первой любви.

Но вот нашелся джигит. Загорелый, черный, как головешка, он ухитряется повиснуть под пузом у коня и схватить козла за заднюю ногу. Потом взлетает в седло и, прижав тушку ногой к мокрому от пота лошадиному боку, мчится к белым юртам. Еще чуть-чуть – и он бросит козла рядом с гостями. Но его настигает лихой джигит в голубой рубашке. Ударяются боком конь о коня. Первый испуганно хватается за поводья и роняет козла. Пока эти двое, сцепившись друг с другом, борются в седлах, а кони их кружатся и норовят укусить друг друга, подлетает третий. Юркий, как ящерица, худой, костлявый и на плохой лошаденке. Но он и выигрывает. Живо подхватывает добычу. И мгновенно доносит к гостям.

Победа!

– Ай, молодец, хитрец! – говорит дядя Марат. – Вот тебе подарок от меня!

И снимает с руки, дарит джигиту свои часы «Чайка».

Все гости ахают от такой щедрости заведующего отделом ЦК.

Сердце Амантая наполняется какой-то неведомой ему родовой гордостью. Как будто и он причастен к этому широкому жесту. Вместе с дядей он как бы вырастает в собственных глазах. Он уже не просто Амантай Турекулов – дальний родственник ответственного работника, он член клана, рода. На него с завистью поглядывают и плосколицый Жакып, и водители казенных «Волг», и сам секретарь райкома. У Амантая аж сами собою плечи поднимаются вверх. Вот мы какие из рода жатаков!

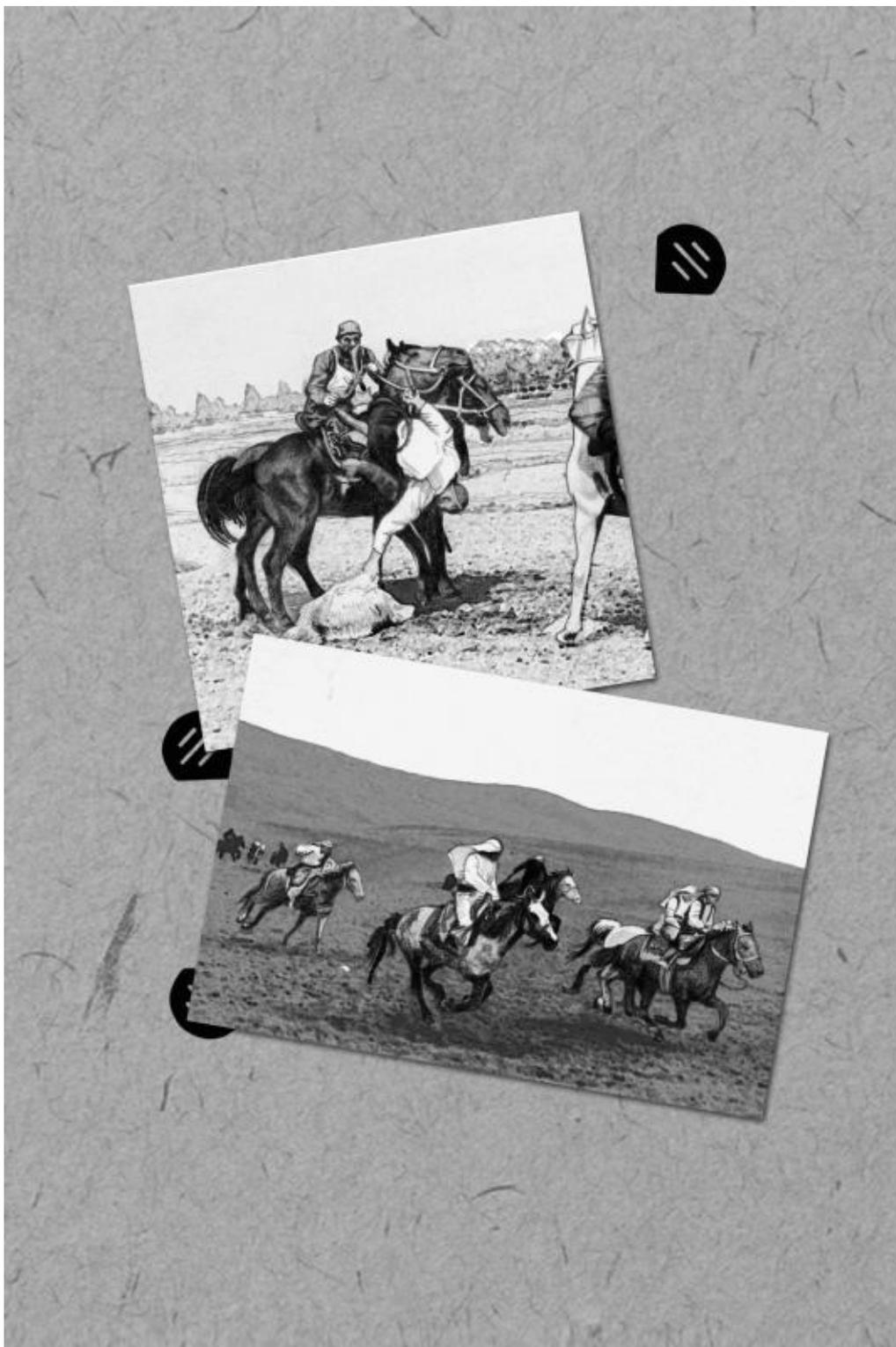
Гости проходят в юрту. Рассаживаются на одеялах. Обсуждают перипетии кок-пара. Постепенно разговор снова возвращается в привычное русло. К чинам, должностям, званиям, связям. Никто не стесняется. Здесь все свои. Люди одного круга.

– Эх, карашо! – говорит Джолдасбеков, обтирая платком обильный пот, выступивший на могучей шее. Он берет из рук хозяина пиалу, шумно отхлебывает чай. – Вот так же может случиться и у нас. Димаш Ахмедович, дай ему бог долгих лет жизни, хорошо поработал. И здоровье у него, слава аллаху, крепкое. И Леонид Ильич в своей книге «Целина» о нем немало хороших слов сказал. Но что будет, если он уйдет? Как повернется жизнь нашего народа?

– Правда, друг! – говорит дядя Марат. – У нас сегодня каждый тянет в свою сторону. Все поделились на жузы и роды, и все стараются своих родственников пристроить. А мы единый народ, должны отстаивать общие интересы. Тогда с нашим мнением будут считаться везде. А то в Москве говорят: «Вы о стране не думаете. Только и знаете своих тянуть, какие бы они ни были».

В юрту к старшим заходит Амантай. Он принес соленый сушеный творог курт и свежеспеченные баурсаки. Аккуратно ставит угощение и хочет уйти. Дядя останавливает его жестом:

– Вот наше будущее. Молодые, грамотные. Они должны быть образованными, чтобы могли продвинуть наш народ дальше. Им тоже надо знать, о чем думаем мы – те, кто сегодня отвечает за народ.



Жакып уже объяснил Амантаю, что это большая честь, когда старшие приглашают присесть. Но при этом надо не забывать свой долг. Принести, подать с уважением. Полотенце ли – руки обтереть. Пиалу. Чайник.

Поэтому Амантай потихонечку присаживается в уголке.

Куда делось его раздражение! События дня, гордость за дядю во многом изменили течение его мыслей. «Давно ли это было? – думает он. – Друзья, школа, слет. Видели бы они меня сейчас. С какими людьми я сижу! Это умнейшие люди нашего народа! И я среди них... К чему бесплодные наши мечтания, какие-то наивные принципы? Надо слушать старших. Они знают, как надо...»

А разговор разворачивается шипящей змеей, совершая все новые круги. Ага Ураз, широко разводя руки и отправляя баурсаки в рот со скоростью автомата, говорит, не прожевывая:

– Так-то оно так, Абеке, дорогой. Никто не спорит, что образовывать надо. Но ведь, с другой стороны, молодежь совсем от рук отбилась. Не знает наших обычаев. Утратили все...

Известный местный акын Жандаулет, аксакал в белой войлочной киргизской шапке с круторогим узором, поглаживает клинышек белой седой бороды, смотрит из-под шапки узенькими хитренькими глазками. Согласно, как болванчик, кивает и подхватывает:

– Правильно пишет наш великий Чингиз Айтматов о манкуртах. Память потеряли. Обычаи забыли. Язык утратили...

Откинув полог у входа в прохладный полумрак юрты, заходит круглолицая апашка в цветном платье до пола, в казахской душегрейке, на плечах шаль, на ногах остроносые галоши. Спрашивает у мужа:

– Бешбармак созрел! Подавать сейчас или попозже?

– Подавайте! – отвечает секретарь райкома, доселе скромно молчавший среди гостей.

Через минуту в юрту wpłyвает дымящаяся гора мяса на подносе, украшенная сверху бараньей головой. По юрте плывет чудный запах жирной баранины. У Амантая от этого расчудесного запаха аж бурчит в животе. Он сглатывает слюну и притихает в своем уголке. Как зачарованный, смотрит на этот пир.

Дядя уступает право разделать голову ректору. Тот смело берет ее могучей рукой. Отрезает ухо и подает его Амантаю. Потом срезает с морды кожу, умело открывает острым ножом «замок» черепа. Белые мозги выбирает ложкой в отдельную чашку и подает первому дяде Марату. А уж затем смело берет с блюда большие куски мяса и наделяет гостей по старшинству.

Через минуту все дружно наваливаются и слышно только урчание и чавканье.

Разговор, прерванный появлением мяса, продолжает мэр. Он

откидывается на подушках, вздыхает тяжело и говорит:

– Надо, чтобы Димаш Ахмедович сам выбрал себе преемника. И подготовил его.

– Это кто же может быть таким? – робко спрашивает секретарь райкома, который наконец-то решается вступить в разговор с такими важными людьми. – Может быть, Закаш? Биография у него подходящая. Был секретарем комсомола. Руководил республиканским КГБ. Сейчас секретарь ЦК по идеологии. А как вы считаете, Марат-ага?

– Ну, если рассматривать эту кандидатуру, – важно говорит дядя Марат, беря бешбармак в отличие от других гостей ложкой, – то она может иметь место. Но могут появиться и другие. Кто из его родственников способен претендовать на его место?

Джолдасбеков, которому попался жесткий кусок, не прожевывая, сплевывает его прямо на стоящий рядом поднос и говорит:

– Пожалуй, Нурсултан может претендовать. Племянник его из Караганды. У него тоже неплохой послужной список. С Кармеда начинал. Числился рабочим. Он из старшего жуза, как и Кунаев.

– Ай, старший жуз. Не зря казахская пословица говорит: «Дай палку в руки, пусть пасет овец!» – смеется, показывая молодые блестящие зубы, мэр.

– Это зря! – замечает дядя. – Говорят, что он на недавней аудиенции целовал руки Димаша Ахмедовича и говорил: «Я ваш сын!»

– Да, это сильный ход, если учесть, что Кунаев бездетный, – соглашается ректор.

Ректору возражает мэр:

– Это все буря в стакане воды. Еще свое слово Москва скажет. Читали заметку в «Правде» про первого секретаря кзыл-ординского обкома партии Адельбекова? В «Правде» просто так ничего не печатают...

– Что это за кадровая политика такая, – говорит дядя Марат, – когда все зависит от того, кто кому родственник, брат, сват? Молодым, талантливым дороги нет...

– Ах, Абеке, не возмущайтесь, лучше попробуйте мясо. Настоящая Сары-Арка. А как пахнет травой, степью. Это вам не русский борщ, – говорит старый акын Жандаулет. Затем он неожиданно берет горсть бешбармака и бесцеремонно протягивает ее прямо ко рту Амантая.

В первую секунду юноша опешивает. Ах, если бы еще вчера Амантаю сказали, что его будут кормить бешбармаком с руки, он бы возмутился и обиделся. Но сейчас многое переменилось в нем. Ему, конечно, противно. Он колеблется с секунду. Что это? Еще одно унижение? Или это отличие?

Он ищет поддержки у дяди. Смотрит на него. Дядя кивает. Тогда он мужественно открывает рот и берет с костлявой, с грязными ногтями руки мясо. А потом и проглатывает его под строгим взглядом старших.

– Ай, молодец, джигит, наш джигит! – чмокает тонкими губами акын. – Знает обычаи.

– Да, хороший джигит! – говорит Джолдасбеков, обтирая жирные пальцы о поданное ему полотенце. – У джигита три достоинства. Род отца, род со стороны жены и род со стороны матери. Но как говорит наша пословица: «Шейная часть – не самое лучшее мясо. Племянник со стороны сестры – не самый лучший родственник!»

– Если в шейной части много жира, почему это не лучшее мясо? – парирует его слова мэр.

– Ладно, Ураз-ага! – примирительно говорит дядя. – Давайте выпьем за наших родителей. Кем бы они ни были. Они нам дали все!

Стукнулись стаканы и рюмки. Все выпили.

– Эх, классный арак!

Амантай сидит ни живой ни мертвый. Все перепуталось в его голове... Весь привычный, ясный и понятный строй жизни пошатнулся и стал стремительно рушиться. «Где ж она, та правда, которой учили нас в школе?»

Старый акын берет в руки домбру и затягивает песню об Утеген-Батыре и жестоком белом царе.

* * *

Ближе к вечеру дядя Марат вышел прогуляться по джайляу. Вместе с ним, переваливаясь, вывалился из юрты и ректор.

Чистое небо затягивалось облаками. Солнце уже зацепилось за ближнюю гору. Повеяло холодком.

– Ага Ураз! – голос дяди был нежен и даже слегка почтителен. – Видели моего племянника?

– Да! Хороший джигит!

– Ах, вам понравился мой племянник? Тогда я в ваши руки его отдаю! Чтобы вы учили его уму-разуму.

– Ну, если в мои руки отдаешь, то конечно!

Оба понимали, о чем идет речь. Дядя Марат, тонко используя народные обороты, говорил об устройстве Амантая в университет.

– Есть одна проблема у нас! – ответил Джолдасбеков. – В последнее время нас критикуют. Слишком много людей из южных областей принимаем. Вот комиссия из ЦК должна пожаловать к нам через две

недели...

– Я постараюсь, чтобы в комиссию хорошие люди попали, – произнес дядя Марат. – А с мальчиком проблем нет. Он из северной области. Из Усть-Каменогорской.

– Это хорошо! Это хорошо, раз отдаете его в мои руки. Надо подумать, как с ним быть...

III

Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее – стрелы огненные.

Песнь песней Соломона. Глава 8

«Здравствуй!

Извини, что задержала с ответом. Просто сдавала экзамен по математике. Тетрадь с лекциями потеряла и четыре дня жила у одной девчонки. Готовилась.

Не знаю, с чего начать. Как ты сам чувствуешь, я в письмах немногословная. Не могу просто чувства свои выражать на бумаге.

Мое чувство к тебе теперь не знаю какое. И на вопрос, люблю ли я, отвечу: не знаю. Ну, вот просто честное слово, не знаю. Не знаю, как ты к этому отнесешься, но, когда человек (а особенно парень) говорит часто, что он любит, это слово уже не имеет такого большого значения. Лучше бы ты меня меньше любил. Ты не обижайся и не думай, что все они такие. Я просто очень неопытная, и мне рано говорить “люблю”, я не знаю, может, люблю, а может, и нет.

Уж как я хотела ревновать тебя к Люде Крыловой, а не получалось. Почему?

Мне дороги наши встречи, хотя их и было мало. И прости, я не понимаю, что ты хочешь сказать тем, что “все это приснилось”. Если то, что было, забыть – никогда!

Ты, конечно, думаешь, как всегда, я “хитрая”. Я самая обыкновенная. Но как тебя увижу, становлюсь такой. Почему – не знаю.

Ты и любишь как-то необыкновенно. И сам ты какой-то необыкновенный. Я, наверное, слишком легкомысленная.

А может, тебе тоже все приснилось?

Не могу писать.

Галка».

Саша дочитал письмо. Постоял. У него было такое ощущение, будто его ни с того ни с сего ударили по голове. Прошел месяц, как они

расстались. И вот на тебе. Как ушат холодной воды выливает она на него. Почему? За что? Ведь любовь так переполняла его, что он не мог не писать о ней. Конечно, его письма горячие, сумбурные. Все, как в огне. Но он был искренен! А оказывается, надо врать?

Мир сузился до этого листочка бумаги. Ни о чем уже не думается. Душа еще сопротивляется. Она не хочет принимать смертельный удар.

Подходит синий полупустой троллейбус.

Взвизгивают, открываясь, двери.

Он входит. Встает на задней площадке.

Поехали.

Мысли крутятся на месте: «Как жить дальше? Что делать?» Им овладевает отчаяние: «Да что же это такое? Вот так один человек. Одним письмом может порушить всю мою жизнь. Боже ж мой! За что? А была ли, действительно, с ее стороны любовь? Это я, наверное, в каком-то ослеплении нахожусь? За что мне такое проклятие? Нет, не проклятие – счастье. Я обыкновенный, простой человек. К чему мне этот дар любить тебя вечно? А может, у нее кто-то есть? Как там у Пушкина: “Те, кто сильнее всего любит, наиболее низко падают в грязь подозрений и ревности”? А какая сумятица в башке!»

– Эй, там, на задней площадке! Почему не берешь билет?

Все пассажиры оглядываются на Дубравина, потому что никого, кроме него, на задней площадке нет.

Он тоже в недоумении осматривается вокруг по сторонам. «Почему это он кричит?»

– Тебе говорю! – орет в микрофон водитель. – Почему не платишь? В милицию сдам! Не выпущу из салона!

Только сейчас Дубравин понимает, что эти крики относятся к нему. Он достает из кармана проездной. Показывает всем выпялившимся на него пассажирам.

Приехав в Алма-Ату, Дубравин первое время не находил себе места. Ситуация, конечно, сложилась аховая. Вместо военно-морского училища он оказался совсем в другом месте. Без цели, без смысла существования. Как рыба на мели. Где-то далеко его друзья поступали в институты, училища. Чьи-то мечты исполнялись, чьи-то – нет. Но у большинства была понятная, ясная перспектива в жизни. Его же то побоище с чеченцами выбило из колеи.

Где-то через неделю отец отписал ему, что к ним приходили из милиции, спрашивали его. Но они сказали, что он уехал поступать в

военно-морское училище: «Там и ищите».

Еще через неделю отца вызывал к себе следователь. Поговорили. И следователь сказал, что дело заводить не будет, так как ни свидетелей, ни потерпевших найти невозможно. Потерпевшие отработали и уехали домой, а свидетели разъехались – кто учиться, кто работать.

Гроза миновала. Но и время было упущено. Экзамены в институтах прошли.

– На будущий год будешь поступать куда захочешь! – сказал ему Зойкин муж, Анатолий. – Нароботаться тоже успеешь. Давай-ка устройю я тебя к нам. У нас на Алма-Атинском домостроительном комбинате новое профтехучилище открыли. Будут готовить рабочих для себя. Тебе, пожалуй, лучше всего идти монтажником. Монтажник на стройке – профессия самая что ни на есть аристократическая. Маляры, плотники, бетонщики – те, бедняги, всю жизнь в каторжном труде. Плотники, к примеру, двери, окна таскают по этажам, как ненормальные. Аж глаза на лоб лезут. А монтажник, он на свежем воздухе всегда, и заработок у них приличный. Так что учись, а там посмотрим!

Дубравину было абсолютно все равно. Он не хотел и не думал становиться ни плотником, ни монтажником. Но не домой же возвращаться!

Сам Анатолий работал на домостроительном комбинате инженером по технике безопасности. И работа ему страшно нравилась, хотя попал он на нее тоже случайно.

Лет пятнадцать тому назад, когда по воле партии, а еще точнее, по воле Никиты Хрущева люди со всей страны еще стремились в казахские степи, у серо-красного одноэтажного городского вокзала Алма-Аты остановился необычный эшелон. Из его вагонов высыпали на перрон три тысячи одетых в черные бушлаты, клеши и бескозырки матросов. Вместе с ними приехала светловолосая, маленького роста молоденькая женщина с завернутым в голубое одеяло ребенком на руках. Рядом с нею, неся чемоданчик и мешок с вещами, шагал такого же небольшого росточка матросик. Правда, идти им было некуда. И поэтому разместились они на вокзальной скамейке. Где и жили два дня.

Как-то раз на вокзал пришла встречать свою сестру одна женщина. Звали ее тетя Полина. Там она и увидела эту странную картину. Среди матросских вещей на подстеленной шинели сидит молодая белокурая женщина, почти девочка. И кормит ребенка из бутылочки.

Разговорились. Узнала, что муж у Зои матрос. Поженились они всего полтора года назад, когда было-то им по восемнадцать лет. Вместе

работали по комсомольской путевке на строительстве Волгоградской ГЭС. Потом он четыре года служил на флоте в городе Николаеве. Она, естественно, поехала за ним. Зойка устроилась на работу в часть вольнонаемной. Жила у хозяйки на квартире. Родился ребенок. Она написала министру обороны письмо с просьбой демобилизовать мужа, так как она сама работать не может, а помочь им некому. Пришел ответ в часть, что демобилизовать его, прослужившего всего год, они не могут – закона такого нет. А вот направить на освоение целинных земель в Казахстан вместе с сокращаемой частью можно.

Так они и оказались в эшелоне, шедшем в Казахстан. А что делать дальше, еще не знают. «Толик ездит в город, ищет работу с общежитием. Но пока не нашел!»

Тетя Полина поговорила, послушала, посочувствовала им, а потом сказала, качая головой:

– Это, ребята, не дело – жить с ребеночком на вокзале. Пойдемте ко мне!

Так на окраине города, среди яблоневых садов, в маленьком домике, где жила одинокая женщина, поселилась и эта молодая семья с малышом.

На другой день морячок нашел работу на стройке. Бригадир, узнав, что он демобилизованный и семейный, сказал: «Зайди ко мне после смены».

Вечером из дома бригадира Анатолий вышел, неся панцирную сетку от кровати. Так и шел через весь город с этой сеткой над головой. Вечером установил ее на четыре кирпича.

Через год дали им однокомнатную квартиру. А еще через несколько лет – двухкомнатную, прямо возле входа на казахскую выставку достижений народного хозяйства...

...Шурку они приняли радушно. Понимали, как ему непросто было сменить фактически все.

А ему действительно было очень непросто. Ни друзей, ни родителей, ни привычной обстановки. Даже на бытовом уровне город вызывает у него не самые лучшие чувства. Он никак не может принять многое из того, чем и как живут горожане. «Такое ощущение, что кто-то мудрый, хитрый так построил эту жизнь, чтобы человек только и думал, лишь бы что-то достать, добыть, выжить. Здесь каждое движение, каждое действие – это борьба за место, за бутылку пива, за то, чтобы уехать... Вот и сейчас уже надо идти на остановку трамвая. Некогда думать. Переживать».

Пересадки приходится ждать долго. Скопилось порядочно народу. Наконец подходит, позванивая и гремя тормозами, коричнево-желтый трамвай. Истомившиеся люди кидаются, отпихивая друг друга локтями, к

двери, крича, толкаясь и ругаясь, заполняют салон.

Дубравин же отходит в сторону.

И откуда он чего набрался? Но ему кажется, что такая посадка унижает его человеческое достоинство. «Сяду в следующий!» – решает он про себя.

Но сесть ему удастся только в третий трамвай.

На занятия при таком раскладе он, как водится, опаздывает. Так как пара по электротехнике уже началась, решает отсидеться пока в общежитии у ребят.

Общежитие, как и само училище, новенькое. Строили его быстро. К первому сентября. И естественно, сначала размахнулись по полной программе. Заложили спортзал, актовый зал и даже, невиданное дело, бассейн! Но, как обычно, то ли денег не хватило, то ли ума. Сделали только учебный корпус да общагу. Вместо бассейна оказался зарастающий травой-лебедой котлован с фундаментом из серого бетона с сиротливо торчащими ржавыми прутьями арматуры в руку толщиной. Не был достроен и производственный корпус.

В общежитии пахнет краской и хлоркой. Оно новенькое, но порядки в нем, уж бог весть когда и каким образом, сложились старые. Так же орет комендантша, так же бдительно стоят на страже нравственности бабульки-вахтерши. Естественно, не работает буфет, не хватает мебели.

В комнате, куда мимо вахтерши, бабушки – божьего одуванчика, проник Дубравин, уже двое опоздавших – Армен Мусаэлян и Витька Палахов. Сидя на кровати, они перебрасываются в картишки. Армен, плотный, густо заросший черной щетиной, с волосатыми руками и густыми бровями армянин, раздает. Витька Палахов, беленький, крепкий, как гриб боровичок, голубоглазый блондин, внимательно наблюдает за арменовскими манипуляциями с королями и тузами. Увидев Дубравина, Мусаэлян здоровается и говорит:

– Садись с нами. Втроем веселей. Ты там на завуча не напоролся? Сегодня у них какой-то рейд по опозданиям. Вот мы и отсиживаемся.

– Садись, братан! – добавляет и Витька.

Дубравин равнодушен к картам. Считает это занятие бессмысленной тратой времени. «Но надо же как-то сходиться с людьми, – думает он сейчас. – Не будешь же вечно один. Тем более что Витька с Арменом не совсем такие, как другие. Более развитые, что ли».

И он присаживается на стул напротив кровати.

Мусаэлян сгребает колоду и заново раздает на троих. Играют по кругу.

– Ты чего такой кислый и ходишь неправильно? – спрашивает его Палахов, внимательно разглядывая свои козыри. – Из-за опоздания, что ли?

– Да нет! – отнекивается Дубравин. Ему ни с кем не хочется говорить о своей беде.

– Может, его тошнит, как и нас, от всей этой бодяги, – бросая козырь волосатой рукой, вступает в разговор Мусаэлян. – Так ты не горюй. Одно слово – ГПТУ. Знаешь, как расшифровывается? Господь послал тупых учиться. Здесь собрались все, кто никуда поступить не может и ни на что не способен. И преподавы – один слив. Кого отовсюду гонят, те идут в профтехучилища. Деревня, аулы забили все...

Шурке неприятен этот разговор. Он ведь тоже из деревни. «А сами, если вы такие великие, что здесь делаете?»

– Ты, я вижу, как и мы, тоже здесь не по призванию? – иронизирует Витька Палахов, заглядывая Дубравину в карты.

– Мне, например, прописка алма-атинская нужна, – замечает Армен. – Без прописки на хорошую работу не берут. Вот пропишут в этой новой общаге, и можно бросить все к черту.

– А мне надо до армии перекантоваться, а то менты насаждают. Посадим, мол, за тунеядство. А тут я вроде как учусь. По тебе видно, что ты тоже птица другого полета.

– Да, была история! – понимая, что этим разговором они его как бы приглашают в компанию и отказываться нет необходимости, соглашается Сашка. – Была драчка с чеченами. Пришлось ноги в руки и уносить сюда вместо военно-морского училища. Но уж на следующий год точно поступлю.

С первого дня занятий все училище быстро разбилось на группы. Ребята из сел, постоянно жившие в общежитии, – одна стая. Городские – другая. А вот такие, как Сашка Дубравин, не попадали ни под одну категорию. Разве что случайных. Или залетных. Их интересы были не здесь. Каждый переживал свое положение по-своему.

– Пойду выгляну, – встает с кровати Мусаэлян. – Не кончился ли у этих придурков рейд по опозданиям?

Когда он выходит, в комнате наступает тишина. Как-то не говорится и не играет. «Что же делать теперь?» – этот вопрос снова во всей своей мучительной простоте и ясности встает перед Дубравиным. Сколько миллионов человек задавали его себе и давали человечеству свои ответы! И вот надо же, коснись он каждого из нас лично, и ответ приходится искать самому. В сумерках и закоулках своей души. «Как вернуть ее?» Мысли медленно и мучительно проворачиваются в его душе: «Поехать к ней! Немедленно! Сказать! Показать! А что показать? Что сказать? Уже все много раз сказано. Что я могу ей предложить? Пожениться? Так это

смешно!» Он аж скрипит зубами от душевной боли.

Удар за ударом сыплются на него. Новая, взрослая жизнь началась совсем не так, как мечталось. Где оно, синее море? Где красивая форма, где кортик? Училище, правда, есть. Только форма в нем другая.

Трудно. Но он мало обращает на бытовуху внимания. Главное – их любовь. Эти две недели. Он жадно вспоминал их перед сном, на занятиях, в троллейбусе. Жил ею. Дышал. И все ему было нипочем. Пока он надеялся и верил. И вот это письмо.

«Как говорится, прямо под дых! Аж в зобу дыханье сперло!» – с усмешкой над самим собою хмыкает он.

Палахов, молча разглядывая карты, замечает эту усмешку.

– Че хмыкаешь?

– Да так. Письмо девушка прислала. Так тошно. Прощались, целовались. Я думал, ну, все – жизнь... А теперь все не так... Люблю – не люблю...

И Дубравин неожиданно для самого себя, да, наверное, и для Витьки, вдруг, ни с того ни с сего рассказывает свою историю этому совсем чужому для него белобрысому парню. Изливает всю накопившуюся тоску по дому, по друзьям, по любви...

– Да, братан, не сахар! – Видно, что его рассказ задел у Палахова какую-то свою больную струну. И куда только девалась вся его крутизна и приклатненность? – Но главное, братан, все живы, здоровы, а это значит, что все продолжается, – дрогнувшим голосом добавляет он.

Потом, сдвинув свои белесые брови, закуривает сигарету и исподлобья, блеснув голубыми, с зеленоватым оттенком глазами, начинает свой рассказ:

– Я любил ее еще со школы. Ну, знаешь, как это бывает. Ходили вместе в школу и из школы. Она была красивая. Знаешь, как мы любили друг друга? Теперешняя – тоже ничего. Но эта... Она была лучше всех...

Дубравин знает, что Витька любит прихвастнуть, соврать, и поэтому ждет, что он сейчас начнет рассказывать о своих победах, но, странное дело, неожиданно улавливает в голосе Палахова неподдельное волнение и искренность:

– Да, было времечко. Однажды на улице встретили ее какие-то ребята. По-видимому, они хотели заставить ее сдать. Но она царапалась, кусалась. Тогда они толкнули ее под проходящий трамвай. Ей отрезало ноги. Я ходил к ней в больницу. Просил ее сказать, кто это сделал. У меня тогда был вальтер. Я бы их перестрелял. Она, увидев меня, отворачивалась и просила врача, чтобы меня не пускали... Знаешь... Я стоял перед нею на

коленях, она меня била своими ладонями и кричала: «Уйди, уйди!». А мне казалось, что она меня гладит. Так я ее любил. Потом ее выписали. И она уже дома отравилась... Целый месяц я ходил как помешанный. Но ее уже не вернешь.

Сашка молча смотрит на Палахова и ошеломленно думает: «Врет, наверное, так не бывает. Чушь какая-то. Сочиняет».

– Я б их всех, гадов, перестрелял, если бы знал тогда, кто это сделал, а потом бы сам застрелился. Но только через год я узнал одного из них. Его забрали в армию. Вот я жду, когда он вернется...

«Чушь какая-то, – снова думает Сашка. – И зачем придумывает? Кричит с надрывом. Сам себя накручивает. Какие-то африканские страсти. Псих он, что ли?»

Палахов резко замолкает. С минуту сидит, тупо смотрит в окно. Потом неожиданно, ни с того ни с сего говорит:

– А тебе пистолет, случаем, не нужен?

– Пистолет? – опешивает Дубравин. – Какой?

– А вот такой. – Витька достает из сумки тяжелый, как кусок железа, самодельный наган. Все как положено. Барабан, ствол, курочек. Дубравин берет его в руки и чувствует, как удобно ложится в ладонь холодная рукоятка.

– Видишь, сделан как здорово. Под мелкокалиберный патрон. Вещь! Могу продать за двадцатку.

– А он стреляет? – опасно спрашивает Саша.

– А ты как думал! Сам лично ездил в горы. Опробовал. Бьет, как зверь!

– Вещь хорошая, только денег нет, – отвечает Сашка.

– Ну, пришлют же тебе родители...

Пока на сцене не появился пистолет, Дубравин не особо верил Витьке. А тут... Может, у него и вальтер есть. Кто ж его знает... И вообще, чего только в этих городах ни бывает. Людка рассказывала, что к ней тоже приставали как-то. И острая тревога накатила в душу: «Господи, а как там Галка? Одна в городе. А может быть, у нее кто-то появился? Ведь у них там своя жизнь. Студенческая. Не чета тебе. Вот и прислала ответ. Правду ведь не скажешь сразу. Так, мол, и так. Полюбила другого...».

* * *

Вечером он долго маялся. Семейство сестры в большой комнате смотрело телевизор, а Дубравин ходил из угла в угол и шептал про себя, разглядывая ее маленькую фотографию: «Молчишь. Ты все молчишь. Смотришь, улыбаешься о чем-то своем. И молчишь. А я смотрю на твой

портрет. И не могу наглядеться. И что же мне теперь делать? Что отвечать?»

Он присел за стол. Написал первую строчку: «Здравствуй, Галя!» Посчитал, что получилось как-то фальшиво. И отложил синий листок в сторону.

Опять заходил из угла в угол: «Эх, любовь, любовь. Больно-то как. Господи! Завыть, что ли?»

Встал у окна. По вечерней дождливой улице потоком текли машины. Свет фар преломлялся в стекле, которое окрашивало все в фантастическую радугу. Сами собою ни с того ни с сего потянулись слова:

По щеке тепло пролегла слеза.

С отраженьем твоим мы – глаза в глаза.

Ты скажи мне, портрет, поскорей ответь,

Что решать теперь, то ли плакать, то ль петь?!

«Галка! Галка! Мне бы увидеть снова тебя. Твои милые глаза, губы, руки. Только бы заглянуть в глаза. Они как звезды. И все решится. Все встанет на свои места. Ведь было нам вместе хорошо».

Он вспомнил рассказ Палахова: «Вот у него действительно все кончилось. А я-то чего раскис, расквасился? Витька прав! Пока мы живы, ничего не кончается. А в такой ситуации хуже нет – рыдать и умолять. Мало того, что тебя не любят, так еще тебе же надо унижаться, выпрашивать. Но бывает и хуже, как в том случае про трамвай... Как бы ни было тяжело, надо хоть достоинство свое блюсти. В конце концов, что я, тряпка, что ли?»

Он подошел к столу, снова достал листок синей почтовой бумаги:

«Здравствуй!

Может быть, мы с тобою больше не встретимся. Может, ты просто не захочешь меня видеть. Не знаю. Ничего не знаю. Все так сложно. Пусть эти строки останутся моим последним откровением. Я люблю тебя. И ты, конечно, знаешь об этом. И ты права, от частого употребления слова стираются, как каблуки от асфальта. Но когда эти слова пишут в последний раз, они приобретают новый смысл...».

IV

В перерыве в аудиторию пришла секретарша из деканата:

– Вас приглашает к себе Владимир Евгеньевич!

«Меня? Зачем? Проректор вызывает меня, первокурсника, к себе? Может, что-нибудь не так? Точно! Вчера в общежитии гуляли до утра. А я там староста этажа! Может, поэтому?» – думал Казаков.

– Петро, если будут отмечать явку, скажи, что меня в деканат вызвали.

Анатолий быстро собрал книги, конспекты со стола и помчался на административный этаж.

Там – красные ковровые дорожки. Тишина. Заглянул в приемную. Пожилая кудрявая женщина сидит на телефоне. Кивнула – проходи. Зашел, присел на краешек стула. Сидел настороженно. Думал: зачем вызывали? На столике в приемной загорелся красный огонек. Седовласая секретарша попыталась его успокоить, улыбнулась вставными молодыми, фарфоровыми зубами, не гармонирующими со старым лицом.

– Заходи!

Зашел, внутренне напрягшись. От волнения даже ладони вспотели.

В просторном кабинете сидели двое. Проректор по воспитательной работе – молодой, худощавый, с бородой. Весь из себя манерный. И молодой мужчина с седыми висками. Слегка лысеющий, коротко стриженный, спортивный.

– Присаживайтесь! – на «здравствуйте» Казакова кивнул проректор. И, повернувшись в сторону незнакомца, сказал: – Студент первого курса, отличник. Староста группы Анатолий Казаков. А это наш куратор от Комитета государственной безопасности Евгений Борисович Маслов. У меня лекция. Я вас оставляю. Побеседуйте.

Казаков весь похолодел. Как-то доселе круг его интересов не совпадал с КГБ. Он даже в детстве никогда не хотел стать разведчиком. Поэтому сейчас с интересом и одновременно с опаской изучал мужчину. На вид лет сорок, одет в типичный костюм клерка. С виду похож на преподавателя. Ничего необычного, запоминающегося, кроме седины.

– Как дела, Анатолий Николаевич? Как учеба? – начал с дежурного вопроса куратор от комитета.

– Да ничего, хорошо!

– Как ваши родители? Что пишут из вашего Жемчужного? Как там урожай? Ваши друзья тоже учатся? Вы общаетесь?

«Все знает. Знает, откуда я!» – Анатолий гордо отбросил челку назад и стал отвечать. Собеседник, невнимательно выслушав, задал новый вопрос:

– Каким спортом занимаетесь?

Анатолий отвечал на вопросы, а сам видел, что эти ответы заранее известны кагебешнику. Наконец тот перешел к делу:

– Мы к вам уже достаточно давно приглядываемся. И у нас сложилось, в общем-то, хорошее впечатление. Вы сами, без чьей-либо помощи или протекции, поступили в этот престижный столичный вуз, что для человека из глубинки очень даже непросто. Хорошо учитесь. Активист-общественник. Занимаетесь спортом. Поэтому мы решили к вам обратиться за помощью. Эта помощь для вас необременительна. В следующем году на Олимпийские игры в Москву приедет много гостей. В том числе и из зарубежных стран. Люди абсолютно разные. Естественно, что западные спецслужбы тоже готовятся к нашей Олимпиаде. Есть сведения, что, например, американское ЦРУ, западногерманская разведка готовят ряд провокаций против нашей страны. От них приедут профессиональные шпионы и мастера идеологических диверсий. Наша задача – им противостоять. Но, естественно, мы можем им противостоять только в одном случае: если советские граждане будут поддерживать нас, помогать нам в борьбе с этими диверсантами...

«Ох и стелет мягко! Так что же ему все-таки нужно от меня?» – думал в это время Казаков, вспоминая свой приезд...

...Москва его тогда ошеломила. Когда он только сошел с поезда на Казанском вокзале, его потрясла панорама столицы. Здесь все было огромным: площадь, вокзалы. Толпы спешащих куда-то людей. Ощущение живости и бодрости. Суeta суeta.

Толик Казаков по характеру подвижный и живой. И то, что других провинциалов в Москве раздражало и пугало, его, наоборот, страшно вдохновляло. Он был молод, энергичен, свеж. Ему легко давалась жизнь в общежитии с несколькими людьми в одной комнате. Он быстро находил общий язык и с начальством, и с преподавателями. Его не раздражала давка в автобусах и троллейбусах. Он даже не ругался, стоя в очереди за пивом. В общем, Анатолий Казаков, с тех пор как покинул родной поселок Жемчужное, без труда, быстро и незаметно для себя и окружающих вписался в новую среду.

И еще он страшно гордился тем, что сумел пробиться в Москву. Один из их класса.

Осенью их всех, как обычно, отправили на картошку. И там он тоже зарекомендовал себя неплохо. Да и какой труд может напугать человека,

выросшего в деревне, привыкшего и траву косить, и навоз выгребать по полной программе! А спорт? Основательная закалка, полученная им еще в команде «Лотос», давала о себе знать. Он и бегал, и прыгал, как конь.

И сейчас ему польстило то, что за помощью обратились именно к нему. «Значит, заметили. Заметная я фигура на курсе. Не к кому-то обратились, а ко мне!» Сердце его мгновенно переполнилось гордостью. Но он понимал, что сразу соглашаться не следует.

– Можно мне пару дней подумать?

– Хорошо, подумайте, – ответил ему Маслов и шумно вдохнул воздух носом. – Когда надумаете, позвоните вот по этому телефону.

В общем-то, он уже все решил. Но держал паузу два дня. «А что, собственно, изменится в моей жизни, если я буду с ними сотрудничать? Да ничего! Тем более что дело касается будущих, в следующем году Олимпийских игр в Москве. Все равно по факультету ходят слухи, что нам придется на них работать, обслуживать эти игры. Какая разница, что так, что этак мы будем официантами, разнорабочими, контролерами и так далее. С другой стороны, связь с такой могущественной организацией в жизни не помешает. Ведь не зря этот Маслов намекнул, что они имеют возможности самые разнообразные. В общем, звоню». Но только он собирался набрать заветный телефонный номер, как другая мысль остановила его: «Не очень-то это и красиво получается. Доносить на кого-то потихоньку». Вспомнилось, как отец и дед отзывались о чекистах... «И вообще. Хотя, с другой стороны, времена переменялись! Или не переменялись? Вдруг кто-то узнает? И что тогда? Как ты будешь выглядеть в глазах товарищей, друзей?

Но с другой стороны, тот же дед с такой гордостью, с блеском в глазах рассказывал, как он служил в охране у царя. Он служил империи. Могучему государству...»

На третий день Казаков позвонил. Трубку на том конце провода мгновенно поднял незнакомый человек:

– Маслов? Сейчас позову!

Через секунду Анатолий услышал знакомый, с хрипотцой голос Евгения Борисовича:

– А, мой молодой друг! Давайте не будем обсуждать наши дела по телефону. Мы можем с вами встретиться? Ну, хотя бы завтра. А вот где? В институте? Нет, в институте не надо! Я завтра буду в гостинице «Москва». И в шестнадцать ноль-ноль давайте встретимся там. Я буду ждать вас на входе.

Действительно, когда Анатолий пришел к парадному входу гостиницы

«Москва», Маслов уже ждал его. Они быстро поздоровались, и кагебешник повел его мимо швейцара в холл к лифту. Пока лифт поднимался на шестой этаж, Анатолий в уме проговаривал, прокручивал свой будущий разговор с куратором их факультета.

Они зашли в пустой номер, который Маслов открыл своим собственным ключом. Присели у стола. Номер был небольшой, одноместный, типичный. Узкая кровать, стол, пара стульев. Хотя снаружи гостиница выглядела помпезно, удивляла простота и даже советская примитивность внутри.

– Ну, что решили, Анатолий Николаевич? – спросил Маслов после обычных традиционных расспросов о здоровье, о доме.

– Да, я готов помочь комитету в этой работе, – заранее заготовленной фразой ответил ему Казаков.

– Вот и хорошо! Вот и хорошо! – как-то сам для себя сказал Маслов. – Тогда нам надо как-то оформить наши отношения.

– То есть? – удивился Казаков.

– Ну, понимаете, Анатолий Николаевич, это нужно для моего отчета перед начальством. Для этого надо, чтобы вы написали заявление примерно следующего содержания: «Я, такой-то, такой-то, берусь помогать в работе Комитету государственной безопасности. При этом обязуюсь не разглашать те сведения, которые станут мне известны в ходе сотрудничества». И соответствующую подпись. И еще вам надо придумать какой-то псевдоним.

«Во, как в кино про шпионов. Ну да ладно. Раз уж согласился с ними работать... Посмотрим, что он мне еще предложит».

– У вас ручка есть?

– Вот, пожалуйста, – Маслов протянул ему шариковую ручку. – Я могу помочь, продиктовать.

– Ну, давайте! А как подписаться?

– Каким-нибудь псевдонимом.

– Ну, давайте я назовусь Робертом...

Получив вожделенное заявление, Маслов аккуратно сложил его в папочку, с которой только что пришел.

– Никто никогда ничего не узнает. В нашей организации документы хранятся в строжайшем секрете. Только в сейфах и только на работе... Ну, раз мы договорились о сотрудничестве, то мне хотелось бы поговорить об одном деле, в котором бы я хотел, чтобы вы нам помогли разобраться. Дело, я бы сказал, щепетильное, но очень важное...

* * *

Трамвай, позванивая и гроыхая железными колесами, несет Анатолия по тихой улочке Москвы в сторону общежития. Поздняя осень. Ветерок, словно заправский дворник, гоняет по улице желтые листья. Туда-сюда. Но Казакову как-то не до красот. Мысли нудные, неприятные. И на душе как-то тошно. Беспокоит дело, которым предложил ему заняться Евгений Борисович. Само дело, в общем-то, несложное. Да это даже и не дело. А так, поручение. Но...

«И зачем я связался с ними? Учился бы себе да и учился. Сказал бы, что занят, первый курс. “Важно, важно”. А что важного-то?»

Дело в том, что Маслов попросил его познакомиться поближе с одной из студенток второго курса: «Есть сведения, что она поддерживает связь с одним иностранным гражданином. И как-то в кругу подружек хвасталась, что, мол, живет с ним. И собирается, закончив институт, выйти замуж и уехать из СССР. Их институт – учреждение серьезное. Готовит людей в основном для оборонных отраслей. Лекции читают известные ученые. В общем, надо разобраться».

С одной стороны, Казакову приятно, что его посвящают в тонкости. А вдруг он сейчас накроет шпионку или будущего предателя? С другой – уж больно не нравится ему этот подход. «Взяли бы и спросили у нее самой. Вызвали бы к декану. А то познакомься с ней, погуляй. Любовь-морковь. А сам в это время выпрашивай у нее, кто да что, что да как. Врать, будто нравится она мне».

Ничего в этом хорошего нет.

Прошло три дня. Однако Анатолий так нисколько и не продвинулся в выполнении задания. Он сходил под каким-то предлогом на второй курс. Посмотрел издали на эту Валю Толстую – красивую, томную, грудастую девушку с явно выраженными порочными вкусами в виде слишком, на его взгляд, обтягивающих джинсов. А в общем ничего. Отметил про себя, что она похожа на английскую королеву. Лицо красивое, слегка надменное. Но подойти не рискнул. С одной стороны, заробел, с другой – предлога не было. В общем, так и маялся все эти дни, пока Евгений Борисович не вызвал его на встречу.

На этот раз они договорились встретиться по всем законам конспирации. Порядок действий определился такой:

– Вы увидите меня в сквере у дома номер шесть по улице Кирпичной. Я буду там в семнадцать часов. Я встану с лавочки и пойду. Вы не здоровайтесь, а просто идите за мной следом до квартиры номер пять. Я

зайду, и вы, не звоня и не останавливаясь, просто открывайте двери и проходите.

Так и сделали. Анатолий с замиранием сердца вошел вслед за Масловым в подъезд, затем поднялся на этаж и потянул за ручку двери указанной квартиры. Дверь легко поддалась. И он оказался в тускло освещенной прихожей. Ничего особенного. Обычная прихожая обычного жилого дома. Евгений Борисович провел Казакова в какую-то боковую комнату.

Ничего особенного не было и в ней. Стол, два стула, диван, накрытый вышитой салфеткой телевизор в углу.

«Явочная квартира, – мелькнуло в голове у Казакова. – Такая же серенькая, как и сам хозяин. Ничего бросающегося в глаза».

Выполняя заданную программу, Маслов задал ему несколько вопросов об институте, о родителях. Наконец перешли к делу. Анатолий сказал, что еще не познакомился. Не нашел, мол, повода. А потом махнул рукой и честно рассказал о своих сомнениях:

– Как-то все это выглядит не очень порядочно. Обнимать ее, может, придется, целовать. И в это же время врать. Выспрашивать...

– Анатолий Николаевич! Не ожидал я от вас такого. Как вы не можете понять простые вещи? Например, такую. Сколько стоит обучение в вашем вузе? В какие деньги оно обходится государству? Не знаете? А я вам скажу. В пятьдесят тысяч рублей! И вот представьте себе, что наше государство учило, учило человека, а потом он посылает всех и уезжает за границу, не отработав вложенное в него. Это как? Государство должно думать об этой ситуации или нет? Как, по-вашему? Возьмем другую сторону. Ваш вуз, это не секрет, готовит специалистов для обороны. Компьютеры, область атомной энергетики. Предположим, что этот ее жених – на самом деле вовсе и не жених, а сотрудник одной из западных спецслужб. Со временем его пассия попадет на наш оборонный завод. И что же может в такой ситуации возникнуть? Если мы сейчас не пресечем эту связь, не разберемся, не примем превентивных мер, что ждет ее в будущем? Работа на западную разведку? Суд? Тюрьма?

– А может, у них нормальные человеческие отношения. И никакой он не агент!

– Так и я о чем говорю! Просто надо разобраться, в чем тут дело. Мы их посмотрим с разных сторон. И если все тут чисто, пускай любят. Хотя это не очень. Особенно для ее распределения...

Через пару дней он познакомился с Валей Толстой через одного общительного товарища. Был такой на курсе – Леня Дрочко. Весь живой,

полный энергии, обаятельный. Шевельнет усами, глянет горящими глазами – и девушка его. Живчик.

Они сидели в институтской библиотеке в тишине, когда Анатолий показал ему эту яркую девушку Валю Толстую и сказал, что она ему страшно нравится, но он боится с нею познакомиться.

– С Валентиной, что ли? Да я ее знаю как облупленную, – неожиданно заявил ему Леня. – Познакомились в кафе, где она сидела с одним иностранным ухарем. Он то ли американец, то ли бельгиец. Такой субъект! Тощий, все озирался. Боялся нас, что ли? Хрен его знает. Хочешь, я тебя познакомлю? Да хоть сейчас!

– Да как-то все странно! Я не знаю, – забормотал Казаков.

Леня уже не слушал. Быстро встал из-за стола. Перешел и присел рядом с Валентиной. Они о чем-то шептались. Через секунду оттуда послышалось хихиканье. Потом Дрочко обернулся к Анатолию, заговорщически подмигнул ему и кивнул головой: мол, иди сюда.

На ватных ногах Анатолий подошел к их столу. Леня подвинул третий стул.

– Садись! Вот мой друг, который без ума от тебя, Валюша, – фамильярно заметил Леня. Анатолий весь покрылся испариной и покраснел до кончиков ушей.

Валентина оценивающе посмотрела на него слегка прищуренным глазом.

«Ишь, какая московская щучка!» – подумал Казаков.

Уже через неделю он знал о Валюше Толстой почти все. Они вместе бродили по Москве. Частенько допоздна засиживались в библиотеке. Она охотно болтала с ним обо всем. Рассказывала интересные истории, случившиеся с преподами, доставала нужные ему книги. Показывала какие-то московские дворики и рассказывала, кто здесь жил. Но было в ней что-то, чего он никак не мог понять, что-то, что не позволяло им сблизиться до конца. С его стороны это была мысль о задании. Она делала его деревянным, когда дело доходило до настоящего человеческого сближения.

Что-то скрывала и она. Хотя иногда и прорывались какие-то словечки. Или выражения, которые показывали ему – она знает что-то большее, и у нее есть какая-то более высокая цель, чем у всех у них, студентов. Как-то они сидели на лавочке в институтском дворе.

– Валя! – по-дружески и заговорщически подмигнул он ей, глянув на ее красивую белую грудь. – Не пора ли нам с тобой куда-нибудь сходить? Давай на вечеринку. Колька Белов приглашает на день рождения.

Тем самым он как бы предлагал ей пойти на какие-то более близкие отношения. Действительно, сейчас они были просто приятельскими. Ну, встретятся, поговорят о том о сем. А тут вечеринка, выпивка, люди.

«Может, она как-то раскроется, что-то прояснит».

И потом, страдало самолюбие Казакова. Что ни говори, а он красивый парень. И ему обидно – неделю ходили туда-сюда, а толку чуть. Одним словом, заело. Вот он и решил рывком преодолеть разделяющее их расстояние. Но...

– Знаешь, Толик, ты хороший парень, и любая девушка пойдет с тобой хоть на край земли. Ты и мне нравишься. Но понимаешь, у меня есть человек... жених... Мы с ним давно встречаемся...

– Человек?! – якобы ошеломленный, Казаков уставился на нее. – Ну, так что же ты всегда одна? Ты не обманываешь? Если я... – у Казакова от волнения даже голос задрожал. В эту секунду он действительно верил в то, что говорил. Голос его осекся...

– Ну, он просто живет не здесь! Он как раз сегодня приезжает. И может быть, может быть... – у нее на ярко накрашенных губах появилась улыбка...

Ага, наконец-то подтвердила то, что говорил Маслов! Надо только уточнить, но не спугнуть ее.

– Он что, из другого города?

– Нет, он не из другого города. Он из другой страны! – торжествующе, с гордостью произнесла она. – Он из Америки...

Анатолий даже присвистнул.

– Из Америки? Ну, тогда конечно, где нам, серым лапотникам, тягаться с ковбоями.

– Он такой, такой необыкновенный. Сказал, что заберет меня отсюда.

– И давно вы встречаетесь?

– Уже больше года.

– Ну и ну!

«Держи карман шире! Он приезжает в Москву, выполняет задание, спит с тобой и рассказывает всякие басни. А ты сидишь тут и ждешь чего-то. Может, он и заберет тебя. Вот только с какой целью? А может, так и будет нести свою ахиною дальше. Как начальство скажет. Надо доложить Маслову, что да как».

Но Казакову неожиданно стало ее жалко. Такую умную, московскую, всезнающую, но все равно дурочку, готовую верить в какую-то сказку об иноземном принце. А с другой стороны, его ела какая-то древняя досада. «И что она здесь, в Советском Союзе, не могла найти себе парня? Мы уже

для нее не подходим? Да еще с такой гордостью... – обиженно думал он. – Тоже мне, фифа. Он американец!.. Как будто орден ей дали».

Но вслух Анатолий, конечно, ничего по этому поводу не сказал. Только разочарованно вздохнул и добавил:

– Конечно! Если у вас все так серьезно, то мне тут делать нечего. Моя касса не играет.

Они расстались молча. Анатолий знал, что больше ему не нужно встречаться: «Задание выполнено. Что еще? Ничего».

Маслов остался доволен.

А у Казакова все равно саднило на душе. Как-то все это было несерьезно: «Какая из нее шпионка? Соплюшка... И моя роль не слишком честная... Ну да раз так надо... Не нам решать. Впрочем, зачем ей тогда учиться? Как-то за страну обидно».

V

Она медленно забралась на крышу общежития. Только здесь Галина могла остаться одна. Остаться самой собой и наедине со своими мыслями.

Великая степь простиралась перед нею. Ей казалось, что сейчас, стоит ей только встать на край крыши и чуть-чуть напрячься, этот бескрайний манящий простор поглотит ее. И она улетит через это знойное марево прямо к солнцу.

Галина еще раз взгляделась в небо, в застывшего в синеве ястреба и подумала: «Как мы, люди, все усложняем. Своими страстями, необузданными желаниями».

А осень незаметно подкрадывается к степи. И уже заметна в пожухших травах, в колосющейся пшенице, в этой тишине, в кажущемся черной точкой всаднике.

Они в колхозе. Как всегда, осенью первокурсников направляют на сельхозработы, потому что считается, что в колхозах и совхозах, на целине не хватает рабочих рук во время уборки урожая. Местные приучены к тому, что рано или поздно из города приедут прикомандированные шоферы, студенты, комбайнеры и уберут урожай. А потому на грязную и тяжелую работу не соглашаются. Студенты работают на току, подбрасывают зерно на элеваторах, убирают картошку, подбирают за комбайнами кукурузу...

Вот и в этом году, как всегда, приехало сюда, в степь, человек сто. Разместили их кого в домах, кого в вагончиках, а большую часть – в цехе,

переоборудованном под общежитие. В нем сбили огромные, на весь пролет, нары. На эти нары студенческий молодой народ настелил тюфяков, одеял. На одной половине девчонки, на другой – мальчишки.

И пошла для них жизнь колхозная, замечательная. Ходили в клуб на индийские фильмы с дикими для русского уха названиями типа «Рам и Шам», «Зита и Гита». Целовались, сидя на скамеечках на автобусной остановке, а утром, сонные, быстро-быстро закутывали лица в белые платки так, что видны только глаза, садились в раздолбанный колхозный автобус и ехали на ток. А туда уже тянулись вереницами по разбитым полевым дорогам крытые брезентом грузовики с янтарным целинным зерном.

Мальчишки в общий режим жизни вносили свое. Ездили с местными, когда на мотоциклах, когда с зерновозами, в райцентр. Прикупали вино и водку. Вечером выпивали, гуляли с девчонками. Отдельная песня – колхозные праздники. Один из таких – день рождения. Тогда уже все стараются. Именинниц или именинников поздравить – святое дело. Ну и, соответственно, пригубить граммов по сто. Потанцевать под магнитофон.

Сегодня у нее тоже день рождения. И скоро она спустится туда, к новым студенческим друзьям. А сейчас надо побыть одной. Вот и спряталась сюда под солнечные лучи на теплую плоскую крышу. И смотрит вниз, где все готовятся к ужину, бегают, суетятся. Она заново перечитывает его горячее, полное какой-то невысказанной и высказанной горечи послание.

«Ну что он за человек? – думает она. – Куда торопится, горит? Ведь все еще только начинается. Что было там, в Жемчужном, может, сбудется, а может, нет. А нам еще надо жить. Учиться. Получить профессию. Как мои родители. Все должно быть правильно. А у него какой-то огонь. Все горит».

И что-то женское – древний, как мир, инстинкт – подсказывает ей, что придет пора. И человек именно тот, кто ей нужен.

А сейчас, сейчас надо им понять себя, понять друг друга. «И что за горячка такая? Даже страшно от этой горячности, от этой страстности. Только написала, что еще не знаю, что и как. А он уже все, прощай! Я только сказала правду, а он!».

Маленькая, худенькая Озерова сидит на краю крыши, спустив ноги, и наблюдает за тем, что происходит внизу. Пока она была с ним, все было понятно и просто. Но стоило им разъехаться, как сосущая тоска одиночества охватила ее. И именно эта тоска не давала покоя, заставляла раз за разом прокручивать все прошедшее.

А потом она сдала экзамены и оказалась в гуще новой большой жизни. Как будто ее охватил какой-то вихрь. Новые друзья, обстановка, преподаватели. Она зажила взмахом: все стало интересно, весело, здорово. Это жизнь, а не дрема да скука. И ей стало казаться, будто все, что было тогда, прошедшим летом, стало не таким важным. Как-то потускнело и кануло безвозвратно. Пришло сомнение: а все ли идет так, как положено, по правилам?

«Но что же делать, что ответить ему? Или совсем ничего не отвечать?»

Она потихоньку спустилась вниз с крыши. И сразу попала в объятия. Длинный, как жердь, студент третьего курса Леша Макинтоша обнял ее, приподнял и воскликнул:

– Вот она, наша именинница!

Все подходили, обнимали, как родные. А потом поднесли ей большую, просто огромную куклу, одетую по самой последней моде. Она открывала и закрывала глаза и хорошо выговаривала: «Ма-ма».

Последним подошел руководитель их курса на сельхозработках, молодой преподаватель Аполлон Григорьевич Заурский.

– Галочка, Галочка! – медленно и протяжно проговорил он. – Вы так прекрасны своей юной красотой, что я нарочно для вас написал эти цветы! – и протянул ей перевязанную бантом картину...

Ей стало легко-легко. Как будто не было этого трудного дня на току, жары, сухости степи... Долгих мучительных раздумий. Эх, хорошо быть молодым, счастливым! Когда все впереди, когда сладко спится под стрекот сверчков, когда звезды большие-пребольшие.

Вечером она написала Шурке ответ:

«Здравствуй!

Я не ожидала, что ты это примешь так близко к сердцу. Зачем ты так?

Ты думаешь, девушке легко признаться в своем чувстве в таком возрасте? Она этого не сможет сделать.

Нужно бороться за свою любовь. А ты... Я ничего особенного не написала, а ты уже и отвернулся. Разве так поступают настоящие мужчины?

Думай!

Для любви нужны годы.

Ты написал хорошее, что смог.

Спасибо.

А я не могу.

Ты не прав.

Не надо делать поспешные выводы...».

VI

И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: «Вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножился, иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями и вооружится против нас, и выйдет из земли».

И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуляли его тяжелыми работами... и делали жизнь их горькою от тяжелой работы над глиною и кирпичами и от всякой работы полевой, от всякой работы, к которой принуждали и с жестокостью...

*Библия. Ветхий Завет. Вторая книга
Моисея. Исход. Гл. 1*

– Ну что, студент, принес фотографию?

– Принес!

– О, смотри, неплохо, молодец! Чем снимал-то?

– «Зенитом»!

– Как, говоришь, твое фамилие?

– Франк. Андрей Франк.

– Так это о тебе говорил мне мой брудер, что ты готовый мастер фотографических наук? Как он там в вашей деревне себя чувствует? Товарищ Оберман. Памятники все строит? Картины рисует?

– Да, работает у нас в школе. Труд ведет, рисование. Недавно памятник героям войны взялся делать...

– Да ты садись! Пиво пьешь?

– ??

– Сам еще не знаешь, пьешь или нет. Ну, кружечку наверняка протащишь!

Лео Вайдман, краснолицый пузатый немец, подвинул к Андрею кружку с гранеными боками и снова углубился в разделку «маринки», как называли здесь сушеную рыбу из Балхаша.

Не очень чистая пивная на окраине Целинограда, кисловатое пиво,

клубы дыма, мужики, стоящие в очереди к крану. За стойкой золотозубый, черный, как грач, кавказец, наверняка разбавляющий пиво водой и добавляющий в него соду, чтобы «пена стояла».

Обычная общепитовская точка, каких сотни тысяч понатыкано по нашей необъятной стране. Здесь Андрей Франк и встретился со знаменитым фоторепортером казахстанской немецкой газеты «Freundschaft» Лео Вайдманом.

Лео Вайдман – достаточно известный фотокор в своей среде. Не было такой газеты в Казахстане, в которой бы не печатались его снимки. Работал он конвейерным методом. Утром выезжал в какой-нибудь район и снимал там все, что попадало под руку: знатных чабанов, комбайнеров, шоферов, элеваторы, зерносушилки, тока – в общем, все, что могло представить хоть какой-то интерес для газет. После обеда возвращался из района и начинал печатать фотографии. Запирался в лаборатории и колдовал при красном свете фонаря до самого вечера. Тонкое знание конъюнктуры советских газет помогало ему продать им все без остатка. Знатные чабаны уходили в «Сельскую жизнь», водителей автопоездов потреблял «Труд» или «Автомобильный транспорт». Не оставалась в стороне и «Красная звезда». Да сколько было по стране газет, журналов, всякого рода ведомственных изданий, в которые за гонорар можно было приткнуть уйму фотографий!

«Халтура», – четко определял Лео то, чем сам занимался сейчас. Зарабатывал он много. Но пропивал почти все. Естественно, бывая в дальних районах, он как истинный представитель неугомонного племени фотокоров частенько привозил из совхозов то тушку барашка, то мешок крупы, то бидончик меда. «Добытчик», – говорила его жена и прощала постоянные разъезды, ежедневную нетрезвость, каких-то замызганных девчонок, коих она периодически заставляла в его лаборатории. Подвижный и живой Лео легко носил по жизни свое огромное, туго перепоясанное тонким брючным ремнем пузо. И смело пускался в рассуждения о самых тонких материях только потому, что по роду своей деятельности встречался с самыми разнообразными людьми. В общем, Лео Вайдман был самым натуральным фотографом из тех тысяч, что беззаветно служили в советской прессе. От него так и перло нахальством и самоуверенностью, без которых в его профессии делать нечего.

Вот к этому мастеру и посоветовал обратиться Андрею Франку учитель труда и рисования из Жемчужного. Лео приходился ему каким-то дальним родственником. И когда Андрей поступил этой осенью в целиноградский пединститут, Оберман, зная о его увлечении фотографией, посоветовал познакомиться с Лео и даже дал телефон.

Прошло всего два месяца, как Андрей посещал лекции в пединституте, но он уже понял, что ни коим образом не хочет быть учителем. Его манило фотодело. Так они и встретились в пивной на окраине Целинограда – старый халтурщик и молодой начинающий фотограф. Уже через полчаса они стояли за стойкой как старые, давние друзья. Андрей прихлебывал из кружки кислое пиво и показывал Лео свои пейзажные снимки. И хотя Лео был халтурщиком, он с первой минуты понял, что перед ним талант. Этот чистенький, тоненький, гибкий мальчик с живым треугольным личиком и быстрыми печальными глазами как-то приглянулся ему сразу. И Лео захотелось опекать его в работе. Он хоть и величал себя «самым главным фотографом Целинограда», прекрасно понимал, что на самом деле он всего-навсего ремесленник, который никогда не поднимется до уровня московских журналов, а уж тем более персональных выставок. И как Лео себя ни позиционировал, сколько он ни шумел, это понимание ело его изнутри, заставляло еще яростнее рассказывать о собственном величии, доказывать свое первенство.

– Ну, в общем, твои работы для газет не подходят, – начал он поучать Андрея. – Газетам нужно производство. Живые люди, передовики, а не пейзажи, солнце и прочее. Да и обрезал ты их как-то не по-людски.

– Я нормально обрезал, – робко возражал ему Андрей.

Но Лео уже разворачивался в поучительстве:

– А зернистость какая у тебя, посмотри! Для газеты это вообще неприемлемо. Не пропечатал.

В общем, Лео так раскритиковал фотографии Андрея, что тот, открытая душа, чувствовал себя едва ли не тупицей, бездарью и вообще человеком, севшим не в свои сани. Через час даже толстокожий Вайдман заметил, что переборщил, и милостиво предложил Андрею:

– Ну, вот эту, вот эту и вот эту девочку я, пожалуй, возьму. Постараюсь пристроить, хотя ничего обещать не буду.

Андрей выдохнул:

– Спасибо!

– Ты, вообще-то, не переживай так. Если хочешь, будем вместе работать. Зарабатывать. Ты же студент. Приходи завтра ко мне в лабораторию...

VII

Он аккуратно сложил в корыто помятые ведра, лопаты, мастерки. Застропил, как учили, крюки изнутри. И собрался было подняться пешком на девятый этаж строящегося панельного дома.

– Эй! – высунувшись сверху из кабины подъемного крана, крикнула ему крановщица Валентина. – Садись в корыто, прокачу на крышу!

Дубравин знал, что катание на подъемном кране строжайше запрещено правилами техники безопасности. Да и Валентина не из тех девушек, которые просто так, от нечего делать, будут нарушать эти самые правила. Можно получить не только втык от бригадира, но и лишиться премии. За этим приглашением что-то было...

Он просто не знал, что в бригаде, где он сейчас проходил производственную практику, катание в корыте было традицией при принятии новичков в коллектив...

С минуту он колебался. И честно говоря, пролететь в корыте над домами, над Алма-Атой, с одной стороны, было заманчиво, а с другой – жутковато.

– Ну что ты? – крикнул сверху ему звеньевой на монтаже дядя Федя. – Садись!

И Шурка решительно шагнул в бадью. Сел. Легкий толчок, натянулись стропы. Он, словно птица, взлетел вверх. Мелькнули мимо окна этажей. Далеко внизу остались чуть припорошенные снегом крыши частных домишек, окруженные деревьями и кустарниками.

Стало страшно и почему-то весело. Он вцепился побелевшими пальцами в края растворного корыта, оглянулся и одним взглядом охватил весь город. В это мгновение Алма-Ата впечаталась в его сознание, его жизнь, его судьбу. Сам того не ведая, он навсегда полюбил этот город, бесспорно и по праву считающийся красивейшим в Казахстане и Средней Азии. Он смотрел на него сверху и видел справа зеленые холмы, вздымающиеся, словно гигантские волны, а еще выше – величественные заснеженные пики Алатау. Смотрел влево в море, дымное от бесчисленных печных труб, и видел, как город уходит от гор куда-то вдаль. И там теряется, растворяется в далекой-далекой дикой степи. Он видел прямые улицы, обсаженные тополями. И понимал, что город строился не так, как обычные азиатские города.

Когда-то, в конце прошлого века, пришли сюда русские казаки и

заложили крепость, назвав ее Верный.

Казахи, которые из своих аулов приезжали в этот город на базар, увидев в нем гигантское количество яблонь, звали город Алма-Ата, что значило «отец яблочек».

Ну а после революции, в тридцатые годы, коммунисты в угоду проводившейся тогда национальной политике переименовали казачий форпост Верный. Этой участи не избежали тогда многие тысячи городов. Киргизский Пишпек стал городом Фрунзе, Екатеринбург – Свердловском, Петербург – Ленинградом, Царицын – Сталинградом. Но так как никакие «выдающиеся» революционеры в Верном не объявлялись, то большевики пошли по другому пути. Они в отместку казакам назвали этот город так, как называли его «кайсаки» – Алма-Ата.

А зеленой она была вот почему. Еще царский губернатор издал указ: «Если кто едет на базар из близлежащих сел, то он должен привезти в город пять саженцев». Эти саженцы были пропуском для торговли на рынке Верного. Поэтому и сегодня, если приглядеться, видно, что все улицы города были засажены тополями по пять штук подряд.

«Знал бы губернатор, что от тополиного пуха в двадцатом веке люди будут так страдать. Небось засадил бы улицы чем другим», – подумал Саша Дубравин, планируя над усохшей верхушкой гигантского тополя в растворном корыте и подлетая к балкону девятого этажа экспериментального дома.

Алма-Ата находится в сейсмической зоне, и поэтому раньше здесь дома выше двух-трех этажей никогда не строили. Боялись. Но в шестидесятые годы, когда возникло панельное домостроение, дававшее возможность собрать жилой дом в девять этажей за месяц-два, решили рискнуть. Много возились с проектами. Проводили испытания. И вот теперь, как бы ни было сложно, строили. Даже девятиэтажки... Целыми микрорайонами.

Бадья глухо стучается днищем об пол девятого этажа, звякают ослабшие крючья. Он приподнимается на ослабших ногах, встает. И оказывается прямо в центре их монтажной бригады. Во главе стоит маленький седой звеньевой – дядя Федя. Рядом его помощник – монтажник пятого разряда крепкий, спортивный молодой кореец Валерка Ким. Тут же в своей негнувшейся робе и похожей на рыцарский шлем маске сварной Зарубин. Рядом могучий бетонщик – татарин Наиль. И звено, которое замазывает места сварки раствором. Оно состоит из трех человек: это Маруся – жена Наиля, здоровенная баба – и две подружки-хохлушки. Две черноволосые, белолицые девчонки с Украины, приехавшие попытать счастья в Алма-Ату.

Сашку торжественно выводят из корыта. Дядя Федя подает ему короткий монтажный ломик. Все хлопают в ладоши. Это означает, что бригада принимает его в коллектив.

Такой небольшой местный обряд. Минутное дело!

Дубравин пожимает всем окружающим руки. И народ расходится по рабочим местам.

После смены он еще должен проставиться, или – по-другому – прописаться в бригаде, – купить народу выпивку и закуску.

Так начинается его практика на стройке.

Вообще, за все то время, что он в Алма-Ате, Дубравин только сейчас начинает интересоваться окружающим его миром. А так было не до него. Потому что он весь в своей любви.

Месяц тому назад он получил от Галины «черную метку» в виде письма и не находил себе места. Метался. Наконец купил билет на занятые у сестры деньги. Сел в голубой автобус-экспресс, идущий до аэропорта. И полетел к ней, в Усть-Каменогорск. Домой.

Ему казалось, все эти размолвки, непонимание, холодность с ее стороны – только от того, что они давно не виделись, не были вместе. Встретятся они, и все станет как было. И вот он преодолел две тысячи километров одним махом.

И что же?

Первое, что потрясло Шурку, – это то, как изменилось Жемчужное. Прошло так немного времени. Все вроде на месте: дома, улицы, школа, люди. Но все чужое. Почему? А потому что исчез тот мир, в котором он жил. Мир класса, мир его друзей. Исчезла аура. Осталась пустота. Это был удар. Пока он сидел где-то далеко, ему казалось, что настоящая жизнь происходит здесь, в Жемчужном, что он просто в силу обстоятельств вырван из нее. А оказалось, что их рай исчез. Их мир исчез. Он, как Атлантида, погрузился в небытие.

Второй удар был связан уже с ней. Каковы же были его недоумение, разочарование, горечь, когда он прождал ее на мостике весь вечер, а она так и не появилась. Уже в темноте он пришел к ее дому и еще, наверное, с час вглядывался в зашторенные окна: «Получила ли она мое письмо? Или же не получила? А если не хочет приехать? Или не может?».

Так, в мучениях прошла пятница, потом суббота. Оставался последний день. Воскресенье. Дубравин понял, что не появилась она неслучайно. И почти смирился с судьбой. Уже ни на что не надеясь, пошел вечером в кино. И – о чудо! Возвращаясь домой после фильма, неожиданно, да так, что совсем опешил, натолкнулся на Галину, которая шагала вместе с

младшей сестрой. Увидел ее, и сердце упало куда-то в пятки. Забилося. В этот миг она показалась ему такой же далекой и недосыгаемой, как тогда, когда они еще ходили в школу. Он даже растерялся. Сто раз в день представлял, как они встретятся, что скажут. И когда встреча произошла, ничего сказать не может.

– Здравствуй, – спокойно ответила она на его приветствие, потом повернулась к сестре: – Таня, ты иди домой. Нам надо поговорить.

Таня, послушная девочка, кивнула головой и тихо пошла по аллейке.

– Ну, что скажешь? – спросила она и оглядела его своими огромными глазами. Ее «примороженный» тон остановил все мысли Дубравина. Он хотел обнять, поцеловать ее. И не мог решиться. Его пыл, горячность показались ему совершенно неуместными в это мгновение.

Он не без юмора рассказал ей о том, как отпросился с занятий и с работы, как мчался к ней, «словно вихрь черный», и понял: «Не надо»...

Разговор завертелся о том, о сем. Как будто не было тогда этих летних двух недель. Не было романа в письмах.

Чужие, они дошли до ее дома. Остановились. Чувствуя, что сейчас она уйдет, а он так и останется с этим ужасным вопросом, он, пересиливая себя, вел этот ненужный ему разговор и в то же время лихорадочно искал возможность спросить о главном.

И пока она что-то спокойно рассказывала о КВН, он внезапно спросил:

– Может, мне и не надо было приезжать?

И вдруг почувствовал, как его жизнь, его судьба встали всем весом на этот вопрос. Она же как-то странно ответила:

– Саша, понимаешь, я думала, что все будет по-другому. Мы же договорились тогда, что встретимся через год... А сейчас прошло всего ничего. И вообще, – вздохнула она, – ничего мне самой не понятно... – но, увидев, как меняется его лицо, как в темноте начинает известково белеть и как будто светиться, она мягко перевела разговор в другое русло: – Слушай, я никак не пойму, чем ты больше занимаешься сейчас? Ходишь на занятия, работаешь на строительстве, увлекаешься спортом? Что главнее?

– Знаешь, Галь, уже поздно. Да и холодно, – ответил он. Ему страшно не хотелось больше ни о чем говорить. Навалилась какая-то первобытная тоска и усталость. Ничего уже не важно. Он несся сюда, рвался, занимал деньги у сестры, а она: «Мы же договорились через год...»

И вот уже это осталось в прошлом. Сейчас, стоя на девятом этаже строящегося здания с монтажным ломиком в руках, он вспоминал встречу с Галиной и вздыхал. Кончилось тогда все тем, что он холодно

попрощался, повернулся, прошел несколько шагов, а потом... побежал от ее дома.

Он бежал, задыхаясь от горького комка в горле, который все стремился вырваться наружу рыданием...

Хреново ему было. Как-то он даже попросил у Витьки Палахова пистолет...

Воспоминания прервал командный голос дяди Федора:

– Эй, стропаль, Сашка! Подавай два пээс!

Дубравин очнулся, оглянулся по сторонам, увидел, что внизу уже стоит огромный трейлер. И мигом скатился вниз, где шофер, чертыхаясь, пытался снять с «седла» прицеп с панелями.

Саша помог ему вкрутить опоры. МАЗ освободился от тяжести груженного панелями прицепа, с грохотом зацепил пустой и уехал с площади. А Дубравин залез наверх, зацепил специальными крюками панель, пронумерованную как 2ПС, подал команду крановщице Валентине:

– Вира! Вира помалу! Еще! Еще!

Панель поплыла вверх. Слегка перевалился на бок прицеп, освободившийся от гигантской тяжести.

«Наверное, я недостаточно хорош для нее. Кто я? Пэтэушник с неясной судьбой. Работяга. Вот поступлю в военное училище, стану мастером спорта по дзюдо, небось тогда по-другому она на меня смотреть будет. Надо заниматься собой. А то я совсем запустился. Самоусовершенствование – какое длинное слово. Вот пусть оно и определяет смысл моей нынешней жизни. И у меня будет меньше времени, чтобы сходить с ума...»

– Давай наверх! Поможешь поставить! – кричит звеньева.

И он уже несется по ступенькам. Так и идут часы – вверх, вниз, вира, майна.

Ни капельки не дрогнула Земля.
Деревья даже не пошелохнулись.
Вели беседу ты и я,
Вели, как будто бы проснулись.
Сказала мне спокойно ты совсем,
Что нынче КВН так интересен
И что пора нам спать...
Затем и я задал вопрос
Обычный, как из песен...

На этот глупенький вопрос

Моя судьба всем весом встала.
Напрасно ожидал ответ,
Ты только ясно промолчала...

VIII

Уже две недели, как он через день приезжает сюда, в предгорье на окраину Алма-Аты, в секцию борьбы дзюдо. Витька Палахов пистолета тогда ему не дал. Просто внимательно посмотрел на него своими голубыми глазами и предложил вместе заниматься спортом. Когда он в первый раз привел его сюда, то тренер – невысокий, по-восточному полный черноволосый уйгур Малик Сайдуллаевич – тоже внимательно посмотрел ему в глаза снизу вверх и сказал:

– Ты, наверное, вешишь килограммов восемьдесят. Значит, сможешь выступать в категории свыше семидесяти восьми килограммов. Борцов такого веса, особенно среди юношей, немного. Поэтому особой конкуренции не будет. И хотя мы уже в этом году набрали секцию, тебя я возьму. Приходи завтра на занятия...

Так он оказался в полуподвале большого общежития, где были расположены раздевалка, душ, маленький кабинет тренера и собственно борцовский зал – застеленная матами комната.

Оказалось, что в Жемчужном они все делали верно. Здесь тоже все начиналось с разминки. Потом шла отработка приемов и силовые упражнения.

Но сегодня после разминки Малик Сайдуллаевич захлопал в ладоши:

– Перерыв!

Все расселись на ковре. А он начал вводный рассказ:

– «Дзюдо» в переводе с японского значит «гибкий путь». Однажды создатель этого вида спорта Великий учитель сидел в саду и медитировал, наблюдая за тем, как падают на деревья снежинки. Целый день шел снег. Под его тяжестью ветви деревьев гнулись прямо к земле. И вот не выдержала сначала одна яблоня. Треск. И она сломалась. Потом другая. А вот сосна гнулась, гнулась – и вдруг распрямилась и сбросила с себя снежный ком. «Поддаться, чтобы победить», – подумал учитель. И поспешил в дом, чтобы там на досуге осмыслить увиденное. Так он начал свой путь к созданию собственной системы борьбы...

Сашка, как зачарованный, слушал этот рассказ. Ему чудесными казались и сами слова о далекой Японии, где зародился этот вид спорта, и

названия приемов, и команды... Особенно нравилось кимоно, за которое он отдал все свои деньги, подаренные родителями. Ах, если бы видела его Галка, когда он вот так, надев белоснежное кимоно, выходит на середину татами и...

Его мечтания прервал Малик Сайдуллаевич:

– Сегодня мы попробуем поработать так, как нам придется работать на соревнованиях. Бороться будем по олимпийской системе. Проигравший выбывает. Итак, на ковер вызывается первая пара – Шахназаров и Петров...

Закружился боевой танец. Дубравин внимательно смотрел, как два бойца прощупывали в первые секунды схватки друг друга. Он даже не успевал следить за тем, как мелькали их руки, захватывая то рукав, то отворот куртки, нащупывая слабое место противника. Каскад приемов. Подсечка, подхват, еще подсечка. Оба уже красные, разгоряченные. Полы кимоно давно выбились из-за поясов. Оба тяжело дышали. Нашла коса на камень. Рывок. Еще рывок. Покатились по татами.

– Вазари! – крикнул Сайдуллаевич. – Два очка борцу с зеленым поясом.

Наконец он остановил схватку. Потом долго разглядывал сидящих борцов. Чешет стриженный затылок. И наконец вызвал следующую пару – Дубравина и Мамонтова. Сашка от неожиданности опешил. Его соперник Рафик Мамонтов отличался от других борцов тем, что у него всегда прекрасное кимоно – беленькое, чистенькое, модное. Кроме того, у него на ногах щитки, в паху специальная защитная штука. Занимается он давно, года три. Поэтому в первый момент Дубравин испугался. Но быстро справился с собой. Встал. Вышел на край ковра.

Напротив него поднялся Рафик. Они поклонились друг другу и приготовились к схватке.

– Хаджиме! – подал команду тренер, и Дубравин шагнул вперед. Рафик, наоборот, отступил. Неожиданно захватил его рукав. Резко подвернулся, подсел, но... Понимая, что сейчас он полетит через спину, Дубравин напрягся и присел. И – о чудо! Рафик не смог дотянуть его и сам завалился назад. Его коронный прием, который он отрабатывал много-много месяцев, не удался...

Раз за разом он пытался провести прием. То его нога обвивала ногу Дубравина, то он тянул его на бросок через бедро. Но ничего не получалось. Через несколько минут такой возни Дубравин понял, что Рафику просто не хватает силы и жесткости, чтобы довести прием до конца. И если первые секунды схватки он еще робел и никак не мог использовать выгодные моменты, то сейчас, заметив, что партнер его

выдыхается в бесплодных атаках, он осмелел и пошел в наступление.

Их состязание стало похоже на борьбу ветра с дубом. Рафик, как ветер, налетал на Дубравина, гнул его, обходил с разных сторон, а тот упорно стоял, отбрасывая его.

Наконец новичок, видя, что его противник совсем вымотался, сам попытался провести бросок через плечо. Конечно, все это выглядело коряво, не очень красиво и не очень быстро.

Но все равно Рафик, как большая лягушка, шмякнулся на ковер. Раздались жидкие аплодисменты. Дубравин неловко навалился на противника, проводя удержание.

Малик Сайдуллаевич досчитал до десяти и объявил:

– Победу удержанием одержал борец с синим поясом Александр Дубравин.

Рафик вскочил и ринулся в раздевалку. Счастливый Сашка побрел в свой угол. К нему тут же подскочил еще один новичок – Костя Петров:

– Ну, ты молоток! Ну, ты даешь! Такого зубра завалил! Ты раньше-то занимался?

С другого бока завистливо глядя на него, всего мокрого, распаренного, Витька Палахов подначивал:

– А чо ты так сопел? Как бык! Я смотрел, ты прямо как столб стоял... Что не дожимал, на удушение не пошел?

Видно сразу: он завидует и хочет уязвить Дубравина. Но Сашка счастлив. Еще шире от гордости расправились его плечи, когда он случайно услышал разговор Малика Сайдуллаевича в раздевалке со своим помощником:

– Рафик обиделся, Малик! Сказал, что уйдет от тебя. Ты, мол, неправильно поставил его в спарринг с мальчишкой-новичком... При всех, – сказал выходящий из душа помощник.

– Михаил, он занимается здесь четвертый год. А результата нет! Ну не его это дело. Может, ему не надо ходить? Только время тратить. Не выполнит он на кандидата. Такие, как Рафик, ходят, ходят, ходят, а результата нет. Только место занимают. А меня интересуют те, кто может дать результат. Те, кто может участвовать в соревнованиях. Принести очки. Выступить за команду. Поэтому Дубравин через пару месяцев уже заменит его. По всему видно: парень упертый, а главное – сильный. Видал, какой характер? Боец... Надо его перевести тренироваться от новичков в старшую группу.

* * *

Дома вечером он вытащил из почтового ящика неожиданное письмо. Витиевато-острый почерк Крыловой.

Надо же! Не поленилась, нашла его адрес. И обиду свою забыла. Он ведь тогда, в тот выпускной вечер, ушел с Галкой. А она осталась, хотя, видимо, надеялась на что-то. Надежда умирает последней? И именно сейчас написала, когда у них с Галиной вот такая история. То ли разошлись, то ли нет. Он и сам не поймет. Так что же она пишет-то?

«Саша, здравствуй!

Сейчас идет урок бухучета, и я, конечно, не слушаю. Вот пишу тебе письмо. Ты, наверное, задаешь себе вопрос: обижаюсь ли я? Нет, Саша, я уже не обижаюсь. Я успокаиваю себя тем, что это так надо. Надо! Но для чего надо, еще не поняла.

Что было в школе, конечно, прошло. И об этом не стоит говорить сейчас. Ведь все равно и там была только ложь.

Я это знаю, знала и раньше. Только мне почему-то было хорошо. Но это хорошее ушло безвозвратно. А вернуть его не хочу, не могу, не имею права. Да и зачем?

Сашка, ты можешь теперь ответить на один вопрос?

Зачем ты мне лгал? Ведь ты же видел, что не верила я. Тебе было от этого хоть немного хорошо? Впрочем, это все впустую. Сашка, напиши, было тебе хоть раз со мной хорошо? Пусть этот вопрос тебя не смешит. Я хочу знать. Еще: правда, стихи ты писал не мне?

Я знаю Галку. Она неплохая. В нее свободно влюбляются. Но она не для тебя. Она тебя недостойна. Ты ее любишь? Любил? Мне кажется, это не любовь. Ты поймешь позже.

Эти месяцы я заставляла себя молчать. Заставляла, потому что боялась написать одну «глупость». Понимаешь, Сашка, боялась. Ты ведь знаешь, что я не способна забывать. И не надо оставлять нас прошлому. Забери нас и все лучшее у времени и помни. Помни, Сашенька. Помни: самое хорошее, что у меня было, – это ты. И мне всегда не будет хватать тебя, Сашка.

До свидания! Или прощай! Как хочешь.

Людка».

Дубравин остановился у двери. Дочитал письмо. Крылова всегда была такая резкая, порывистая. Бросалась из одной крайности в другую. Но это неожиданное письмо в самый дух ударило. Он поразился ее горю и тому чувству одиночества, которое ощутил в этом послании. Настолько сильное, что он подумал: «Надо ей ответить! Ведь это же она, Людка. Ласковая, нежная, желанная. Звезды, небо, тепло. Самые острые первые ощущения,

руки, губы, бедра. Да и все равно мы теперь оба в одинаковом положении. Оба нелюбимые. Вот как я тогда с ней обошелся, так и Галка со мною обошлась. Ох, лучше уж об этом не думать. А вообще, как интересно: только мы с Галкой разошлись, как она тут как тут. Хотя, впрочем, что это я? Глупость. Просто так совпало. Какие уж тут умыслы. Напишу ей завтра. Все-таки подруга».

IX

– Люда! Людочка! На сцену! – прошептала, заглядывая за кулисы, Вера Ивановна, преподавательница бухучета и попутно вдохновитель всей техникумовской самодеятельности.

Крылова потрянула головой и с ослепительной улыбкой шагнула вперед, готовая сию же минуту произнести свою коронную пиратскую реплику.

Увидев ее, зал восторженно загудел. Особенно старались немногочисленные мальчишки, которые в их девичьем финансовом техникуме считались привилегированной кастой.

Поглядеть, и правда, было на что. Их команда КВН – «Пираты». Поэтому Крылова одета в тельняшку до колен и трико. На талии ремень с кинжалом. На ногах сапоги, вывернутые внутренней, белой, стороной наружу. Голова повязана платком. На руках татуировка «Люблю господоходы!». Ну и, естественно, к девичьим щекам приклеена испанская борода с усами.

– Кто хочет здесь урезать господоходы? – страшным голосом обращается она к залу.

Живая, задорная, полная энергии и жизни красавица с тонюсенькой талией, любимица преподавателей, Крылова легко вписалась в монастырские порядки финансового техникума, в который она поступила по настоянию матери. Однако, глядя на этого веселого пирата, никто из окружающих и не догадывался, какие бури и штормы бушевали в глубине его души.

А началось все не так с выпускного вечера, когда она, по ее разумению, должна была потрясти Дубравина своей новой красотой. И завладеть им...

Тогда она пришла домой под утро, швырнула на пол белые туфли, платье. И свалилась лицом вниз на койку. Ее просто трясла и душила ярость. Сжатые челюсти, комок в горле: «Ненавижу! Ненавижу его. Гад! Мерзавец! Лжец! Я к нему и так и сяк. А он. А он... У-у-у! Галка тоже хороша. Мерзавка! Гадина! Она знала, как нам было хорошо вместе. Это

она виновата. Тихоня! Прилипла. Как же, ей интересно! Ей интересно, а моя жизнь разбита. Ну, погоди! Я с тобой рассчитаюсь. Называется подруга. Вот они какие, эти подруги!».

Как все-таки тонко устроен человек. Людка ни секунды не ставила себе в вину любовные письма, которые она получала из армии. С них, а точнее, с уязвленного Шуркиного самолюбия «запасного», начался разлад. Но все забыто...

Прошло время. Она слегка успокоилась и стала считать ошибкой то, что он ушел с Галкой: «Он просто не понимает, где его счастье. Со мной!».

С тем и уехала из Жемчужного поступать в свой финансовый техникум. Жизнелюбивая и настойчивая от природы, психологически гибкая, как дикая кошка, она сумела встать на ноги после такого удара. Тем более что преподаватели и студенты – все отдавали должное ее красоте. А она словно купалась, таяла от этих откровенных взглядов, приглашений, шуточек.

Таяла и боялась их одновременно.

«Все они одинаковые, все хотят одного», – часто повторяла дома ее мамочка, красивая, постоянно молодящаяся дамочка неопределенного возраста. И Людочка, еще не имея собственного опыта, инстинктивно боялась оказаться «игрушкой» в руках «мужиков».

«Я никогда не буду такой, как мама. У меня будет другая судьба. У меня будет настоящая семья. А не какие-то приходящие дяди Володи, дяди Пети, – говорила она себе. – Надо только быть потоньше, похитрее. И все будет хорошо».

Она так и поступала. Но упрямая жизненная логика опрокидывала все ее расчеты. Этот широкоплечий, здоровенный, круглолицый парень словно чем-то приворожил ее. И теперь надо было только поймать его. А он никак не давался.

В итоге она чувствовала себя жертвой. И ничего не могла с этим поделать.

«Надо бороться, – твердила Людка каждое утро. – Но как вернуть его? Только хитростью. В первую очередь надо понять, что там у них происходит. А это можно сделать только через Галинку. Через подругу. Значит, надо снова наладить отношения. Тем более что ей хватило ума не доводить дело до открытой ссоры».

Сначала Крыловой казалось трудным не сорваться. Однако ничего не произошло. О женщины, названье вам – коварство!

Она как-то легко и свободно снова вошла в контакт с Озеровой. Да и учились они в одном городе – Усть-Каменогорске. Они так весело болтали, вспоминали школьных друзей, что Галинка в простоте душевной и

заподозрить не могла, как ее лучшая, близкая подруга чутко прислушивается ко всем нюансам их отношений. Не хуже какого-нибудь психоаналитика читает ее роман и, как искушенная интриганка, просчитывает ходы, скрывая веселой шуточкой-прибауточкой холодный и беспощадный женский расчет.

«Собака на сене!» – определила для себя ситуацию Людка, когда их отношения покрылись ледком. И сразу же поторопилась вымолвить свое отчаянное слово.

Важно было, чтобы он ответил. Хоть что-нибудь.

И он ответил...

Х

«Видно, что военные не бедствуют. Ишь, какой домишко себе отгрохали!» – думал Дубравин, входя во двор Калининского районного комиссариата города Алма-Аты. Как строитель, он с первого взгляда оценил серое здание военкомата. И сразу почувствовал, что пришел в могучую, может быть, самую мощную в Советском Союзе организацию. Министерство обороны. Ах, как хотелось бы ему стать здесь своим! Стать частью этой силы и мощи великой державы. Ее гордостью.

– Здравствуйте! Я по поводу поступления в военное училище, – наклонившись к окошку на первом этаже, робко обратился он к дежурному по военкомату – длинноносому унылому майору с красной повязкой на рукаве мундира.

– Это тебе, воин, в шестнадцатый кабинет! – не отрываясь от книги, хмуро буркнул тот в ответ. – На втором этаже.

«Не очень-то приветливые они тут, – подумал Сашка, поднимаясь по бетонной, но покрашенной под красную дорожку лестнице. – Ни здравствуйте, ни до свидания. Буркнул – и все». Ему казалось, что он пришел сюда с важным, значительным делом. И поэтому к нему должны проявить определенное внимание. На втором этаже в кабинете под номером шестнадцать, куда он заглянул, никого не было. Пройдясь пару раз по длинному коридору с рядом дверей, он наконец рискнул заглянуть в соседнюю комнату, где раздавались чей-то громкий говор и девичий смех.

В кабинете у окна за столом с пишущей машинкой сидела молоденькая конопатая девчушка в зеленой форменной рубашке с погончиками сержанта. Возле стола на диване пристроился молодой усатый старлей с розовым шрамом на щеке. По их оживленным лицам было видно: они тут

весело проводят время. И Дубравин – им явная помеха.

– Извините! – пробормотал он. – А шестнадцатый кабинет сегодня работает?

– Тебе чего? – со вздохом поднимаясь с диванчика и одергивая такую же, как у девушки, зеленую форменную рубашку, только с другими погонами, спросил старший лейтенант.

– Мне бы насчет поступления в военное училище узнать! – виновато ответил Сашка.

– Пойдем ко мне, – с досадой в голосе ответил лейтенант. И, обернувшись, полувопросительно, полуутвердительно спросил: – Зиночка, обедать будем вместе?

– Угу! – весело кивнула зарозовевшая румянцем конопатенькая Зиночка и ударила по клавишам, затрещала, как из пулемета.

Лейтенант как раз и был из шестнадцатого.

– Садись, боец! – он плюхнулся за свой стол и кивнул Дубравину на стул напротив. – Какой вопрос?

– Да я в училище военное!

– Уже выбрал?

– Во Львовское высшее военно-политическое...

– Хм! Сейчас посмотрю разнарядки на наш военкомат. Вообще-то, они редко дают запросы.

Старлей минут десять рылся в бумагах на столе. Заглянул в шкаф. Почитал, вздохнул:

– Нету у нас туда разнарядки набора. А может, на хрена оно тебе? Вот смотри, куда легко поступить. Танковое училище. Хочешь танкистом стать? А? Не хочешь? Зря! Вот разнарядка из тульского артиллерийского. Хорошее образование дает. Просто превосходные гражданские специальности. Например, инженер-механик по эксплуатации тракторной техники. На гражданке тебя с такой специальностью куда хочешь возьмут. На селе вообще с руками оторвут. Я вот сам закончил танковое. И сейчас бы рулил... Если бы не рука... – с грустью закончил он.

Дубравин с удивлением глянул на его руки и только сейчас заметил, что из левого рукава у лейтенанта неестественно торчат негнущиеся пальцы протеза...

Лейтенант перехватил его взгляд. Усмехнулся. И неожиданно, как будто ни с того ни с сего, сказал:

– Вот послужил Родине. Теперь здесь бумажки перебираю!

– Это где?

На мгновение между ними словно исчезла та грань, которая до этого

разделяла этих двух совершенно разных незнакомых людей.

– Исполнил интернациональный долг! – махнул рукой лейтенант.

– В Афганистане?

– Угу! Ну да ладно, чего уж там. Значит, говоришь, в военно-политическое львовское. Будем посылать запрос на тебя. Чтобы они прислали разнарядку. Давай запишу твои данные!

Он взял негнушимися грубыми пальцами танкиста ручку и начал медленно выводить в анкете дубравинские инициалы.

Из военкомата Дубравин пошел напрямиком на автобусную остановку. Долго ждал, когда придет «гармошка» – большой «Икарус», составленный из двух салонов с поворотной площадкой посередине.

Раньше он представлял себе армию как сплошной праздник. Красивая форма, фуражка, парады, слава, восхищение девчонок и, чего греха таить, нормальные деньги, которые на гражданке не так просто заработать. Простой лейтенант – выпускник училища получал столько, сколько их директор профтехучилища или кандидат наук. А тут, оказывается, можешь еще и очутиться вот в таком виде. Для Дубравина, как и для миллионов других, известие о том, что наши войска в декабре прошлого года вошли в Афганистан, в сущности, было пустым звуком. Ну, стоит там ограниченный контингент – пусть стоит.

По телевизору показывают, как они сажают деревья на субботнике, помогают местному населению: раздают муку, сахар, соль. Короче, выполняют интернациональный долг. Теперь он подумал: «А откуда тогда этот лейтенант со своей культурой?».

Дубравин отмахнулся от этих мыслей, как от назойливых мух:

«Ну да ладно, чего уж там заморачиваться. Все бывает. Вот весна! Это да! Девчонки разделись!».

Он ехал на автобусе мимо вспыхнувших, зацветающих яблоневых садов в предгорьях Алатау по улице Академика Тимирязева. Мимо ботанического сада, где на зеленой ограде из сирени уже появились первые листочки, и душа его радовалась, расцветала, отзывалась на все эти весенние дела...

«Это жизнь! Это песня!»

XI

Амантай жил у дяди только по приезде первый месяц. А потом Марат Карибаевич посоветовал ему: «Тебе надо подружиться с кем-нибудь из однокурсников. Из хорошей семьи. Я слышал, у вас там учится сын первого секретаря чимкентского обкома партии Оскарова. Вот с ним вместе снимите хорошую квартиру в городе. Надо налаживать связи».

Так и сделали.

Раз в месяц дядя брал с собой или жену, или дочку, толстую, глупую краснощеку Розку, и они ездили в спецмагазин, который находился внутри центрального универмага. Там по талонам покупали дефицит – дубленки, женские зимние сапоги, кроссовки, сумочки, джинсы. И не какие-то индийские, а самые настоящие, американские, с металлическими заклепками, фирменными лейблами, ковбоями и надписями на английском.

Амантай тоже ныне щеголял в таких – на заднем кармане ковбой с петлей лассо. Дядя подарил.

Сегодня в Алма-Ату в гости должен был приехать отец Амантая. И дядя Марат послал его с водителем в другой спецмагазин – за продуктами.

Черная «Волга» ГАЗ-3102 с правительственным номером быстро рассекала улицы утреннего города. Завидев ее, гаишники переключали светофор на зеленый и прикладывали ладонь к козырьку. Поэтому уже через несколько минут чрезвычайно гордый Амантай, сидевший на переднем, «почетном», месте рядом с водилой, уже несся вверх по проспекту Ленина в сторону высокогорного катка «Медео».

Замелькали по сторонам яблоневые сады, высокие заборы и крыши правительственных резиденций. Еще несколько поворотов. Мелькнули белые юрты на берегу речки – кафе «Сказка», и «Волга» подъехала к невысоким зеленым воротам, вкатилась во дворик, где уже стояла пара таких же машин. Сергей вытащил из багажника две большие сумки, и они прошли к магазинчику, стоявшему в глубине двора.

Полумрак, тишина, изобилие встретили их в торговом зале. У Амантая закружилась голова от стоящих на полках баночек, коробочек, разноцветных этикеток. Он уже привык ходить в магазин в городе. И поэтому достаточно точно знал, когда привезут кефир, где можно иногда застать «Докторскую» колбасу, какая очередь бывает в мясном отделе. А тут. Роскошь! Невиданная роскошь! Можно сказать, в нескольких километрах от городских магазинов находится эта пещера Али-Бабы. Пока

впереди стоящий покупатель (а их тут было всего двое) забирая с прилавка и паковал в сумку свои богатства, Турекулов удивленно озирался вокруг, читая иностранные названия.

Освободившаяся продавщица – полная, приятная русская женщина в чистом синем халате с кружевным белым воротничком и такой же шапочке – молча воззрилась на него и строго спросила:

– А вы, собственно, от кого будете?

– Это мы, Полина Георгиевна, – отозвался сзади Сергей, подходя к прилавку. – А это племянник Марата Карибаевича, Амантай... Турекулович...

– Ох! Не узнала! – женщина расплылась в теплой улыбке. – Очень приятно познакомиться! У нас вчера был завоз. Могу предложить пиво чешское, сыр эдамский, свежую жая, картык.

Амантай достал записочку от дяди Марата и молча протянул ее Полине Георгиевне.

Она захлопотала вокруг полок, собирая набор продуктов, заказанный заведующим орготделом.

Постепенно дефицит занял весь прилавок. Сергей сходил в глубь подсобки, принес оттуда два ящика «Пльзеньского» в нарядных картонных коробках.

Потом в багажник отправился ящик водки, армянский коньяк, легла коробка с креветками, огурчики венгерские, чурбан свежей осетрины... Амантай только успевал укладывать сумки в багажник и недоумевал: «Да зачем им столько? Тут на целую свадьбу хватит!» Он еще не понимал, что вместе с дядей из этого закрытого магазина кормится немало народу. Ведь надо дать родственникам, угостить нужных людей, выпить коньячку на работе. Налаживать отношения с вышестоящими. Обеспечить того же Сергея.

Наконец поток стал иссякать. Полина Георгиевна достала – редкость в те времена – большой калькулятор и начала складывать цифры.

«Во что же это обойдется? – думал Амантай. – Хватит ли нам денег? А то ведь опозоримся!»

Наконец продавщица произнесла:

– Двести рублей шестьдесят восемь копеек.

Сергей подмигнул пораженному в самое сердце Амантаю и достал из кармана пачку красненьких червонцев.

Для семьи Турекуловых двести рублей были огромными деньгами.

Сколько же тогда дядя зарабатывает? Ведь он как-то жаловался, что оклады в партийных структурах небольшие. Хорошо, хоть спецмагазин и

буфеты выручают. А тут такие деньжищи... Откуда они у него? Может, правду люди говорят про партийцев... Отец тоже иногда нет-нет да скажет что-нибудь...

В этот момент Амантай заметил, как в двери магазина робко заглянула какая-то простоволосая пожилая женщина в халате, тапочках на босу ногу. Видимо, она появилась откуда-то из близлежащих домов.

– Полина Георгиевна, – заискивающе закудаhtала она с порога, – а вы мне обещали сегодня творожку, если останется.

Продавщица, за секунду до того такая любезная, резко изменилась в лице.

– Тетя Маша! Я ж вам сказала: приходите вечером, когда все заказы заберут!

«Куда только подевалась ее любезность?» – удивился Амантай.

– Ну, извините, извините, – стала пятиться посетительница. – Конечно, конечно. Я вечером загляну.

Много воды утекло с тех пор, как Амантай приехал из своего Северного Казахстана в Алма-Ату. Тогда он не знал, как ступить, что сказать. Сегодня он уже достаточно четко и ясно представлял себе те отношения, которые сложились в столице между разными кланами и жузами. Понимал, кто на что может претендовать в современном Казахстане. Спасибо дяде, он объяснил ему, чьи родственники засели в каком министерстве. Кто кого тащит наверх, кто с кем какими узами связан. Он и сам постепенно вращал в эту круговую систему, становился ее частью. В принципе, ему это нравилось. Но иногда вот так, как сейчас с этой женщиной у спецраспределителя, что-то царапало его за душу. Он торопливо отгонял от себя эту то ли жалость, то ли возмущение: «А! Ну их!» – и по детской привычке мотал головой, словно отбрасывая сомнения.

После той поездки на Иссык-Куль, когда дядя договорился с ректором Джолдасбековым о его учебе, дело прошло как по маслу. На экзаменах в университет ему подсказывали, к какому преподавателю надо садиться. И – о чудо! Все экзамены он сдал успешно. Даже немецкий язык. И набрал нужное количество баллов, ни больше, ни меньше.

С этого времени Амантай понял одну очень простую, но важную вещь. Что есть в жизни правила писанные, те, о которых все говорят в университете, с трибун. А есть правила неписанные, по которым многие или некоторые – очень важные – люди живут. Он видел, как те ребята, которые поступали с ним вместе и не смогли поступить, пошли на строительство нового студенческого городка Казгуграда. И будут зарабатывать свое право учиться тяжелым, грязным трудом на стройке. Они будут жить по

писанным правилам. А он, который нисколько их не умнее, будет юристом. Потому что его дядя, а теперь и он сам принадлежат к людям другого уровня. Тем, которые живут по другим правилам.

– Тебе, Амантай-бала, – ласково внушал ему дядя Марат, – надо правильно построить свою жизнь. Многие студенты считают, что их дело – учиться. И все. А тебе прямо сейчас надо начинать вести общественную работу. Ты не стесняйся. В будущем тебе это очень пригодится для карьеры. Иди в комсомольские секретари. Это наш резерв. Действуй прямо с первого курса. Не сиди, не жди. А я помогу!

В общем, жизнь поворачивалась к Амантаю своей гладкой стороной. И ему нравилось быть студентом, жить в Алма-Ате. Одно только иногда раздражало. Дядина дочка Розка, толстая, рыхлая, очкастая девица, частенько подначивала его:

– Ну что, Аманчик, – ласково начинала она, – как вы там в своем комсомольском отряде, много бандитов в общаге выловили?

А потом добавляла язвительно:

– В мусора готовишься?..

Амантай обиженно вскидывал свою челку, совал руки в карманы. И уходил из комнаты, не оборачиваясь. А она, язва, кричала вслед:

– Я сегодня на дискотеке буду. Вы уж меня не арестовывайте!

Розка относилась себя к золотой молодежи. Для нее и ее друзей Амантай был провинциальным козлом, пытающимся втереться в высшее общество, в котором она числила себя по праву рождения. И доводить его было для нее удовольствием.

Амантай скрипел зубами. И думал: «Ну, подожди, зараза. Будет и на нашей улице праздник». Но ругаться с родственницей не смел. Терпел. Боялся, что дядя отвернется от него. А Розка чувствовала это. И наглела с каждым разом все больше.

Когда они с огромными сумками появились с Сергеем на пороге дядиной квартиры, в ноздри им ударил ни с чем не сравнимый запах вареной конины. Верный признак того, что гости уже в доме.

Дядя Марат и отец Амантая, Турекул, сидели в гостиной. Разговаривали. Амантай давно не видел отца. И сейчас, после долгой разлуки, ему невольно бросились в глаза его сельский мятый парадный костюм, старомодный, плохо завязанный галстук. И еще его удивило, что два таких внешне похожих человека могут быть такими разными.

Дядя Марат – белый, красивый, холеный, важный столичный казах с круглеющим чистым лицом и влажными внимательными глазами. Отец – дочерна загорелый, тощий, с выпирающими острыми скулами, с колючим

взглядом.

И разговор между ними шел какой-то странный. Будто два человека говорили на одном языке, а не понимали друг друга.

– Ну, как там у вас дома? – вежливо потягивая из разноцветной яркой пиалушки душистый индийский чай, спрашивал дядя Марат отца.

По идее отец должен рассказать, кто жив, кто умер, кто машину купил, у кого сына женили. А он, оставив пиалу в сторону, говорил об ином:

– Нынешней зимой у нас один бала погиб. Куанышбека Ибраева помнишь? Его сын. Сам замерз в степи. А отару спас. Куанышбек с апашкой уехали в поселок. Он на стойбище один с отарой остался. Выгнал стадо в степь. Тут вихрь налетел. Пурга, понимаешь, застигла его. Так он овец не бросил. Погнал в ложбину, в балку, чтобы там переждать буран. И овцы, знаешь, целы все остались. А сам замерз. Можно сказать, ценой своей жизни спас отару. Вот какие у нас люди... Не бросил народное добро...

Дядя Марат чуть заметно хмыкнул в усы. Но промолчал.

Отец вспыхнул. Но сдержался. Пробормотал:

– Мы хотим подать на орден его. Герой... Ты бы, брат, помог, куда надо документы его передал, – добавил он просительно.

Странно, раньше, в Жемчужном, Амантай поддержал бы отца. Сейчас он как-то по-другому увидел его рассказ и засомневался: «Стоили ли эти овцы жизни Ибраева Ербола? И вообще, какой тут подвиг? Ничего тут героического нет. Просто жалко парня. Он, в общем-то, был хороший. А отец все как-то по-газетному рассуждает».

Конечно, Амантай ничего не сказал. Нельзя влезать в разговор старших. А уж тем более спорить с ата.

Отец, чувствуя молчаливое несогласие двоюродного брата, принялся убеждать его по-своему:

– Без таких людей, без молодежи как мы можем выполнить установку партии о том, что в Казахстане должно быть сорок миллионов овец? Ты же, брат, сам в ЦК работаешь. Большой начальник...

Дядя слегка недовольно поморщился. Но прерывать брата не стал. Он сам знал, откуда растут ноги у всех этих инициатив и лозунгов. Изнутри видел, как готовятся эти постановления ЦК, обращения передовиков. Ему сейчас только казалось удивительным, что еще были люди, которые верили в казахстанский миллиард пудов хлеба, сданных Родине. В поголовье из сорока миллионов овец и прочую ерундистику.

Но как человек восточный, сдержанный и прошедший большую школу партийной номенклатуры он ничего не говорил, слушал брата и думал:

«Какие сорок миллионов? Это только до революции было. С освоения целины все пастбища распахали. Где им пастись, этим овцам? Так выдвинули лозунг. А чем кормить – не знают. И миллиард этот наш вечно дутый. Вытащат все зерно из совхозов. На семена – и то не оставят. Сдадут на элеваторы. Отчитаются. Награды получают. А весной и сеять-то нечем. Зато все газеты трещат про казахстанский миллиард». И он, отвечая своим мыслям, вслух произнес:

– Чтоб сорок миллионов овец прокормить, надо их не на пастбища гонять, а корма заготовливать, кошары строить.

– Вот и я о том же говорю, брат, нашему совхозному директору. Давай создадим молодежную ударную бригаду из выпускников школы. Направим их на заготовку кормов. Поднимем поголовье. А ему ничего не надо. Лишь бы на бумаге все было гладко.

Амантай слушал отца. Но за его казенными, затертыми словами видел свое, другое.

Бескрайняя степь. Вот уж точное, хоть и затертое выражение. Бескрайняя. По ней идут большие трактора. За каждым привязан широкий стальной лист. На этих листах, нет, на плывущих по полю плотам стоят они, старшеклассники. Он, Шурка Дубравин, Толька Казаков, Андрюха Франк.

Жара. Пыль столбом. Они на заготовке кормов. Подхватывают на ходу выскакивающие из бункера тюки прессованной соломы, складывают на своем стальном плоту. Ах, хорошо же было! Ребята...

И опять плетется отцовская речь. О совхозе, о надоях на фуражную корову, о поголовье...

Амантай смотрит на братьев. Неужели дяде это интересно? И вдруг понимает, что отец его безнадежно, навсегда отстал. Что ни дяде Марату, ни ЦК, ни вообще никому это все уже не нужно. Все его идеи. Лозунги. Вера в коммунизм. И ему почему-то становится жалко отца. Жалко его переживаний. Его рвения донести до дяди какую-то свою правду. Жалко его старомодного костюма с пятнами. Его потраченной жизни...

XII

«Да! Умели строить в старые времена. Дом, как книга. По построенным в прежние годы зданием, – думал Сашка Дубравин, разглядывая главный корпус Алма-Атинского сельхозинститута, – можно историю учить. Вот почти дворец. Белый, с колоннами. Однако не дворец. Храм науки. Но... и не храм, судя по мелким казачатам, которые спуют по лестнице перед входом. Лепнина, статуи... Сталинский ампир. Но чувствуется уважение к науке. Сейчас таких не строят. Вон университетский городок в предгорьях. Тоже монументально. Мрамор, розовый ракушечник. Но, в общем, как-то уныло и серо. А здесь – прямо имперская мощь. С любовью. Празднично!»

Большой, шумный спортивный зал института украшен транспарантами. Белым по красному полотну написано: «Привет участникам областного первенства по дзюдо!», «Слава КПСС – вдохновителю и организатору наших побед!», «Да здравствуют советские спортсмены!»

Народу как грязи. Черноголовые казачата, словно мухи, облепили балкон, идущий вокруг зала. Казахская молодежь из аулов, а это и есть основной контингент сельхозинститута, борьбу любит. И борцов уважает. Поэтому-то областное первенство и решили провести здесь.

Внизу, в партере, публика посолидней. В основном это крепкие, коротко стриженные мужчины в коротких куртках. Много студентов сельхозинститута.

Всю ночь он крутился вчера на кровати. Мнилось: «Всех заломаю! А там – почет, слава! Она поймет. Оценит, кто я!»

И только под утро чуть освежился сном.

Но сейчас, когда увидел здоровенных мужиков, как-то засомневался. Кругом все чужие. Никого не знаешь. И что делать? Куда идти?

Хорошо, хоть вдруг неизвестно откуда вынырнул плотный, крепенький, как гриб боровик, белокрысый Витька Палахов. Он уже все узнал:

– Чё бродишь по коридорам? Нам на взвешивание надо. Айда со мной! Сюда! – и он заскользил в толпе спортсменов, отыскивая нужную комнату.

Обшарпанный стол регистратора. За ним – незнакомый мужик со сломанным носом и без двух пальцев на руке. Держит ручку оставшимися тремя. Записывает. Глянул серыми глазами. Спросил:

– Новичок?

Дубравину показалось оскорбительным признать себя новичком, хотя в действительности так оно и было. Из гордости сказал:

– Перворазрядник!

– Понятно! – регистратор еще раз внимательно посмотрел на его мощную фигуру. И выдал голубенький бланк – анкету участника соревнований.

Саша отошел в сторону к подоконнику, начал заполнять графу «Спортивное общество». Следом подошел Витька:

– Ты чё сделал? Это же не соревнования внутри секции. Посмотри, какие в твоём весе быки! Это же туши свет! А ты к перворазрядникам полез. Ох, намнут тебе бока! У них отдельный турнир...

– Витек! Иди на хрен! – отмахнулся от него Сашка. – Откуда я знал? Никто ничего не объяснил. Чо теперь делать-то? Не идти же заново и говорить: «Извиняйте, батьку, я на самом деле только три месяца занимаюсь».

– Начинается взвешивание и жеребьевка участников соревнований! – раздался металлический голос из громкоговорителя.

Все выстроились во внушительную голую очередь к напольным весам. Дубравин с Палаховым с опаской поглядывали на мускулистых, крепких парней вокруг себя. После взвешивания тянули порядковые номера. Сашке достался восьмой. Седьмой – какому-то Вахиду Сулбанову.

Они вышли из раздевалки, где неторопливо переоделись в белые кимоно. Присели в зале на длинной скамейке, отполированной бесчисленными спортивными задницами. Саша нервничал. Ему хотелось хоть издали посмотреть на своего соперника. По ряду к ним пробрался мешковатый Мишка Петров. Поздоровались.

– Ну, кто у тебя? – спросил, шлепая губами, Петров. – Я, видишь, ногу потянул, не участвую!

– Какой-то Сулбанов. Ты его не знаешь?

– Ты! Ногу потянул?! – влез в разговор Витька. – Брешешь все! Как соревнования, так у тебя причина. Бздишь небось выходить на татами?

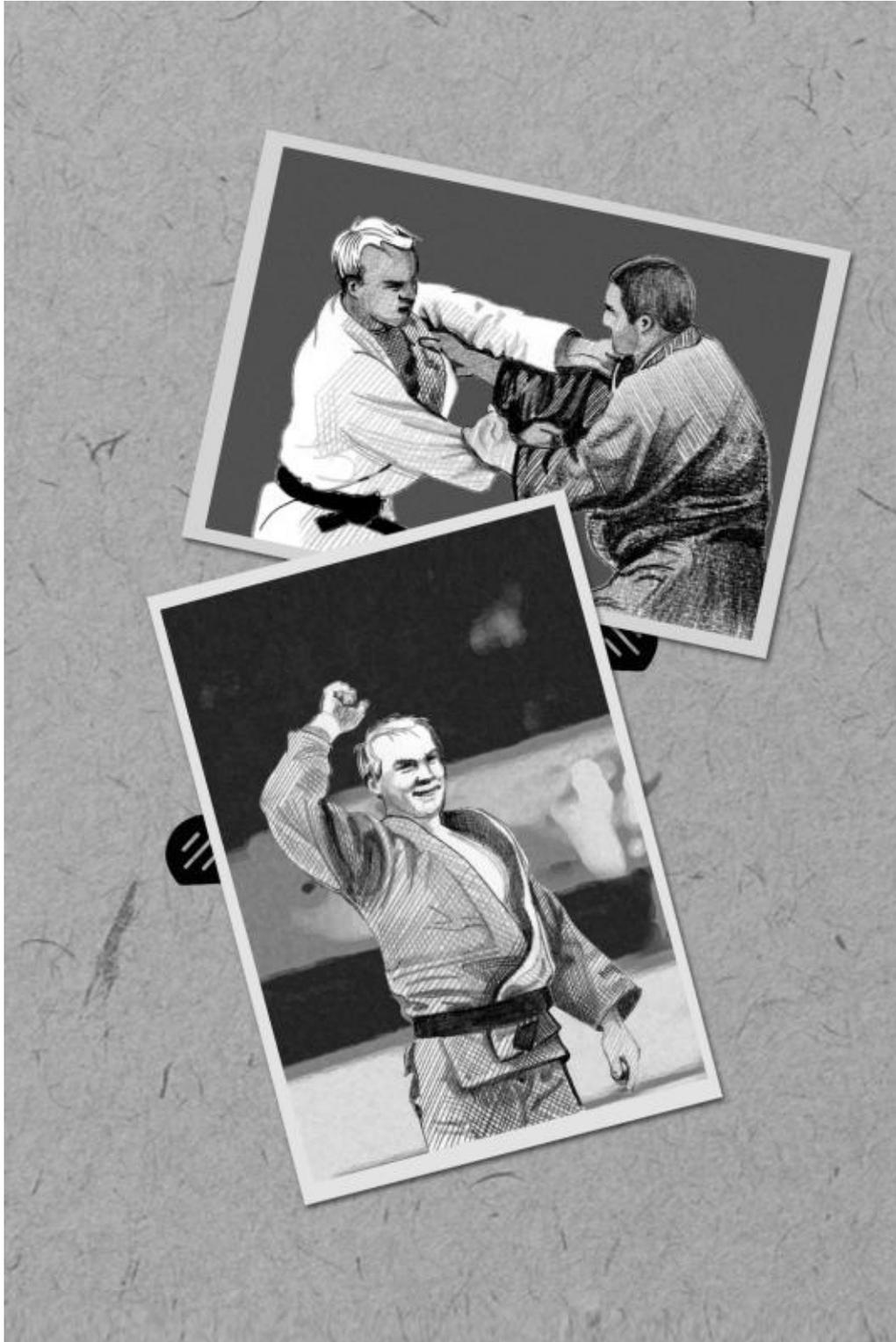
Мишка проигнорировал его выпад. Ответил Дубравину:

– Сулбанов – сильный борец. Он в прошлом году на городе выступал. И выиграл три схватки подряд. Его остановил только наш Яндарбек. Да и то выиграл только два очка. Просто преимуществом. Ва-за-ри! А ты-то как попал к нему в пару? Он года два занимается.

– Да я ему говорю! – опять встрял Витька. – Среди новичков он точно первое место взял бы. Нет, полез! – Витька сморщил гримасу, махнул рукой и покачал своей белобрысой головой.

Пока они так беседовали, на двух татами появились первые пары. Снова зарокотал металлический «глас судьбы»:

– На первом татами номер первый – борец с синим поясом Куаныш Сатдебеков, номер второй – Петр Путин, борец с черным поясом. На втором татами номер третий... Приготовиться номеру седьмому... номеру восьмому...



Дубравин спустился вниз с трибун и остановился у края татами, ожидая окончания схватки, чтобы выйти на ковер. На другой стороне он увидел широкоплечего, с дуб, рыжеволосого парня почему-то не в белом, как все,

а в синем кимоно. Парень завязывал пояс и что-то нервно говорил стоящему рядом тренеру. Сашке что-то показалось до боли знакомым в этом уверенном облике. Где он видел этот нос с горбинкой и рыжую копну волос?

А тысячеголовый зал уже гудит, шумит, мелькает перед глазами флажками, кепками...

– На ковер вызываются...

Сашка уже ничего не слышит и не видит от волнения. Подтягивает штаны, машинально поправляет пояс на куртке. И смело шагает на татами, чувствуя только сотни остановившихся на нем взглядов.

– ...Вахид Сулбанов, – заканчивает фразу металлический голос судьи.

И навстречу ему шагает с другой стороны рыжеволосый парень в синем кимоно.

«Целинное поле. Второе отделение. Бригада грачейшабашников. И он бьет в челюсть вот этому самому парню. Тогда».

Они на секунду встретились глазами на середине татами, и удивленный вопрос в глазах подтвердил, что Ваха тоже узнал его.

От неожиданности ноги стали непослушными, ватными. Потом толчок сердца – кровь побежала по жилам.

– Хаджиме! – махнул между борцами рукой, словно приглашая к схватке, судья на ковре. И пошел отсчет секунд.

Они сразу с такой дикой яростью сцепились на ковре, что зал ахнул. Обычно в начале схватки дзюдоисты прощупывают друг друга. Примериваются, пытаются найти наиболее удобный для себя захват, позицию.

Здесь не было ничего этого. Ваха, как только понял, кто перед ним, ринулся всем телом вперед, пытаясь с ходу сбить своим весом и силой Дубравина с ног, подмять под себя, придушить.

Короткие, словно литые руки, волосатые толстые пальцы, могучий, безукоризненно ровный, что вверху, что внизу, торс. Такие же короткие, но с могучими икроножными мышцами ноги. Грудь, покрытая рыжим волосом. Копна таких же непокорных рыжих волос на голове. Крепкий, как дуб, он в эти минуты был чем-то похож на медведя. И сила в нем была такая же. Ведь за этим обличьем скрывался могучий скелет с жесткими, как капроновые тросы, сухожилиями, широкими костями и тяжелыми плотными мышцами. «Качественными», как говорят в таких случаях знающие люди. Если учесть, что до секции дзюдо Сулбанов выступал в вольной борьбе, то ясно было, что Сашке достался грозный противник. Мужчина. Но если внимательнее приглядеться, то, несмотря на уже

пробивающуюся рыжую щетину, в лице Вахи было что-то детское, наивное, как и у многих чеченских ребят – детей природы и обычаев.

Дубравин хорош по-другому. Он выше Вахи на голову, атлетически, но пропорционально сложен – широченные вислые плечи, узкие бедра, могучая грудь. Эта разница сразу сказалась на характере схватки.

Они сошлись – лед и пламень. Если проще, то это было похоже на битву гусеничного трактора с подъемным краном. Ваха, как трактор, с разбега налетел на Сашку, толкал, теснил его к краю татами, стремясь захватить своими руками его ноги, а потом подмять его под себя, перевести борьбу в партер, где он, безусловно, имел бы преимущество за счет веса и силы. Дубравин же уходил от захвата, лавировал, стремясь поймать противника на прием, поддернуть вверх налетающую на него тушу, а затем бросить через спину или бедро. Пару раз ему даже почти удавалось это. Но тяжесть тянула вниз, не давала воспарить «синей птице» над татами. «Ох и трудная это работа – из болота тащить бегемота!»

Они оба уже взмокли. Более того, едкий пот лился у Дубравина со лба, застревал в бровях, а теперь уже и проникал в глаза. Он машинально смахивал его со лба. Прозрачные капли падали на ковер.

Куртки кимоно, в которых они выступали, измялись, вылезли из-под поясов. И судья то и дело останавливал схватку, заставлял привести себя в порядок.

Прошла почти половина отведенного времени. Но преимущества ни у кого еще не было.

На соседнем татами двое новичков еле возились. И судья уже объявил им «чуй» – замечание за пассивность.

Дубравин искал какой-то нестандартный ход, который должен был изменить ситуацию. Пока он лихорадочно в уме перебирал варианты, тело автоматически работало. Руки хватали, тянули, ноги подсекали, обвивались, бедро подворачивалось. Наконец он решил: «Теснит, гад! Попробую бросить через спину с упором ноги в живот. Конечно, прием экзотический. Для кино. Но что делать? Или я его перехитрю и выиграю. Или он задавит меня весом. В партере он будет явно сильнее. Эх, кто бы подсказал? Никого нету. Абдуллаевич судит на другом ковре. Ребята заняты своими делами...».

Еще одна атака Сулбанова. Ваха накатил волной, как цунами. Дубравин попятился. И вдруг упал на спину, утягивая Ваху за собой. Одновременно подставляя колено под живот. Противник навалился на него. Кажется, что все кончено. Он так и останется наверху. Но невероятным усилием, так, что сводит мышцу от тяжести, Сашка, подталкивая его ногою, медленно-

медленно перекатил соперника через себя. На большее сил не хватило.

Раздались жидкие аплодисменты. Это, конечно, не чистая победа – «иппон». Такое бывает, когда спортсмен бросает противника на лопатки, а сам остается на ногах. Но это уже хотя бы вазари. Преимущество. Проведенное техническое действие.

И судья на ковре махнул рукою. Но почему-то судья, сидящий за столиком, объявил в микрофон:

– Бросок не засчитывается!

Зал загудел. Но никто не спорил.

Схватка продолжалась. Силы сторон на исходе. Хрипя и скрипя зубами, обхватив друг друга, соперники мотались и толкались на татами. До самого сигнала.

Секунды томительного ожидания: «Кто же победил? Он или я? По идее должен я. Я ведь сделал бросок. Почему же его не засчитали?».

Наконец судья на ковре подошел к ним, стоящим понуриив головы, взял за руки и объявил:

– Победу с минимальным преимуществом в два очка одержал Вахид Сулбанов.

Приплясывает в лезгинке соперник. Дубравин в растерянности стоит, ничего не понимая. А потом, махнув рукой в пространство, пошатываясь, уходит с ковра.

В раздевалке к нему злорадно подкатывается Витька Палахов:

– Ну чё, проиграл? Говорил я тебе, какого хрена полез к разрядникам? Мне знакомый судья между нами сказал. Сулбанову в этом году надо уже аттестоваться в перворазрядники. По-новому – третий дан получать. Вот они ему и отдали победу. Ты мог бы даже «иппон» сделать. Тебе бы его все равно не засчитали. Тренеры и судьи уже обо всем договорились. А ты полез на паровоз с вилкой. Им же тоже надо отчитываться. Сколько вырастили перворазрядников, сколько кандидатов в мастера. Сколько мастеров. Вот так вот, дружище! Ну да ладно, не переживай! В следующий раз выиграешь. Запишут тебе твои очки. Слушайся старших!

И Витька, подхватившись, чешет к выходу в зал, насвистывая мелодию о бразильских бомжах из кинофильма «Генералы песчаных карьеров».

ХІІІ

Сегодня в самой большой аудитории на физмате, похожей на амфитеатр, выступает лектор-международник – как сказали Казакову в

деканате, «по разнарядке от ЦК КПСС». Но Анатолий на эту лекцию опоздал. И когда появился на пороге аудитории, увидел, что все места в передних рядах уже заняты пестрой студенческой братией. Пришлось подниматься на амфитеатр. Там наверху он неожиданно обнаружил Валюшку Толстую. Она сидела, наклонившись над столом так низко, что ее большие красивые груди буквально распластались по крышке, а затянутый в коричневые вельветовые джинсы зад соблазнительно оттопыривался, вызывая у Казакова привычные фривольные мысли.

– Привет! Сколько лет, сколько зим! – брякнул Анатолий, плюхаясь на скамейку рядом с томной красавицей.

– А-а-а! Это ты! – Валентина повернула к нему ухоженное, красивое русское лицо с голубыми, но почему-то сегодня заплаканными, красными глазами. – Тебя сразу и не узнаешь. Вон, какой стал!

Действительно, Казаков сильно изменился со времени их первой встречи. Густые, черные, слегка кучерявые волосы, бакенбарды а la Пушкин и усы под Мулявина сделали его облик весьма запоминающимся, нестандартным.

– Валя! Ты чего? – спросил он ее.

– Да так! – нехотя ответила она, вытирая глаза белым платком и доставая привычным движением из сумочки пластмассовую пудреницу с зеркальцем.

– Лекция-то о чем? – еще раз потревожил он ее.

– Тема, кажется, называется «Об олимпийском движении...» то ли «...в двадцатом веке», то ли «...в современном мире», – прошептала она в ответ, припудривая нос.

– Ну и что он буровит?

– А я слушаю, что ли, этого козла?

– А чё тогда сидишь?

– В деканате сказали: «Лишим на месяц стипендии тех, кто не пойдет!».

– У-у! – промычал Анатолий.

– Гады! – Валентина проплакалась, теперь ее распирало негодование.

– Кто гады-то?

– Да эти! Плетут всякую брехню про Олимпиаду. Свобода! Общественное движение! А сами...

– Чо «сами-то»? – Анатолий уже привычно прислушался к ее словам.

– Да меня вчера приглашали в деканат. Там сидел такой плешивый. Куратор от КГБ. Ну и начали... Мы, мол, рекомендуем вам на время Олимпийских игр выехать из Москвы. Ну, я, конечно, им говорю: «На каком основании?» А мне в ответ: «У вас связь с иностранцем. С

американцем. Мы знаем о ваших планах выйти за него замуж». Ну, и все такое. «Это ваше личное дело. А вот Олимпиада-80 – дело общественное. И вам придется покинуть Москву, если вы не хотите иметь проблемы и неприятности в будущем».

Анатолий аж присвистнул.

– И что мне делать теперь, не знаю, – печально продолжила она. – Ведь мой Кларк должен приехать сюда, в Москву. Мы так хотели вместе посмотреть Игры. А теперь...

– А ты сходи на прием к ректору. Может, он посодействует.

– Да мне этот плешивый сказал, что все уже согласовано с ректором, – вздохнула она так, что белая грудь чуть не выпала из разреза. – Все студенты, и наши в том числе, направляются на обслуживание Игр. Через неделю начинают учиться. Танька, подружка моя, будет работать в ресторане в Олимпийской деревне, где спортсмены питаться начнут. Всех увидит! А меня заставляют уезжать. кагебешники сраные...

Только что красавица Валюшка, надменная, как английская королева, рыдала, а тут на глазах наливалась ненавистью:

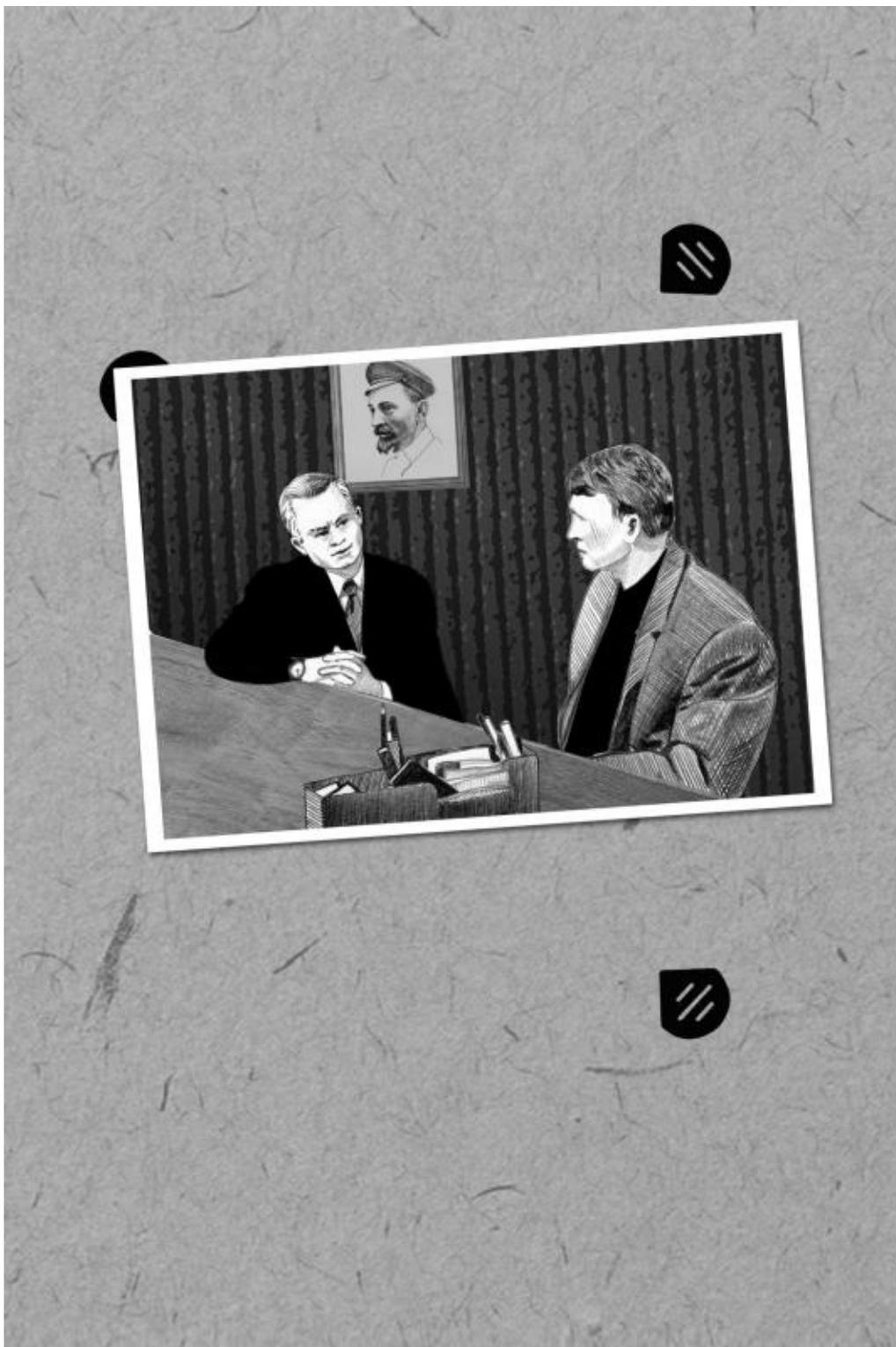
– Совок проклятый... Ненавистный...

И пока она шепотом поносила советский строй, партию и органы, Казаков вспомнил, как в прошлом году «разрабатывал» ее связь с американцем по заданию Маслова. И вот теперь, в преддверии лета, начинается реальная подготовка к двадцать вторым Играм. Вот и всплыла ее любовь.

«Ну да ладно. Что там буровит лектор?» Он прислушался к трескотне, несущейся с кафедры:

– ...Никакой бойкот со стороны империалистов не пройдет. Уже семьдесят стран мира заявили о своем участии в Олимпиаде в Москве. Заканчивается строительство и реконструкция...

Да, подготовка идет по всем линиям. Вчера он встречался с Масловым. КГБ старательнее всех готовится к Играм. Встреча была даже не на явочной квартире, а в специальном особнячке без вывески. Анатолию показалось, судя по обилию телефонов, что он попал в какой-то штаб, точнее, один из штабов комитета по подготовке к лету. Маслов был, как всегда, спортивным, подтянутым. Короткая стрижка. Лоб с залысинами. Только виски седые, что для его молодежявого вида нетипично. Да лицо слегка осунулось. Так торопился, что начал обсуждать с ним дела без этих их церемоний. Да и что церемониться! Он, Анатолий Казаков, доверенное лицо, внештатный сотрудник.



– Мы уже давно готовимся! – возбужденно, поблескивая глазами, говорил он ему. – Ни семьдесят второго года, когда в Мюнхене палестинцы захватили сборную Израиля, ни семьдесят шестого, когда гимнастка

Команечи из румынской сборной ушла на Запад, мы не допустим. Пусть не думают. Сейчас по приказу председателя комитета Юрия Владимировича Андропова идут постоянные тренировки антитеррористической группы «Альфа». Той, что первой отличилась в Афганистане. И диссидентам мы Олимпиаду использовать в своих целях, чтобы клеветать на СССР, не дадим. Сейчас их всех в Бутырке собирают. Подумать только, горсть народу, – Маслов презрительно сморщил губы, – всего-то человек семьдесят, а пытаются с такой силищей тягаться.

Он помолчал. Словно подумал: «А стоит ли продолжать?» Но, видно, случается, что и самых скрытных людей в какие-то моменты прорывает. Да и потом, он среди своих. Можно и погордиться:

– Народно-трудовой союз намеревался наводнить нашу страну своей литературой. В штабе НТС недавно выступал некто Андрей Редлих, так они постановили: «Ехать как можно больше. Везти в Советский Союз подрывную литературу. Клипы, кассеты, брошюры...» А мы их даже сюда и не пустили. Эмиссаров НТС прямо из нового аэропорта Шереметьево-2 на тех же самолетах, на которых они прилетают, отправляют обратно. Вот уж они возмущаются. Да и Москву сейчас почистим. Нищих, бродяг, проституток – всех отсюда выселят за сто первый километр. У нас сила. Пусть они не думают, что СССР для них – проходной двор.

Конечно, не все рассказал Маслов Анатолию. Валентина не была ни бомжом, ни проституткой, ни диссиденткой. Но раз уж попала на заметку, то поезжай от греха подальше. Да что, она одна, что ли? Миллион москвичей на время Олимпиады будут отправлены в отпуск. Почти всех детей вывезут в лагеря. Студентов, которые не будут заняты на обслуживании Олимпиады, отправят в стройотряды. Их места в общежитиях займут гости столицы и сто пятьдесят тысяч милиционеров.

Найдется работа и ему, Анатолию Казакову. Он поинтересовался, что предложат ему. Но Маслов в этот раз промолчал. Только сказал, что его поставят на важный участок. А пока поручил одно дело среди студентов.

Лекция международника «от ЦК КПСС» тем временем подходила к концу. Народ уже начал задавать вопросы. Слышались гладкие, обтекаемые, внушительные фразы:

– Наша партия и правительство выделили значительные средства на проведение... Все эти спортивные сооружения останутся в Москве и будут использоваться по прямому назначению... В Олимпийской деревне поселятся московские очердники...

XIV

«Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте», – написал в шестнадцатом веке некий автор, никому доньше не известный, скрывавшийся под псевдонимом Вильям Шекспир.

Сашка ухитрился прочитать эту книгу еще в седьмом классе. Но тогда она на него особого впечатления не произвела. Пьеса, она и есть пьеса. Реплики короткие. Какие-то надуманные слова. Непонятная вражда двух кланов. Картинки разве что красивые, старинные, а так... ерунда.

А тут сестра с утра предложила:

– Пойдем в кино. У нас тут рядом летний кинотеатр сезон начинается. «Ромео и Джульетту» показывают.

«Ну, в кино так в кино».

Фильм, конечно, роскошный. Цветной, широкоформатный. Костюмы обалденные. Все пляшет, все играет. Актеру – Ромео – шестнадцать лет, актрисе – Джульетте – четырнадцать. Целуются, воркуют как голубки. А в финальной сцене, когда выносят их, умерших за любовь, на носилках, слеза прошибла...

И вот он, размягченный и потрясенный, шагает после фильма теплым весенним вечерком. Шагает, поглощенный своими воспоминаниями, своей любовью и печалью. А вокруг толпа людей, и все судят, рядят о картине.

– Им-то хорошо было. В четырнадцать лет у них такая любовь. Одни страсти, – сформулировал свои впечатления неприлично толстый мужчина в шляпе и очках.

– Конечно! – ответила его необъятная спутница, переставляя ноги-тумбы и мотая рыжей дурацкой прической по ходу движения. – Им не надо было учиться в школе, потом поступать в институт, защищать диссертации...

Дубравин услышал эту реплику и горько усмехнулся, неожиданно подумав: «А стали ли мы счастливее от того, что учимся в институтах, делаем карьеру? Вот, к примеру, мы с Галкою. Разве я счастлив? Она там. Я здесь. А радости от такой жизни ни на грош. И разделяют нас такие же условности, какие разделяли Ромео и Джульетту. Там – вражда. Здесь – необходимость...».

Сестра Зойка шла рядом с ним. Маленькая, на каблучищах, с высоченной прической, она все равно едва доставала ему до плеча. Шурка только сейчас заметил, что Зойка разительно не похожа на них, на

Дубравиных. Глаза голубые, а разрез у них восточный, монгольский. «Это потому, что у нас разные отцы. Ее отец погиб на войне. И, похоже, что в нем была калмыцкая кровь».

– А ведь правда все в этом кино, – неожиданно сказала она. – Только в молодости можно так любить. До смерти. Беспощадно.

– Это как – беспощадно? – встрепнулся Сашка.

– Ну, вот они умерли. Убили себя. А их родители остались жить. И каково им? А влюбленные вообще ни о ком, кроме самих себя, и не думают. Я помню, мы с Толиком поженились. Не глядя ни на что. Молоденькие, глупые были. Какие трудности преодолели! А все равно и сейчас продолжаем любить друг друга.

Дубравин вспомнил, как они ежедневно выясняют отношения по любому поводу, и подумал: «Неужели это любовь такая может быть? Спорят с утра до вечера. Кто начальник в доме, выясняют. Не очень верится, что любовь осталась, не выветрилась».

Но говорить он ничего не стал. Зачем? У каждого своя жизнь. Если им она нравится, то ему чего судить?

– А как у тебя с Галкой? – неожиданно спросила сестра и глянула ему в глаза снизу вверх. – Что-то давно я писем из почтового ящика не доставала...

Дубравин смутился. Его даже бросило в жар. Любовь, их отношения – это было их, сугубо личное, интимное, то, что принадлежало только ему и ей. Он как-то зажался и неохотно буркнул:

– Разошлись, как в море корабли! – бравируя, с кривой усмешкой добавил он.

– Это вы зря, первую любовь беречь надо! Вот мы с Анатолием, как нам ни трудно было первые годы, а все равно старались друг друга поддержать. Ведь начинали с ничего... Сколько лет живем вместе! – она взволновалась и стала вспоминать, как встретила с Анатолием в общежитии на строительстве Волгоградской ГЭС. Как держались друг за друга, когда его взяли в армию. Как трудно им пришлось, когда они попали сюда. Расчувствовалась, разволновалась.

Саша, несмотря на молодость, был человеком достаточно скрытным. Но как скроешь в свои семнадцать лет эти письма, эту тоску и печаль? Так что Зойка видела все его метания. И понимала, что с ним происходит. Она по-своему любила брата. Любила как кого-то, кем можно гордиться. Как то, на что можно было влиять. Для нее он был деревенским малым, которого надо было повседневно опекать. Она долго ждала подходящего случая, чтобы поговорить. И вот сейчас, после фильма «Ромео и

Джульетта», ей показалось, что такой случай наступил.

– Ты когда ездил домой, с ней встретился?

– Встретился!

– Ну, и что, вы поговорили?

– Поговорили!

– И о чем договорились?

– Да ни о чем!

– А мне вот подруга пишет, что ее, Галинина, мать рассказывает эту историю по-другому. Мол, ты приехал за столько тысяч километров. Искал ее. Ждал. А она не вышла. Вот о чем сплетничают в деревне.

– Это неправда! Мы виделись! Да, впрочем, какого черта?! Что ты меня допрашиваешь? Какая теперь разница!

– Нет, разница есть. Мой брат не может быть тряпкой. Надо это дело решить.

– Чего решить-то? Повидались мы с ней. Лучше бы и не виделись. Договорились, что приеду через год. Вот летом поеду. Посмотрим, как встретит.

Сестра умолкла. И они так же молча дошли до дома. Поднялись по лестнице в подъезде. И только уже в прихожей Зойка наконец промолвила:

– Знаешь, что я думаю? Уж больно ты перед нею стелешься. «Люблю, люблю!» Я, конечно, понимаю тебя. Но женщины больше уважают сдержанных. Надо тебе быть более политичным с нею, что ли...

Сашка еще долго ворочался, вспоминая фильм и свой разговор с сестрою: «Надо же. Кому какое дело? Ну, уехали из поселка. И скатертью дорога. Нет, нас еще зачем-то вспоминают. Вокруг нас какие-то страсти бушуют. Пришла, не пришла на свидание. Ну их куда подальше, дураков этих всех. Ромео с Джульеттой в современном варианте. Ну, точь-в-точь. Ее мать, видно, уже меня невлюбила. А моя сестра – Галку. Эх, тошненько мне. Вроде как рана. Покрылась коркой, затихла. А чуть тронули – и опять заныла, заныла, закровоточила. Господи, и когда уж ты избавишь меня от всего от этого?..»

* * *

– Повернитесь спиной. Спустите трусы! Наклонитесь. Раздвиньте руками ягодицы! Так. Повернитесь ко мне лицом! – Строгая женщина-врач в белом отутюженном халате с вышитой на кармане синими нитками фамилией «Курдюкова» профессиональным взглядом хирурга окинула его мощную мускулистую фигуру и принялась что-то записывать в его медицинской карточке.

Еще никогда в жизни Дубравин не казался себе таким маленьким, ничтожным и жалким, как на этой медицинской комиссии.

Перебираясь по длинному коридору военкомата из одного медкабинета в другой, он сознавал необходимость происходящего и спокойно, терпеливо переносил все эти осматривания, простукивания, ощупывания, хотя чувствовал себя неуютно. Ощущал себя не личностью, а какой-то букашкой, параграфом в руках всех этих важных, занятых исполнением своей функции людей.

Дубравин впервые прямо столкнулся с советской государственной машиной в лице ее представителей и ощущал ее как нечто равнодушно-бездушное, безликое существо, которому абсолютно нет дела до живого, думающего человека. Он еще не знал, что каждый советский человек в таких обстоятельствах чувствовал то же самое. И так оно было на самом деле.

Но он-то откликнулся на происходящее по-человечески, эмоционально. В раздрызге подсел к молодой, красивой черноволосой медсестре-казашке, которая мерила давление и сидела рядом в этом же кабинете. Одна мысль о том, что она видела сейчас всю эту унижительную процедуру осмотра интимных мест, бросила его в жар. И пока сестра в белом коротеньком халатике мягкими, ласковыми руками обвивала его мускул эластичным плотным рукавом прибора, он чувствовал бешеное сердцебиение.

– Сто шестьдесят на сто двадцать, – равнодушно сказала сестра рядом сидящему доктору. Посчитала пульс: – Восемьдесят! Много. Сделайте десять приседаний!

Он сделал. Она снова посчитала пульс. И что-то записала в его карточку. А потом перевела взгляд узких черных глаз с карточки на него и заметила:

– У вас повышенное давление! Отчего бы это? Может, вы вчера злоупотребляли?

– Не-е-ет! Что-то я просто разволновался. Сам не знаю почему. Может, оттого, что все так непривычно, – пробормотал Сашка, торопливо забирая лежащую на столе наполовину исписанную медицинскую карточку. Он чувствовал какую-то еще неясную тревогу, поселившуюся где-то в груди, рядом с сердцем.

А народ все шел и шел. И в основном качественный, молодой народ: худые, длинные подростки – выпускники школ; крепкие, мускулистые ребята-спортсмены; была даже парочка солдат-срочников, решивших продолжать службу курсантами.

Он нормально прошел окулиста, кожника, еще нескольких

специалистов. И, в общем-то, понемногу стал успокаиваться. Последняя инстанция. Кабинет, где заседает медицинская комиссия. Стол. За ним – три человека. В середине – пожилой седовласый доктор с одутловатым лицом и мешками под глазами. По краям – врачихи. Старая, с черными, но припудренными сединой волосами еврейка, а с другой стороны – стерва, как определил для себя Дубравин, едва взглянув на нее.

– Так-с! Посмотрим, каковы ваши показатели, юноша! – произнес седовласый доктор, снимая с носа круглые очки. Видно было, что председатель комиссии настроен благодушно. – Да у вас повышенное давление! Врач пишет, что может быть психоневрологическая дистония. Это плохо!

– Это случайность, доктор! Я просто что-то разволновался в тот момент... Вот оно и подскочило...

– Но это полбеды! – Тощая, носатая, с красным лицом стерва, заместитель главного врача, как было написано на бумажной табличке, стоящей на столе, подсовывала доктору какую-то бумажку с анализами. – Вы видите, Владимир Григорьевич? У него еще и белок в моче.

– Спортсмен? – полувопросительно, полуутвердительно спросил главврач Сашку.

– Да, занимаюсь борьбой дзюдо, – с гордостью ответил тот, расправляя плечи. – Недавно были соревнования областные. Я выступал...

– Всегда с этими спортсменами проблемы, – неожиданно оторвалась от разглядывания бумажек пожилая еврейка.

– Да здоров я! Что вы, не видите, что ли? – в отчаянии воскликнул он.

– Ну, что будем делать? – беспомощно развел мягкими ладонями главврач.

– Я на себя ответственности не возьму! – вякнула носатая.

– Не годен! – добавила вторая.

Главный вновь с сожалением развел руками.

Сашка еще пытался что-то говорить, доказывать им. Напрасно. Тем более что дверь уже приоткрывало, ломилось следующее молодое тело...

XV

Уже в начале двадцатого века Верный был городом-садом. И сейчас Алма-Ата все еще расцветала каждую весну, как невеста перед свадьбой. В апреле восьмидесятого самые лучшие яблоневые сады в предгорьях Алатау, где строились прямоугольные коробки корпусов и общежитий

университета, уже вырубил. Но оставшиеся кое-где деревья с приходом тепла, как по команде, выбросили в мир то там, то здесь бело-розовые букеты и соцветия.

Амантай молча смотрит из окна общежития на это буйство жизни внизу и привычно думает о том, что бы еще сделать для карьеры? Как заместитель факультетского секретаря комитета комсомола он сегодня дежурит в общежитии юрфака, листает журнал «Юный техник» и скучает.

В штабе студенческого оперативного отряда мертвая тишина. Только слышно, как этажом выше у кого-то играет музыка. Да в коридоре то и дело хлопают двери комнат. С ним, Турекуловым, сидят в таких же синих оководских куртках еще двое студентов. Рябой, весь в оспинках и коричневатых пигментных пятнах на круглом лице Ербол Утегенов и усатый Джамбул Джумабаев.

Вдруг дверь бесшумно открывается, и на пороге штаба появляется тощая студентка в халате и с растрепанными волосами:

– Ребят! Там на вахте какие-то хулиганы пришли! Ломятся наверх. Говорят, что у них какой-то «день варенья». Меня баба Зина послала, вахтерша...

– Идем! – Амантай натянул синюю куртку, а вместе с нею начальническое выражение лица. Они гуськом вышли из комнаты и с озабоченным видом потопали вниз.

В фойе стоял шум и гвалт. Возле баррикады из стола и стойки занимала позицию баба Зина, вахтерша. Подбоченясь, загораживала проход своим могучим телом.

Напротив нее «бились в истерике супостаты». Собственно говоря, это несколько девчонок и ребят с другого курса. Нарядно одетые, с цветами, но слегка подвыпившие. Они качают права. Особенно старается длинный, курносый и очкастый парень с маленьким, сморщенным, как у обезьянки, лицом.

– Не имеете права нас не пускать! – горячо и страстно, словно с трибуны, говорит он. – Мы пришли на день рождения! Никаких нарушений не делали! Это самоуправство...

– Я без коменданта вас не пушу! Пусть она подпишет заявку! А ее сейчас нет, – отгавкивается баба Зина. И, выстрелив репликой, оглядывается назад. Не идет ли подкрепление.

– А вот и опричники пришли! – вопит очкастый, увидев их.

Оководцев студенты не любят. И Амантай знает это.

– Какие еще опричники?! – багровеет так, что коричневые пятна становятся незаметны, Ербол. А усатый Джамбул начинает поджимать

пальцы в увесистые кулаки. Амантая это тоже задело. Что за насмешки над ними?! Но он молчит. Затаил обиду. Власть не может ввязываться в пьяную перепалку. Это ниже ее достоинства. Поэтому сдержанно, напряженно-глухо спрашивает:

– Что здесь за шум? – хотя давно уже понял суть этого банальнейшего, происходящего сто раз в день конфликта.

Тут одна бойкая накрашенная девица, затянутая до последней степени в узкие-узкие джинсы, оттесняет от стойки длинного и очкастого, подходит к нему вплотную так, что он чувствует волнуемый запах духов, и томно произносит:

– Амантай, мы, кажется, с вами знакомы через Розу?

И пока он мучительно пытается вспомнить, где Розка, дядина дочка, могла познакомить его с этой красивой казашкой, та, не останавливаясь, излагает суть:

– Нас пригласила к себе на день рождения Альфия. А вахтерша не пропускает. Говорит, нужно письменное разрешение коменданта.

Амантай понимает, что вахтерша, в принципе, не права. И, судя по всему, закусила удила не оттого, что нужен пропуск, а потому, что ее не так попросили. Он уже давно усвоил, что любой, у кого есть возможность «не пущать», старается с помощью этого права показать свою власть. Привыкнув к тому, чтобы студенты ее просили, баба Зина, естественно, в штыки приняла городских, которые не кланяются, не заискивают перед нею. Точно так же ведут себя у нас миллионы администраторов, продавцов, охранников, милиционеров, кассирш – тех, кого по какому-то недомыслию или в насмешку над народом называют сферой услуг.

Мгновенно оценив обстановку, Амантай понимает, что сейчас от того, как он поступит, будет во многом зависеть его репутация среди Розкиных друзей. Уж эта красотка всем расскажет. А Розкины друзья не из простых семей. Пустить «пьяных» – значит, поссориться с комендантшей. Не пустить – значит, Розкина компания так и будет считать его тупым, безмозглым аульным ментом.

Пока он колеблется, мысленно решая, что выгоднее, позади раздается цоканье остреньких каблучков, и вся компания начинает шуметь, галдеть, трястись и ржать:

– Вот она, именинница!

– Иди сюда, я тебя поцелую, Альфийка!

– Нас менты не пускают! Выругай! – трещит длинный так, что у него трясутся круглые очки на носу пипочкой.

Амантай резко оборачивается, взмахнув черной челкой. И вдруг

видит... «Ну, змея!» – проносится в его голове нечто восторженное.

Тоненькая, коротко остриженная, черноглазая, белолицая метиска в облегающем красном платье, с красными, как кровь, губами, вся в золоте, быстро цокая каблучками, гибко работая узкими бедрами, боком спускается по лестнице к входу. Увидев всю компанию, она улыбается, протягивает к ним руки. Те тоже тянутся к ней с букетами цветов.

Увидев ее, бабка Зина как-то сдувается, надевая на лицо фальшиво-ласковую улыбку:

– Ах, Альфиечка, а я и не знала, что они к тебе. У тебя день рождения! Поздравляю! Проходите! Конечно, проходите!

Но теперь уже Амантая возмущает, что его никто не спрашивает. Будто его здесь и нет.

– Стоп! Подождите! – восклицает он, обращаясь ко всем, а к ней больше всего. – Это не в вашей ли комнате позавчера дверь сломали? И пьянка шла до самого утра? А? – грозно вопрошает он.

Но вместо того чтобы сконфузиться и испугаться, Альфия смотрит на него так, будто вот только что, сейчас увидела: оценивающе, ироническим взглядом. Мол, что это еще за чудо африканское здесь вопросы задает? И кому? Мне?! Великой и ужасной!

Они сталкиваются взглядами. И он видит, как в глазах ее зажегся огонек интереса к «мальчику», ресницы затрепетали, ноздри чуть вздрогнули. Она вдруг ласково улыбается ему.

Все это длится одно мгновение. Так, что никто, кроме них двоих, ничего и не замечает. Но Амантай чувствует, как от этого манящего, призывного взгляда что-то внизу живота у него переворачивается. Как будто какая-то давно зажатая скрытая пружина начала раскручиваться там. И он понимает: «Пропал!»

Альфия произносит скороговоркой:

– А вы тоже приходите на мой день рождения. Я буду ждать...

– Угу! – словно загипнотизированный отвечает он и кивает как китайский болванчик.

Она удаляется с компанией. А он стоит и думает: «Вот это да! Настоящая торе! Княжна!»

XVI

Дубравин возвращался домой после смены как побитая собака. Все наперекосяк. Сосущая тоска придавила плечи, терзала грудь, тупила

мысли, не давая им простора. Его мечта заветная – стать офицером – второй год подряд накрывалась медным тазом.

Он чувствовал себя усталым. Усталым от всего. В училище все дорогу перекрыли. Любви нет. Какая все-таки бессмыслица – эта жизнь!

Ему казалось, что он загнан в тупик, из которого нет выхода. А раз так, гори оно все синим пламенем!

Улицы Алма-Аты в этот час были пусты и чисты. Только изредка проедет поливальная машина, обдаст асфальт водой, да проскочит, мигая зеленым огоньком, такси. Ни одного прохожего. Ни одного горящего огонька в окнах. Тьма египетская. Тишина. Покой.

Потихоньку открыл дверь. Заглянул в комнату. Дети спят. Зашел на кухню. Поставил чайник.

Скрипнула дверь. Сестра Зойка, заспанная, растрепанная, в халате. Заглянула:

– Чего не спишь?

– Да тошно. Я медкомиссию не прошел.

Он думал, что Зойка расстроится. Начнет утешать его. А она вроде как обрадовалась даже:

– Ерунда это все. Я тебе давно хотела сказать. Что хорошего в этой офицерской жизни? Вон у Анатолия отец военный. Всю жизнь мотался по стране из одного конца в другой. С квартиры на квартиру. Дети – из школы в школу. Жене работать негде. И так двадцать пять лет. И кому это надо? Ну, ты ж меня не слушаешь. Ты ж у нас упертый. Как сказал, так и сделаешь!

Дубравин не спорил. Он молча тянул чай с намешанным в него вареньем и уныло думал о своем. В открытое окно ему был виден сад с отцветающими яблонями. При малейшем дуновении ветерка там начинал сыпаться белый цвет. Лепестки кружились в воздухе и ровно, словно снег, покрывали землю вокруг деревьев. Круглая луна мертвила этот сад ровным рентгеновским светом.

Ему не хотелось спорить. Не хотелось волноваться. Он чувствовал себя старым-старым. «Забиться бы и заснуть. Все забыть. Не нужны мне ваши радости. Не нужны и печали. Все глупо. Нет любви. Нет мечты. Куда идти? Зачем?»

«Теперь, когда она узнает, что я опять не поступил, наверное, махнет на меня рукой. Ничтожество...»

– Готовься к экзаменам. Поступишь в любой алма-атинский вуз. Останешься здесь. Получишь высшее образование! – Зойка вдохновенно рисовала ему открывшиеся перспективы. – Найдешь хорошую работу. На

фиг она тебе нужна, эта армия...

А он все о своем: «Дни летят за днями. Светлые и не очень. А я каждый день, каждый час помню о ней. Вижу ее. Чувствую на губах ее последний поцелуй. О моя весна! Где твоя солнечная улыбка? Эх, опять вспомнил. Опять эта борьба внутри. Это вечное раздвоение. Врагу не пожелаешь. Может, я заболел? Может, у меня что-то не так с психикой? Как бы мне победить это наваждение? Неужели я обречен мучиться так всю молодость? Разум мой против. А душа стонет. Нет, я забуду ее. Забуду! Забуду! Забуду! Все равно забуду! Ох, проклятое сердце. Что бы ни случилось, сразу отзывается тоской по ней. Ненавижу! Ненавижу себя самого! Что ж за беда? Не хочу любить. Не хочу мучиться!»

Гордый, независимый характер его бунтовал. А сердце ныло: «Ну что, так и буду мотаться туда-сюда? Раньше хоть письма писали. А теперь и писать некому».

Зойка устало зевнула:

– Завтра еще поговорим о твоих делах. Пойду-ка я спать. Да и ты ложись.

И, уже закрывая двери кухни, добавила:

– Кстати, тебе письмо. Лежит на холодильнике.

«Неужели от нее?! Вот радость-то какая!» Дрожащими руками схватил конверт. Вскрыл.

Письмо было от Людки Крыловой:

«Саша, здравствуй!

Сейчас идет урок по документации. Я, конечно, не слушаю. Вот пишу тебе письмо. Настроение невеселее. Почему-то состояние, как осенью. Я, наверное, порядком надоела тебе со своим нытьем. Ну, выручай меня. Покрепче. Хорошо?

Ах, все равно мне все надоели! Это, Саш, я о местных пишу. И вправду они мне до чертиков надоели. Всем чего-то нужно, все чего-то хотят, все любят. Любят – смех один. А тебе не смешно разве? Почему? Какое-то твердое неверие в это слово, Сашка. А я как-нибудь любила? Разве смогу полюбить? Почему я не верю никому, кто мне говорит об этом?

Да и вообще меня нельзя любить по-настоящему.

Когда-нибудь я тебе обязательно скажу, почему. Хорошо, Сашенька?

Сашка, я совсем тебя сейчас не стесняюсь. А в июле было не так. Мне было хорошо с тобой, но трудно. Я боялась, что ты видишь меня насквозь. А теперь скажу тебе, что совсем свободно и почти легко писать и говорить. Или, может, это оттого, что мы долго не виделись? Возможно, я снова не

смогу тебе говорить всего того, что пишу, при встрече, когда увижу спокойный проницательный взгляд. Да, Сашенька, это, наверное, все же влияние оказало время.

Как ты думаешь?

Каким ты стал? Я думаю, Человеком с большой буквы.

Я посещаю кружок альпинизма. Это меня немного отвлекает от тоски и жизни.

15 и 16-го была в горах. Поднимались на безымянную вершину. Назвали ее пиком Ленинской пионерии. Высота – 3200 метров.

Ну вот, Саня, заканчиваю.

До свидания.

Пиши, жду,

Людка».

«Да, видно, не один я маюсь. Все мы ищем себя. Ищем свое место. И непросто, наверное, всем. Вот и Людка тоже на что-то надеется. Хотя старается удержаться в рамках. Но мне-то до лампочки! Ах, какая хорошая девчонка! Жаль только, что я ее не люблю. Сердцу-то не прикажешь».

XVII

«Три девицы под окном» учили химию втроем. Галка, Мила и Валюшка просидели за учебниками до рассвета. А почему? Да потому, что, хотя на подготовку к экзамену дали целую неделю, учить билеты все бросились в последние два дня. Да и то к утру они лениво заглядывали в «Физическую химию», задавали вопросы друг другу, а потом перескакивали на излюбленную тему. Про мужиков.

– Девчонки! Меня Петя не поздравил с днем рождения, – потягиваясь и встряхивая черными кудряшками, говорила красавица Мила. – Вот мерзавец! Знает, как я люблю этот день. Специально, наверное, так поступил...

– А, все они, мужики, одинаковые. Им только одного и надо! А если что не так, сразу обиды, – откликнулась круглолицая, зеленоглазая, белокожая красавица Валюшка. – Ой, девчонки, уже совсем светает, а спать так и не хочется... Небо алеет. Сегодня Витька придет... – улыбнулась она про себя: «Им только одного и надо».

Галинка сидела над испещренным формулами листом бумаги. Что-то шептала. Но в разговор не встревала. Да и что она могла сказать? Что

сердце ее молчит? Переписка их с Сашей почти заглохла после той несуразной встречи в Жемчужном.

Так, только иногда вспомнится прошлое лето: «Ах, лето... И все. И чего девчонки так переживают? Девчонки – чудо! И зачем им это все нужно? Хорошо же и так. Свободно!»

Ей это вообще непонятно. Мальчишки, мужчины. Что в них интересного? Одна маета. Вот Мила, красавица такая, что на нее все на улице оглядываются. Черноглазая. Фигурка, улыбка – все при ней, а она из-за своего Пети ночами подушку слезами оmyвает. А Петя там, господи, сморчок какой-то. Жалко Милку, да и глупо все как-то. Или Валюшка. Замуж собралась. До свадьбы еще целый месяц, а Витька каждый день в окошко к ней вечером лазает в общежитие.

– А твой-то художник, Аполлон Григорьевич, что-то давно не появлялся! – Мила встала с дивана и пошла к зеркалу.

– Какой он мой! – нарочно нахмурилась Галинка. И еще ниже опустила голову над тетрадкой. – Так, ходит...

– Ой, не скажи! Он на тебя с сельхозработ глаз положил, – Валюшка опять оторвалась от книги, глянула искоса на нее: – Каждый раз с букетом. «Галочка! Галочка!» Смотри, Галка, упустишь счастье. Преподаватель. Молодой. Перспективный. Галантный. С бородкой!

– Мне он не нужен! – буркнула в ответ Озерова.

– Ой ли?

– Да ладно тебе, Валентина. Учи лучше физхимию. А то наша Бабка знаешь какая свирепая. – Мила оглядела себя в зеркале и вздохнула.

Поспали два часа. И опять за книги.

* * *

«А утром мы пошли сдавать. Наша Бабка принимала экзамен только до часу дня (ей нужно было принимать госэкзамены у пятого курса). Но мы так себя подготовили, что нам нужно было сдать сразу, а то к следующему дню мы бы все забыли. С горя мы пошли в кино. Попали на «Большую прогулку». В главных ролях – Луи де Фюнес и Бурвиль. Фильм двухсерийный. Мы не пожалели, что пошли в кино. Оказалось смешно. Местами, когда уже не было сил смеяться, мы закрывали глаза и хрипели что-то несвязное. На другой день пришли и первыми сдали экзамен...»

Она откинула волосы, отложила аккуратно блокнотик в сторону: «Все. Кажется, все. Нет, не все! Ах да, Аполлон Григорьевич. А стоит ли об этом писать в дневнике? Молодой преподаватель, перспективный, как говорят девчонки, художник. От слова «худо», что ли? Как же это все

получилось?»

Она тогда после экзаменов собралась ехать домой. В Жемчужное. А он направлялся в командировку в Павлодар. Как-то так странно получилось, что они оказались в одном поезде, в одном вагоне. И даже в одном купе.

Все было здорово. Сидели у окошка и глядели на пробегающие мимо поля, проскакивающие рядом столбы электропередачи, проплывающие, словно миры, поселки и станции.

Колеса стучали, светофоры мигали. Они болтали. Об институте, преподавателях, студентах. Аполлон Григорьевич сыпал остротами. Вечерело. До Павлодара оставалось еще часа два хода.

Потом Аполлон Григорьевич достал откуда-то из недр своего модного чемоданчика темно-зеленую бутылку «Советского» шампанского. Хлопнула о потолок пробка. Вспенились газовые пузырьки в стаканах. Чудно!

– Ну, за нас! – произнес он и, весело подмигнув, сразу потянул весь стакан, при этом закидывая голову так, что рыжая борода, как стрелка градусника, задралась кверху.

Она выпила глоток. Шампанское было кислым, резким. Сразу стало как-то обволакивающе тепло и приятно. Жизнь показалась ласковой и нежной.

Аполлон Григорьевич налил себе еще один стакан. Молодецки хватанул из него. Посидел, чтобы забрало. А потом... Неожиданно обнял ее.

В первую минуту она опешила. Но, когда почувствовала, как его влажные, с привкусом шампанского губы обхватили сверху кольцом ее губы, а гибкая рука художника полезла сзади под кофточку расстегивать лифчик, резко отпрянула в сторону.

Так романтично начатый вечер превращался в кошмар.

Она попыталась сбросить его руку с плеча, но он уперся теперь уже другой рукой ей в грудь и попытался повалить ее на полку. Куда там! Кишка тонка. Завязалась борьба.

– Дуреха! – бормотал он, пытаясь снова ее поцеловать, но упираясь губами и рыжей бородкой то в щеку, то в шею. – Ну что ты ломаешься? Какие ценности бережешь?

И все лез тонкой, волосатой рукой под юбку между ног.

Конечно, ей было приятно, когда Аполлон Григорьевич ухаживал, дарил цветочки, делал комплименты. И даже рисовал портрет. Там, в колхозе, где они были осенью. Но она никогда не воспринимала всего этого всерьез. Это была какая-то игра. Так положено. И он был в рамках.

Ручной, ласковый. Можно сказать, похожий на ее плюшевого мишку, которого она купила в ожидании будущей Олимпиады. А этот сегодняшний Аполлон был не тот. Как зверь. Налетел. Больно хватает ее маленькую грудь. И похож на какого-то хорька. С этой своей бородачкой.

За дверью купе слышались голоса. Кто-то, проверяя, дернул несколько раз металлическую ручку.

Он отскочил от нее. Сел напротив. Она воспользовалась его замешательством и выскочила в коридор.

По коридору, удаляясь от их двери, шагал проводник. За ним – какой-то мужчина с большим черным чемоданом на колесиках.

Она быстро прошла в туалет. Глянула в мутное зеркало на свое раскрасневшееся лицо, растрепавшиеся волосы. Быстро привела себя в порядок. Снова вышла в коридор. Остановилась у окошка.

«Какой мелкий негодяй! – думала она. – Не зря Валька говорила: “Все мужики – животные”».

Весь ее душевный мир опрокинулся в одно мгновение. Ей казалось, если это случится, то нескоро. И с человеком, которого она полюбит. И если полюбит, то всей душой.

И уж конечно, этим человеком будет не Аполлон Григорьевич с его протяжным «Галочка! Галочка!» А настоящий мужчина. Умный, сильный. Такой, как ее папа.

Она присела в коридоре на приставную скамеечку и тихонько заплакала. Что-то такое надломилось. Как будто жила она в тумане, в мире теней. И вдруг туман рассеялся. Все стало пугающе ясным, резким. И уже нет полутонов, розовых теней. А есть живые, горячие люди. Лыдинка растаяла. И стало больно-больно. Там, где сердце.

Открылась дверь купе. Выглянула взлохмаченная борода Аполлона Григорьевича. Прежнего. Ласкового. Слащавого, виноватого.

– Галочка, идите в купе. Это же просто неприлично! Вдруг кто-то увидит?

– Отстаньте от меня! Закройте дверь!

Она так и провела оставшееся время на этой скамеечке. Молча глядела в окно. И только чуть кивнула головой, когда он, собрав свой модный чемоданчик, выскользнул из двери купе и, как-то слегка сгорбившись, подошел попрощаться, виновато пытаясь заглянуть ей в глаза.

Вчера она рассказала все старшей подруге Милке. Но та сначала поделила ее негодование, а потом все-таки сказала:

– Не надо было принимать его ухаживания! Раз уж он тебе действительно не нужен. В другой раз учтешь...

Она оторвалась от воспоминаний. Задумалась. Открыла дневничок снова. И написала: «И все-таки зачем-то он был нужен. Этот чужой, ненужный человек. Может быть, для того, чтобы развеять этот туман? К чему-то подтолкнуть мое сердце? Не знаю».

XVIII

Во дворе огромного, на целый квартал, строящегося панельного дома стоит синий гусеничный подъемный кран. На стреле его, как клюв, висит клин-баба. Кран бросает этот многотонный блестящий стальной стержень прямо в твердую, промерзшую за зиму землю. Бум. Глухой удар. Почва дрожит. Рыхлится. Черный экскаватор с оскаленными, толщиной с руку, зубьями ковша подхватывает эту землю, швыряет в стальной кузов грузовика.

Растет канава под теплоцентраль.

Дубравин смотрит на это действие с высоты четвертого этажа, и ревушие машины кажутся ему ископаемыми чудовищами, убежавшими из музея палеонтологии и ворвавшимися на стройку. В ярости они пока рвут землю, но через минуту должны ринуться друг на друга или на людей...

– Эй, Сашка! Ты чего? Куда пропал? Иди на перекур! – слышит он сверху голос звеньевского дяди Федора.

Он перестает смотреть на ревуших механических монстров и поднимает глаза на город. Район, где они сейчас работают, застроен маленькими частными домами с садиками, сараюшками, заборчиками. Их серая панельная многоэтажка возвышается в почти сельском разноцветном пейзаже, как несуразная каменная пирамида, разрушившая все понятия о соразмерности и гармонии.

Интересно, как изменится характер людей, которые из вот таких беленьких домиков переселятся в наши каменные панельные громадины? Ведь в одну такую домину можно заселить целую деревню. А запланирован тут большой микрорайон. И все дома будут почти одинаковые.

«Эх! – вздыхает Дубравин. – Будут ли нас в них вспоминать? Добром или злом? Вроде жизнь их облегчится. Не надо печки топить, воду таскать из колонок на улице. А с другой стороны, этажерка, она и есть этажерка... Ладно, пойду к ребятам. Что-то они там хохочут».

И почему ему не хочется быть монтажником? Работа на свежем воздухе. По четвертому разряду можно рублей двести пятьдесят замолотить... Квартыры дают на домостроительном комбинате. А все равно тоска. Потому что как представит, что всю жизнь, всю свою единственную и неповторимую жизнь он буду кричать: «Майна! Вира!» – и ставить, ставить, ставить эти бетонные коробки на земле... Так с души и

воротит.

Сегодня на стройке простой. Что-то случилось на комбинате. И поэтому панели поступают от случая к случаю, неравномерно. Вот все звено монтажников в очередной раз собралось на перекур в большой гостиной трехкомнатной квартиры, состоящей пока только из железобетонных наружных панелей. Травят байки и анекдоты. В центре стоит дядя Федор. Небольшого роста, пожилой, с седой трехдневной щетиной на щеках, но жилистый, твердый мужик. Одет в черную фуфайку и ватные штаны. Он здесь самый старший.

Рядом сварной Мишка Романов в особой зеленой, толстой, негнушейся робе. Розовые от холода щеки его гладко выбриты. Руки с длинными, как у скрипача, пальцами в ссадинах и царапинах. Он зябко прячет их, то подтягивая в рукава робы, то засовывая в карманы куртки.

Подпирает стенку плечом хмурый кореец Валерка Хан. Стоит, покуривает сигаретку в руку. Он помощник звеньевого.

Рядом присел на корточки белобрысый, с золотой фиксой (недавно поставленной) Витька Палахов. Ему лишь бы над кем-нибудь поржать.

Смуглолицый татарин бетонщик Наиль то и дело выглядывает за окошко. Ждет с минуты на минуту машину-бетономешалку.

Разговор о женской верности.

– Самые верные жены – это бывшие шлюхи! – откинув вверх свою похожую на рыцарское забрало сварную маску с окошком, уверенно доказывает Романов. – Они нагуляются по полной программе и тогда уж успокаиваются.

– Да брось ты! – машет рукой и окидывает всех снизу синим пламенем своих наглых глаз Витька Палахов. – Уж сколько я их знаю! Уж и замуж повыходили, а все равно ищут случаи потрахаться...

– Что вы вообще можете понимать в женщинах?! – дядя Федор, смахивая с рукава фуфайки цементную пыль, как всегда, начинает скрипучим голосом длинный рассказ-быль. – У нас в Карлаге сколько хочешь историй было. И про любовь, и так. С нами тянул срок один паренек. Красивый – просто нет слов. Десять лет получил при Иосифе Виссарионовиче. Оказывается, он с его дочкой вместе в школе учился. Ну и слюбились. Вот папаша его и отправил туда, куда Макар телят не гонял. Как только Сталин умер, его через две недели освободили... Вот любовь... А то еще история была с одним мужиком. После зимы работал он на расконвойке. А рядом с ним – целая бригада баб. Тогда в лагерях всякие были. И красивые тоже. Ну, короче, туда-сюда – стали они к нему подкатываться. Видят, что мужик с голодухи еле ноги волочит, начали его

подкармливать всей бригадой. Наверное, месяца два так продолжалось. Воспрянул он. Тут-то они к нему друженько всей бригадой и пристроились. Как-то смотрю: он в барак приходит. Глаза запали. Под глазами синие круги. Я потом ихнюю бригадиршу встрел и говорю: «Вы чо делаете, бабы? Разве ж так можно? Заездили мужика!» А она в ответ: «Да это мы с голодухи сорвались по первой. Сейчас у нас все устаканилось». Они график составили. Все чин чинарем. А почему сами недоедали, а его поддержали? Потому как это жизненная потребность человека. Надо ему. А вы... Тоже мне, знатоки...

– Эй, мужики! – раздается снизу голос тетки Натальи. – Вы что там, уснули? Панели пришли.



Дядя Федор мечется к оконному проему. Посмотреть. В аккуратный промежуток между домами осторожно втягивается тяжелый трейлер, загруженный панелями. Вот он свистнул воздухом в тормозной системе.

Поднял пыль при торможении. Остановился. Усатый водитель выглянул из окошка:

– Эй, ребята! Где здесь бригада Мукашева? Панели привез!

– Вот сволочи! – выругался дядя Федор. – Мы с утра стоим. А им все везут и везут.

– А как же, им надо национальный кадр поддерживать, – откликнулся сварной Романов.

– А чо, Федор сидел, что ли? – улучив мгновение, потихонечку спросил Сашка Валерку Хана. – А за что?

– Ты, парень, таких вопросов не задавай. Время такое было, – Хан притушил и бросил сигарету в окно. Проследил за ее полетом и добавил: – Это было так давно, что никто и не знает, за что. Но мужик он справедливый, хотя и крутой. Тебя, стропаля, вон как гоняет. Ему уж на пенсии давно пора быть. Но он не хочет уходить. Монтажник от Бога.

Наверху появился бригадир их комплексной строительной бригады Вася Беседин. Коренастый, лысый, морда красная от холода. В прорезиненном плаще, сапогах и кепке с пуговкой он похож на одетого бобра.

– Поеду ругаться в контору, в СМУ! – Трясущимися от ярости руками бригадир достал беломорину и швырнул пустую пачку на пол. – Это ж надо, совсем одурели. Все тащат для бригады Мукашева. А мы будто и не люди вовсе!

– Национальный рабочий класс создают. Своих героев! – дядя Федор поднес бригадиру огоньку.

Вася глубоко затыкнулся, чуть успокоился, снял кепку. Лысина под нею в отличие от багрового лица была желтая, с редкими волосками впереди и на макушке. Он почесал ее и добавил, крепко выругавшись:

– Это политика разве? Панели в первую очередь Уразу. Лучшие люди – Уразу. Наряды закрывать хорошо – Уразу. А мы что? Что мы, хуже работаем, чем его бригада? Ну, скажите мне, мы хуже, что ли? – обратился он к окружающим. – Нам детей кормить не надо?

Все вокруг потупились. Промолчали. Они знали, что их бригада работает несколько не хуже. Тем более сейчас они и люди Мукашева перешли к конвейерному методу сборки многоэтажек, где все завязано на поставки с комбината.

Если раньше панели сначала складировали, а потом из них собирали дом, то теперь они должны ставить их прямо с машин, строго по графику. Этаж за этажом.

А тут какой уж эксперимент, когда вовсе нет поставок. Ни по графику,

ни без него.

Обидно, что, пока они стоят, к Мукашеву уже пятый трейлер пришел. Потому что он казах. Партия поставила задачу создать национальный рабочий класс. Идет это дело туго. Сыны степей на стройках и заводах работать не хотят. Менталитет такой. Поэтому тем, кто идет в рабочие, создают тепличные условия. А из более-менее толковых искусственно выращивают героев и маяков. Глядишь, под шумок и другие подтянутся. Ну и рапортовать в Москву надо. Дело, мол, идет. И пастухи уже переквалифицируются в строителей, токарей, слесарей.

Может, для общей политики оно и важно. Но для конкретных живых людей обидно. Чем они хуже? И почему должны меньше зарабатывать? Мукашевцы уже на седьмом этаже. А они с четвертого никак не вылезут.

Бригадир пошумел-пошумел и, хотя понимал, что скандалить бессмысленно, все-таки сел в попутный КамАЗ и поехал в контору. Крутить хвосты.

Вернулся он через пару часов. Красный как рак. Даже не красный, а багрово-красный, с сизым отливом. Молча прошел в свой синий вагончик. Посидел там. Попил водички. И вылетел, как вихрь, на стройплощадку, где и разрядился:

– Ну, чего расселись-то? Давайте хоть мусор на втором этаже начнем убирать! Дубравин с Романовым, возьмите кувалды! Пробьете в вентблоках новые отверстия! Палахов с Ханом, поможете Наилю! Бетон пришел...

– Не надо было те блоки в санузлах ставить. Они же неправильные, окошко не там. А теперь корячься, пробивай! – заныл Романов.

– Какого черта! – сорвался бригадир и чесанул отборным матерком. – Не нравится работа – убирайся к Мукашеву!

– Да я чего? Да я ничего!

– Ну тогда молчи! Сам, что ли, не знаешь, как было? Вместо нужных вентблоков ставили те, что присылали с комбината. Так сейчас хоть четыре этажа имеем. А то вообще сидели бы лапу сосали. Вот пока есть время, надо слева пробить отверстия. А те, что справа, – замазать и заштукатурить! Ну, идите, – уже более примирительно добавил он.

– Айда, Сашка! – сказал Романов, снимая свою маску и подхватывая цельнометаллическую, сваренную из кусков арматуры кувалду.

– Мы ж монтажники, – ехидно заметил Дубравин, надевая грубые рукавицы.

– Так бригада у нас все равно комплексная, – не заметив подначки, ответил тот. – И бетон, если надо, таскать по подвалам будем, и шпонки

забивать раствором. И кувалдой поорудуем. Пошли!

Брызнула из-под кувалды бетонная крошка. Поднялась столбом цементная пыль. Тук! Тук! Сначала бьет один. Потом другой. Вот такой конвейер получается. Пробили дырку. Умотались. Взмокли. Перешли этажом выше. Присели у стенки передохнуть.

– И что, так всегда было? – спросил Сашка. – Ну, с этой бригадой Мукашева?

– Я раньше у него работал. Сам-то он мужик нормальный, Мукашев-то. Знаешь, рукастый такой. На любую технику сел – поехал. Его начальство разбаловало. Тянет, хочет героем сделать. Чтоб, мол, и в нашем СМУ был Герой Социалистического Труда. Вот и создают условия... Ну, ладно. Встали. Надо все этажи сегодня пройти. А то Вася орать будет.

– А остальные что делают?

– Он всем найдет дело...

– Знаешь, а я, пожалуй, про это безобразие в газету напишу. Пусть задумаются.

– Да брось ты, Сашка. Кто это напечатает тебя?

– А я все равно напишу! Нельзя так!

– Ну, смотри сам, Санек!

XIX

Задание ему дали. Случилось это уже летом. На неприметной явочной квартире КГБ, которая располагалась в новеньком, только что отстроенном доме Олимпийской деревни.

Они сидели на кухне, обставленной простенькой, но иностранной мебелью. Маслов – как всегда, спортивный, целеустремленный, коротко стриженный, глаза красные, усталые, да седина потянулась от висков вверх – торопливо ставил ему задачу:

– Ты ведь из Казахстана? Из Усть-Каменогорской области?

– Ну да. Поселок Жемчужный, – недоумевая, к чему он клонит, ответил Казаков.

– Мы, в общем, подумали и все-таки решили, что, пожалуй, лучше всего тебе на этой Олимпиаде поработать в составе одной из туристических групп, которые будут приезжать из республик и областей в Москву. – Маслов наморщил лоб и почесал его шариковой ручкой. – Нам кажется, что это будет наиболее эффективно. Ты молодой. Из местных. Тебя примут за своего.

Он помолчал секунду, затем добавил:

– Вылетишь в Алма-Ату. Там в ЦК комсомола в «Спутнике» оформишь документы. Тебе дадут путевку, билет, координаты руководителя группы туристов из Усть-Каменогорской области. На Олимпиаду поедут молодые активисты, передовики производства, спортсмены, но все-таки за ними надо будет приглядывать. Твоя легенда простая. Ты секретарь комсомольской организации из этого вашего... как его?..

– Жемчужного!

– Во-во! Оттуда. Заодно дома побываешь. Новости узнаешь. А потом вместе со всеми отправишься сюда, в Москву. Посмотришь с группой Игры...

– А возвращаться обратно надо? Ну, туда?

– Нет, не надо! Придумаешь что-нибудь. Например, что тебе нужно к родственникам в Рязань. Или еще куда-нибудь.

– Понятно. Когда выезжать, Евгений Борисович?

– Через неделю. Да, вот еще что... – он остановился на секунду, чтобы правильно сформулировать предложение. – Тут деньги тебе... Пятьсот рублей...

Анатолий почувствовал себя обиженным так, что в груди защемило:

«Я, оказывается, не помощник, не соратник, а продажная шкура». Сказал с обидою:

– Я же не из-за денег. От души!

– А мы знаем. Деньги тебе нужны для выполнения задания. Билет купить. Заплатить за путевку на Олимпиаду. Суточные. Ну, и в последнюю очередь – как поощрение, как премия... за работу.

– Понятно!

Действительно, в первую минуту из-за обиды Казаков даже не подумал, что надо было на что-то ехать в Казахстан. Теперь понял, остыл. Даже почувствовал гордость. Это уже серьезно, если ему доверяют такую сумму. Взял конверт, который Маслов положил на край кухонного столика, бережно положил в карман.

Маслов протянул ему листок:

– Черкни для отчетности, что получил пятьсот рублей.

– Как писать? От кого?

– А никак. «Получил пятьсот рублей».

Он так и сделал, но добавил от себя: «...для выполнения задания». И подписался: «Роберт».

Так, неожиданно-негаданно, Толик Казаков оказался в самолете, летящем в Алма-Ату из Москвы. Ему достался одиннадцатый, самый последний, ряд в первом салоне Ту-154. И от этого кресло его не откидывалось, а длинные ноги упирались в столик. Но он все равно был счастлив. Представлял себя героем шпионского романа, кем-то наподобие Джеймса Бонда, агента 007 – впереди Олимпиада-80. Враги хотят ее сорвать. Объявили бойкот. Собираются устроить провокации. А он, простой студент, со своими товарищами по комитету поставит им заслон, перекроет, можно сказать, фонтан.

Кстати говоря, он впервые в своей жизни летел на самолете. Да еще ночным рейсом. Что тоже было само по себе немаловажно для его самочувствия.

В Алма-Ату прилетел рано утром. Солнце едва-едва оторвалось от белой вершины Алатау. И поэтому аэропорт встретил их гулкой тишиной и прохладой. В Советском Союзе все аэропорты были построены по одному типовому проекту, разработанному еще в шестидесятые годы. И куда бы вы ни прилетели – будь то горячий Юг или ледяной Север – везде вы видели одинаковые стеклянно-бетонные коробки. Так, конечно, было дешевле строить. Сделал один проект, привяжи его к местности и шлепай. Впрочем, так же поступали и в домостроении. В каждом городе были кварталы-близнецы. Об этом даже комедийные фильмы снимали: приходит

человек спьяну к себе домой, а там...

«Одинаковые аэропорты, одинаковые микрорайоны, одинаковые памятники Ленину в центрах городов, названия улиц тоже одинаковые. В принципе, одинаковая оплата труда, одинаковые проблемы, мысли, чувства, судьбы. Что ж это за жизнь у нас такая?» – Анатолий, потрясенный неожиданными мыслями, ехал в точно таком же, как и в Москве, автобусе. И, глядя по сторонам, пытался понять, отчего мы так живем, как так получилось, что земля разная, природа тоже, а люди и их жизнь похожи до мелочей?

Впрочем, когда автобус выехал к центру города, эти мысли мигом улетучились. Сады сменились парками. Вместо унылых однообразных микрорайонов одно за другим вырисовывались прекрасные, уникальные по архитектуре здания. Дворец бракосочетания походит на кольцо, цирк в виде юрты, Дворец имени Ленина с золотой крышей и море алых роз на разделительной полосе проспекта Абая.

Впрочем, памятник Ленину был, как и везде, на месте. Черный идол с поднятой правой рукою стоял среди зелени парка спиной к бело-синим горам и лицом к высоченным колоннам квадратного серого Дома правительства.

Но это была скорее дань традициям. А город, прекрасный, солнечный, южный город, отстраивался по уникальному плану. И правда состояла только в том, что первый секретарь ЦК компартии Казахстана Динмухамед Ахмедович Кунаев был близким другом первого секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева и очень хотел увековечить память о своем правлении великими строительными проектами. И как всякий восточный владыка, сам лично следил за проектированием и строительством общественных зданий.

Ну а Москва... А что Москва? Она не вмешивалась. Так что за десятилетия так называемого застоя в столице Казахстана появились и уникальный оздоровительный комплекс «Арасан», в просторечии Баня, и высокогорный каток «Медео», и лучшая в Азии библиотека имени А.С. Пушкина.

Сейчас Кунаев был занят строительством нового здания ЦК компартии Казахстана и комплекса вокруг него. Розовый с белым прямоугольный куб дворца возводился поближе к горам, где чистый воздух и прекрасный пейзаж.

Для этого, правда, пришлось снести несколько кварталов жилых домов частного сектора, но то были издержки, а прекрасная площадь уже спускалась коричневатыми мраморными ступенями от дворца к проспекту

Аль-Фараби. Уже зазеленели лужайки вокруг. Забили сотни искристых фонтанов, подчеркивая и смягчая строгую красоту розовомраморного музея истории Казахстана и новой аппаратной республиканского телевидения, что расположилась рядом – по бокам от главного административного корпуса.

«Почему-то и эти здания, хоть и величественны, и прекрасны, но похожи на гигантские юрты! Неужели нельзя было как-то разнообразить? Впрочем, это, наверное, так задумано. Такой стиль. Казахский», – наглядевшись вдоволь, решил для себя Казаков.

Было еще раннее утро, когда Анатолий, поеживаясь от прохлады, сошел с автобуса-экспресса на остановке «Детский мир». Сориентировался. И пошел по направлению к ЦК комсомола.

Стеклянный шестиэтажный аквариум, в котором выращивались будущие руководители республики, был еще пуст. Анатолий постучал в стеклянную дверь. Откуда-то из глубины здания вышел заспанный молодой сторож-казах в растянутом спортивном трико и войлочных тапочках. И объяснил ему на пальцах, что рабочий день начнется только в девять часов, а сейчас его никто не примет, никого нет. Анатолий перекинул свою сумку через плечо и решил прогуляться.

«А ведь здесь живут и Шурка Дубравин, и Аманчик. Эх, дурень я, дурень! Почти год прошел. А я даже их адресов не знаю. Глупо все получилось. Тогда на выпускном. Чего мы обиделись? Ну, ушли они с Галинкой и ушли. А мы: бойкот, объявляем Дубравину бойкот! Год прошел. И не вернешь теперь этот год! Глупее не придумаешь. Попал в город, где живут твои друзья. Близкие люди. И не знаешь их адреса. Как искать? Хотя попробовать можно. Амантай ведь учится на юридическом. Закончу с делами, попробую его найти».

Он пересек по диагонали сквер. Прошел мимо гигантского черного памятника Ленину и неожиданно оказался перед водоемом, обложенным серыми гранитными плитками. В центре этого импровизированного бассейна островок, где на лужайке под зелеными кронами деревьев среди цветов расположилось маленькое кафе. К островку вели деревянные мостки.

«Акку – Лебедь», – прочитал Анатолий название на ажурных воротцах. Он прошел несколько шагов по мосткам, остановился посередине и неожиданно увидел на зеленоватой прозрачной воде двух лебедей. Черного и белого. Они тихонько проплывали вниз. Потрясенный тишиной, покоем и какой-то разлитой в чистейшем воздухе гармонией, Анатолий ощутил неожиданную беспричинную радость бытия. После шумной, огромной

Москвы с ее тысячными толпами он особенно остро почувствовал уют этого города, несомненно, созданного не для работы, а именно для жизни. И ему вдруг страшно захотелось остаться здесь навсегда!

«Бывает же такое», – подумал он. Присел на пластмассовый стульчик в кафе. И сидел долго-долго. Пока не появилась уборщица и не начала растаскивать стулья.

В ЦК ВЛКСМ Казахстана он явился вовремя. Очкастый хлыщ в костюмчике-тройке стального цвета – главный в бюро «Спутник» – без долгих разговоров (ему позвонили) сплавил его в отдел, где юркий и пронырливый «комсюк» принялся долго и нудно, то и дело отвлекаясь, оформлять его документы. Анатолий молча сидел на стульчике, разглядывал обстановку и безупречно круглую, масляную, как блин, рожу «комсюка». Когда в отдел кто-нибудь заглядывал, тот обязательно сладко расплывался в улыбке, плутоватые глазки становились узенькими, а на щеках образовывались хомячки.

«И вот такие через десяток лет будут управлять нами, – думал Анатолий. – Как он сюда попал? По какому благу? За какие заслуги? И самое главное – он уже номенклатура. А значит, худо-бедно жизнь его налажена, поставлена на рельсы».

– Ну вот, товарищ Казаков, – закончил писание бумаг «комсюк». – Вот ваша путевка!

И протянул ему плотный, почти картонный красочный буклет с милым улыбающимся олимпийским медвежонком в разноцветном поясе из пяти колец в обнимку с эмблемой «Спутника» – человечком с головой – земным шаром. И завистливо добавил:

– Теперь вы по нашей квоте включены в состав делегации, едущей на Олимпиаду от Усть-Каменогорской области, как активист и общественник. А кто, интересно, вас рекомендовал?

Казаков многозначительно поднял палец вверх и посмотрел в потолок.

– А-а-а! – почтительно закивал инструктор. – Понятно...

Он долго плутал по извилистым коридорам старого, построенного в тридцатых годах в стиле конструктивизма здания Казахского государственного университета имени Сергея Мироновича Кирова. Почему Кирова, а не какого-нибудь Бабая? Дело в том, что цивилизованная история казахского народа, в общем-то, началась с Октябрьской революции. Тысячи лет казахи были кочевниками. Бродили по бескрайним степям. Вели натуральное хозяйство. Ели бешбармак и казы. И может быть, так и остались бы в истории народом трех жузов, никогда не

имевшим собственного государства и застрявшим на стадии родоплеменных отношений, если бы не Ленин и его интернационализм. Они дали возможность казахам сделать грандиозный скачок из исторического небытия в двадцатый век. Разоря своей национальной политикой центральную Россию, обрекая ее народ на вымирание, коммунисты поднимали окраины великой империи. Миллионы русских и нерусских интеллигентов были отправлены сюда на ликвидацию повальной неграмотности, нищеты, бескультурья. Композитор Брусиловский собрал народные казахские мотивы и создал из ничего музыку. Русские архитекторы построили прекрасные города. Инженеры и рабочие возвели заводы. Так что Казгу не зря носил имя большевика из Ленинграда. Правда, сейчас выравнивание жизни окраин с центром не было столь явным, и молодые казахи уже старались не вспоминать о цивилизаторской миссии России.

Анатолий сделал еще пару поворотов по коридору. И, наконец, наткнулся на дверь аудитории с табличкой «122». За дверью царил тишина. Поэтому Казаков слегка приоткрыл ее и осторожно заглянул. Аудитория была полна. На него сразу уставилась целая сотня любопытных черных глаз. Шли занятия, народ записывал вопросы к экзамену по римскому праву.

Смутившись, Казаков прикрыл дверь и принялся ждать. Минут через десять резко распахнулись обе половинки двери. И хлынула черноголовая, раскосая толпа студентов, в которой редко-редко вдруг появится славянское лицо или обесцвеченная перекисью водорода искусственная светлая шевелюра. Анатолий внимательно вглядывался в каждого выходящего, чтобы не пропустить Амантая. И вот наконец кто-то похожий показался в дверях.

Это был он. Все такой же слегка сутулый, тощий, плечи, как вешалка, черная челка над раскосыми черными глазами. Но одет, как на картинке. Костюмчик не хуже, чем на том очкастом хлыще из «Спутника». Дипломат в руках. Одним словом, «элегантный, как рояль». И было еще что-то новое, появившееся в его облике, чего Анатолий, тоже вращавшийся среди студентов, никак не мог определить.

– Аманчик! – позвал он его. До сей секунды он даже не представлял себе, как на самом деле скучал по друзьям. А тут вдруг его неожиданно залила какая-то невеста откуда взявшаяся бешеная радость от этой встречи. Сердце застучало в груди. Кровь хлынула в лицо.

Амантай недоуменно оглянулся на голос. Несколько секунд разглядывал новое обличье Казакова, его бакенбарды, усы, пышную

шевелюру. Удивленно спросил:

– Казак! Ты, что ли?

– Да, я, я! – крикнул Толька и двинулся к нему, широко расставив руки для объятий.

– Ты? Откуда? – Амантай обрадованно улыбнулся, не показывая зубов. И как был с коричневым дипломатом в руках, обнял его.

Странное дело. Жили они врозь уже год. Не общались. Писем не писали. Так, только вполуха слушали, что с кем происходит. А стоило встретиться – и нахлынуло прежнее. Сразу вспомнился их рай. Жемчужное. Детство.

– Как ты сюда попал? Почему? Мог бы хоть написать, что приедешь! – закидал его вопросами Амантай.

– Да я...

Анатолий уже хотел по старой привычке всем делиться с друзьями рассказать о том, что он по заданию едет на Олимпиаду, но вовремя вспомнил, что время не разлей воды кончилось. А теперь у каждого из них своя, взрослая, жизнь, у которой свои правила. Как отнесется к этой его миссии Амантай – тоже неясно. А в сомнении лучше воздержаться. Поэтому он уклончиво ответил:

– Да я по делам. В ЦК комсомола приехал.

– О-о-о!

Турекулов оценил его приезд, судя по возгласу, высоко. Кто-кто, а Амантай, упорно карабкающийся по комсомольской карьерной лестнице, понимал значимость такой командировки.

– А что за дело у тебя там? Может, я чем помочь могу?

– Да так, пустяки, – поскромничал Анатолий, – для поездки на Олимпиаду документы оформляю...

– Ну, ты даешь, старичок! – Амантай еще раз с завистью глянул на друга. – Я секретарь комитета комсомола факультета, а и то не смог пробиться... Молодец...

– Ты как вообще поживаешь? Видишь кого-нибудь здесь из наших? Шурка тут где-то должен быть... Чего не пишешь?

– А ты-то сам пишешь? Тоже мне...

Им обоим не терпелось узнать все новое друг о друге.

– Давай, дружище, где-нибудь пойдём посидим, – предложил Казаков.

– Давай! – живо отозвался Амантай. – Только я не особо разбираюсь, куда можно сходить...

– Жарко у вас. Хоть пивка попьем. У меня тут рыбка сушеная. Привез друг из Астрахани.

– В пивную?! Вроде не очень удобно! – заметил Турекулов. – Я все-таки комсомольский работник.

– Да брось ты! Друг приехал. Один раз в год и тебе можно.

– Ну, может, тогда к «мертвяку»? – с сомнением в голосе произнес Турекулов.

– Ку-у-у-да?

– Да это здесь, рядом с факультетом, больница есть, в ней морг, а за забором больницы пивная. Вот наши студенты ее и прозвали «У мертвяка»!

– Ха-ха-ха-ха! – Анатолий звонко рассмеялся, показывая белые крепкие зубы и закидывая голову. – Ну, к «мертвяку», так к «мертвяку». Главное, чтоб недалеко было. Уж больно жарко...

В пивнушке к крану тянулась длинная очередь. И как всегда, не было свободных кружек. Но Анатолий в отличие от Амантая быстро освоился в обстановке. Через пару минут он уже поставил Турекулова рядом с одним из студентов в очередь и позаимствовал у тех, кто заканчивал процесс потребления, пару тяжелых ребристых стеклянных кружек.

Через пять минут они уже сидели на скамеечке, разложив жирную астраханскую рыбку на газету, и увлеченно рассказывали друг другу о жите-бытье.

Анатолий только сейчас, увидев, как Амантай, прежде чем сесть на скамейку, расстелил платочек, определил то новое, что появилось в друге: лощеность! Такое ощущение вызывают все, кто занимается комсомольской работой. Чем-то неуловимым они отличаются от нормальных людей. Вот и он тоже обрел этот налет.

Впрочем, эти мысли не мешали ему радоваться встрече с другом.

Сначала Турекулову было как-то не по себе здесь. Тем более что за соседним столиком он заметил пару знакомых студентов. Но, отхлебнув пивка, Амантай помягчел. Перестал топорщиться. И уже спокойнее относился к Толькиным усам и бакенбардам.

– Жаль, Шурки нету. Хорошо бы сейчас нам всем встретиться! Посмотреть друг на друга. Ведь только сейчас начинаем понимать, как здорово мы жили тогда в Жемчужном, – не переставая чистить рыбку и отхлебывать из щербатой кружки, говорил Казаков.

– Да, сейчас вспоминаешь, – кивал головой Амантай, – и думаешь: глупые мы были. Чего-то обижались. Особенно я. Бойкот ему объявляли. Посмотреть бы на него. Как он? Чем дышит? Чего добился?

– А ты сам как? Что думаешь делать-то?

– Я хочу по партийной линии идти. Мне агай Марат посоветовал юрфак

закончить и сразу попытаться попасть в райком или горком комсомола. А если повезет, дядя может помочь и в ЦК устроиться.

– Ну, у тебя и планы, Аман! Прямо наполеоновские. Чтобы в ЦК попасть, надо башкой работать.

– А чо, я тупой, по-твоему, что ли? Не могу в ЦК работать? – обиделся Амантай, совсем как в Жемчужном.

– Разве я что-нибудь сказал обидного, Аманчик?! Давай лучше выпьем за наших друзей. За Шурку, за Андрея Франка. За девчонок наших. Галку, Людку, Валюшку! – обтирая жирные от рыбы пальцы и поднимая кружку, сказал Казаков.

– Давай!

Они чокнулись кружками так, что желтый пенный напиток чуть не пролился на газету.

– У тебя девчонка-то есть, Амантай? Как у тебя с этим делом?

– Да ну их... Есть тут одна...

Расставались они уже вечером. На вокзале. Долго обнимались. Клялись в вечной дружбе.

Крепко выпивший Казаков восторженно говорил Амантаю:

– Алма-Ата – такой город! Такой город! Я только с трапа сошел и сразу полюбил его. Все здесь чудно. Только одно меня напрягает – микрорайоны везде одинаковые. Вот скажи мне, Аман. Почему так? Поч-ч-ч-ему у нас в стране в-в-все одинаковое? Вот вокзал. Точно такой я видел где-то. А где – не помню...

– У нас не одинаковое, – политически подкованно отвечал Турекулов, поддерживая друга, – а единое. В единстве наша сила. Понял?

– По-ня-л! – пьяно кивал кудрями Анатолий. – От того, что мы одинаковые, мы сила. Страна сильная. Какие разные, они слабые. Кто в лес. Кто по дрова. А у нас все как один... Ух!

Он сжал кулак и поднял его вверх:

– Но по шарам...

– Давай билет! Где он у тебя? Садись в вагон. Я тебе помогу. Девушка, это какой вагон? А, десятый!

В купе Амантай обещал, что найдет Дубравина. И они все вместе, как в старые добрые времена, сходят в горы. Культурно отдохнут...

Они словно и не хотели замечать, как жизнь потихонечку, полегонечку растаскивает их по новым колеям. Мечты, мечты... Где ваша радость?

Уйдут мечты, а что останется?

XX

В газету он тогда написал. В ту самую многотиражку «Домостроитель», где еще осенью напечатал свои стихи о стройке: «Стройка с тройками нас принимает, жить же учит на пять...» и так далее.

Неожиданно его заметка вышла в свет. Она называлась «Очередь на конвейере». Правда, в ней ни слова не было о том, что бригада Мукашева имеет преимущества, что ее тянут в передовые. Просто в двух абзацах рассказывалось: «...из-за неполадок в формовочном цехе Алма-Атинского домостроительного комбината замедлилась сборка экспериментальных домов новой серии».

Когда очередную кипу газет, привезенных в вагончик, бригада разобрала на самокрутки, к нему подошел сварной Мишка Зарубин и ткнул грязным пальцем в заголовок на первой полосе.

– Гля, Дубравин, – он впервые назвал его по фамилии. – Это ты, что ли, написал?

– Чего написал-то? – удивился не на шутку тот.

– Ну, что мы стоим из-за панелей. Не ожидал я. Молоток!

Сашка выхватил у него номер, жадно уставился в подпись. Внизу и правда стояло жирно: «А. Дубравин, монтажник СМУ-2». Он несколько раз подряд прочитал написанное. Набранный шрифтом текст был каким-то чужим, официальным. Кроме того, в редакции от себя добавили несколько высокопарных предложений типа «Идя навстречу...», «Бригада взяла повышенные социалистические обязательства...», «Партия учит нас...».

Конечно, ничего подобного сочинить он никак не мог. Но подпись стояла. И Сашка был явно польщен тем, что его талант заметили. Даже бригадир, дядя Вася, как-то по-новому взглянул на него, когда однажды на стройке появилась корреспондентка «Домостроителя» и спросила его:

– А где наш внештатник?

Дубравину корреспондентка не особо понравилась. Такая толстенная кудрявая девушка в синем беретике, беленьком плаще и каких-то высоких шнурованных ботиночках. Он представлял себе корреспондентов несколько по-иному. Как в фильме «Журналист». Молодые, красивые, умные мужики из другой, недостижимой жизни. А эта девчушка такая же, как и он сам, простоватая.

Но то, что она предложила ему сходить в редакционную кассу за гонораром, его чрезвычайно обрадовало. Пятнадцать рублей – неплохие деньги. Тем более за два абзаца в тридцать строчек.

Жизнь продолжалась. Впереди диплом об окончании ПТУ. А с ним

профессия. Уже в восемнадцать лет что-то есть в руках.

А летом поступит в университет. На исторический факультет. Он, правда, хотел себя попробовать в другом. В психологии. И даже сходил после провала в военкомате медкомиссии в приемную пединститута. Но разговор там получился какой-то странный.

– Вы набираете группы по специальности «Психология»? – спросил он женщину в приемной декана факультета.

– Да, у нас набирают. Но мы принимаем на этот курс только коренных жителей республики! – приветливо ответила она. – И направляем их для дальнейшего обучения в Москву, другие крупные города. А вы же не казахи?

– Как видите!

– Ну, тогда вам к нам дорога заказана.

– Так что, я человек второго сорта, получается? – начал возмущаться он.

– Я ничего не знаю! – тоже повысила тон она. – У нас есть разнарядка. Есть приказ министерства. Вот туда и обращайтесь, – и отвернулась, давая понять, что разговор окончен.

Так что на семейном совете решили: исторический.

Но сегодня он достал из ящика странное послание. Военкоматовскую повестку: «Вам необходимо явиться в Калининский районный военный комиссариат... При себе иметь следующие документы: военный билет (или приписное свидетельство, партийные документы, паспорт)».

Все чин чинарем. По-взрослому...

Этот серый листок с синими печатями странно озадачил его: «С чего бы это они меня вызывают? Восемнадцать мне только через три дня исполняется. Вроде в армию еще рано. Разве что осенью. Значит, это наверняка связано с военным училищем. Точно! Может, у них куда-нибудь получился недобор? Вот и вспомнили обо мне. Ура! Надо срочно туда мчаться. Теперь-то я не оплошаю. Пройду!»

С новой силой вспыхнула в его душе мечта стать офицером.

Знакомый равнодушный дежурный носатый майор молча взял в руки его повестку. Посмотрел. И кивнул:

– Тебе, боец, в седьмую комнату.

«Почему в седьмую? Я ведь раньше ходил в шестнадцатую?»

В седьмой комнатухе, заваленной делами в картонных папках, пахло мышами и армейской безнадегой. Такая же равнодушная курносая толстая тетка с погонами сержанта отметила его явку и казенно-безлично сообщила, зачем его вызывают:

– В соответствии с законом о всеобщей воинской обязанности вы призываетесь на действительную военную службу... и обязаны явиться на призывной пункт двадцать второго в одиннадцать ноль-ноль.

– Подождите. Мне же еще восемнадцати нет? – Дубравин в ошеломлении смотрел на нее.

Она тяжело вздохнула, мол, сколько вас тут дураков ходит!

– Но к моменту призыва исполнится?

– Исполнится! – машинально ответил он.

– Вот поэтому и призываем. Повестку вы получили. В случае неявки на призыв будете считаться уклоняющимся. Со всеми вытекающими последствиями.

«И где они набирают таких сволочных теток? – думал он, возвращаясь домой в состоянии полного опупения. – Мурло! Рыло свиное! Рожа неумытая! Даже не захотела ничего слушать. Опять какая-то медкомиссия. Месяц назад меня их медкомиссия признала негодным для поступления в училище. Взяла бы карточку, заглянула туда! Так нет же! – Он скривил губы так, что шедшая по улице ему навстречу девчужка в испуге перешла на другую сторону. – Доставим с милицией! Кого? Меня?!»

В голове у него был полный раздрай. С одной стороны, он вроде уже смирился с тем, что его военная карьера не состоялась. И поэтому решил идти в университет. История ему нравилась страшно. Хотя, честно говоря, не хотелось всю жизнь копать курганы да разглядывать в музеях черепки. Вот самому действовать. Творить эту историю. Это по нему.

С другой стороны, вновь возникала хотя и неясная, туманная, но перспектива. Можно было, прослужив год срочной службы в армии, без особых проблем поступить в любое военное училище. И тогда ему никакая их дурацкая медицина не мешает.

Да вот беда, теряется целый год.

Так ничего толком и не решив для себя, он поплелся домой. Все как раз были на месте. Показал сестре повестку. Объяснил, что да как.

– Да ты что?! – взвилась она. – Мы же уже договорились, что будешь поступать в университет. На истфак. Тебе вообще не надо было туда ходить!

Она даже покраснела от злости.

В их разговор вмешался Анатолий. Он долго разглядывал повестку, качал головой, морщил губы:

– Но он-то уже был там. Расписался, что о призыве предупрежден. Если не пойдет на комиссию, объявят уклонистом. И прийти с милицией могут. А это не есть хорошо. Сам-то ты что думаешь по этому поводу?

– Честно говоря, голова кругом идет. И так – не так – и этак не этак. Что делать? Не представляю.

– Я думаю, тебе надо туда сходить. На комиссию. Только возьми с собой заключение прошлой медкомиссии. Там наверняка тот же самый состав. Поговоришь с главврачом. Они же признали тебя негодным для училища.

– Точно! Так и сделай! – Зойка обрадованно выдохнула. – Они ж от своих подписей не откажутся...

* * *

Врачи были те же. Но состав призывников другой. Во-первых, разных возрастов. От восемнадцати до двадцати восьми. Во-вторых, по многим лицам было видно, что эти «университетов не кончали». Да и не собираются. Много было ПТУшников.

В одном из закоулков военкомата Сашка неожиданно наткнулся на Витьку Палахова. Тот сидел в одних трусах на скамеечке перед кабинетом хирурга и, глядя ясными наглыми глазами на стоящего перед ним длинного, худого, растерянного парня, поучал его:

– В этот кабинет надо входить так. Открываешь дверь. Поворачиваешься спиной. Снимаешь трусы. Наклоняешься. И задом заходишь.

Длинный парень, по-видимому деревенский, сомневаясь, оглядел лица сидящих рядом с Палаховым. Но все серьезно-утвердительно закивали ему в ответ. Он постоял, вздохнул. Ну, что поделаешь. Задом – так задом. Открыл дверь. И пошел.

Через секунду из-за двери раздался дикий крик. Парень вылетел как ошпаренный, натягивая трусы.

В коридоре гогот:

– Ну, ты, Чемолган, даешь!

– Га-га-га!

– Ха-ха-ха!

Дубравин подошел к Палахову.

– Привет, старик! – Витька, чуть не падая со скамейки, все еще хохотал. – Ты видел его? Задом! Задом! Снял штаны. И пошел. Во дуб! Надо же таким быть! – Он слегка успокоился: – Тебя тоже берут?

– Ну да, вызвали! – поморщился Дубравин.

– Вместе, старик, в десанте служить будем!

И снова, как и месяц назад, тот же последний кабинет. Та же медкомиссия в полном составе. Но разговор получился совсем другой.

– Годен! Без ограничений! – произнес доктор, заглянув в его бумажки.

– Как же годен? – удивился Дубравин. – Ровно месяц назад меня не взяли в военное училище. Вы же сказали «психоневрологическая дистония». Белок в моче. Вот ваша ассистентка, – он кивнул на стерву, – нашла. А теперь – годен. Где же правда? Там или здесь?

– Так то военное училище! – встряла ассистентка. – А это армия.

– Ничего не знаю! – сердито проворчал главный. Чувствовалось, что ему неудобно. И повторил более рассерженно.

– Ничего не знаю! Вот карточка. Написано везде: «Здоров». Будешь служить!

XXI

У Амантая Турекулова поехала крыша. Забыты все дядины разговоры и наставления, где, как и с какими девушками заводить знакомства, чтобы найти себе «достойную пару». А все из-за нее. Из-за Альфии.

Наполовину татарка, наполовину казашка, эта миниатюрная, изящная, как статуэтка, горячая маленькая женщина полностью завладела Амантаем. А все началось с того самого дня рождения в общежитии. Он-таки пришел тогда. С цветами.

Дверь открыла красивая городская казашка в узких джинсах.

– Ах, Амантай, дорогой! Заходите, пожалуйста, – фамильярно произнесла она, убирая в сторону руку с белым пластмассовым стаканчиком и подставляя крашенные губы для поцелуя.

Турекулов от пьяного поцелуя уклонился и стал вглядываться в полумрак комнаты, высматривая свою торе.

Пьянка была в разгаре. В углу гремел «Студенческой песней» Давида Тухманова магнитофон. Хорошо поддатый народ плясал и скакал вокруг извивающейся в центре комнаты именинницы. Покачивая обтянутыми платьем бедрами в такт музыке, подняв гибкие руки вверх, Альфия с многообещающей улыбкой поворачивалась в танце вокруг оси...

«Пропал! Совсем пропал!» – как и тогда в фойе, подумал Турекулов, ощутив острое, горячее желание схватить ее на руки, сорвать платье, прижаться к этому гибкому телу.

– Штрафную! Штрафную опоздавшему! – шумит народ, увидев его, и прерывает танцы.

Амантай церемонно протягивает имениннице букет гвоздик, галантно чмокает протянутую гибкую руку с красными, будто опущенными в кровь, пальцами.

А длинный очкастый хохол с маленьким обезьянним лицом уже тащит Амантаю стакан. Разбавляет его содержимое из большой бутылки. Сует в руки.

Эх, была не была! Важно не сплеховать. И Амантай залихватски «тяпает» огненную воду.

Обжигая пищевод, сползает в желудок огненная змея. Это «Северное сияние» – шампанское с водкой. Амантай быстро-быстро заедает штрафную бутербродом с колбасой.

Минута, а в голове уже туман. Тепло. Светло. Весело.

Кругом визг, крик, музыка.

Амантай, как теленок за коровушкой, тянется к Альфии. За жизнебрызжащей, огненно притягивающей красавицей своей.

Танцуют танго. Во рту пересохло. Сердце стучит. Она близка и одновременно недоступна. Он ворошит ее волосы. Целует теплую мочку ушка. Дурееет от ее сладкого запаха.

Она тоже трепещет в его руках. Наконец откидывает голову. И впивается своими ярко накрашенными губами в его рот. В глазах у него все плывет. И нет уже ничего на свете, кроме этого горячего податливого тела. Когда напряжение достигает наивысшей, сумасшедшей точки, Альфия вдруг начинает осторожно высвобождаться из его объятий и тихонько, взяв его за руку, шептать с напором:

– Пойдем! Пойдем, пойдем!

Они рука об руку выскользывают в дверь, прошмыгивают тенью по коридору. И проникают в другую комнату. В темноте несколько раз натываются на какие-то предметы, но не останавливаются, а пробираются куда-то дальше, пока не оказываются у кровати.

Садятся на краешек. И снова исчезает куда-то общежитие. Исчезает прежняя жизнь.

Кожа у нее прохладная, гладкая...

...Потом они лежат, обессиленные и пьяные.

Наконец Альфия приоткрывает глаза. Осматривается из-под него по сторонам, говорит неожиданно:

– Ты хоть одеяло сверху накинь! А то кто-нибудь вдруг зайдет!

Она торопливо одевается, быстренько целует его и исчезает за дверью.

* * *

«Прошла зима, настало лето. Спасибо партии за это». Насмешливая речевка эпохи, официально признанной впоследствии эпохой застоя, вспомнилась Зойке в тот момент, когда она вместе с детьми приехала к родителям в Жемчужное на каникулы.

Летом деревня оживает. Сюда наезжают все, кто покинул родные края и год тому назад, как Дубравин, и двадцать, как сама Зойка. Съезжаются не только те, кто покинул Жемчужное, но и их дети, внуки.

Закипает жизнь в родовых гнездах. А вечером выплескивается на улицу, в центр. Народ валом валит в кино, на танцплощадку. По окончании культурных мероприятий разбредается по аллеям, темным уголкам, кустам, чтобы продлить отдых. К осени подводят итоги летнего сезона. По дворам начинают играть свадьбы. Счастливые невесты торопливо затягивают

полнеющие талии в белые платья. Женихи с горя надевают черные костюмы.

Так было всегда. Не отвертелся в этом году и Иван Дубравин. Нашелся хомут и на его крепкую шею. Весь этот год он как русский человек заливал свое всемирное горе крепким, пахнущим табачком самогоном да таскался по бабам. Но подловила его не прожженная Машка Жаданка и не продавщица Соня, а семнадцатилетняя соседская девчонка. Иван спьяну поспорил с собутыльниками, что переспит с нею. И выиграл пари.

Две ночи шли переговоры в кустах. На зорьке третьей она, потягиваясь, вышла на крылечко из дубравинского дома. А через час сюда уже примчался ее сердобольный дядя-законник. Когда-то он работал в суде, а потому вкратце объяснил обалдевшему Ивану и его родителям, что такое разращение малолетних и сколько за это самое разращение дают. Иван безуспешно пытался доказать, что невиноватый он. Что она сама к нему домой пришла. Более опытный отец поглядел на морщинистого желчного дядю, на его алчущие глаза, торопливо шарившие по дому, и сказал:

– Женись, сынок, а то еще хуже будет. Затаскает он нас по судам.

Молодой-то особо и не сопротивлялся. Девка свежая, ядреная. Задница круглая. Чего еще надо?

Наскоро собрали свадьбу. Счастливые родственники невесты напились до изумления. И приняли Ивана в свою семью как родного. Уже на третий день после свадьбы он квасил в кустах вместе со старшим братом молодой жены.

Так что приехавшей с детьми Зойке пришлось поселиться в Шуркиной комнате, куда до этого мать никого не пускала. Зойка наслаждалась деревенской жизнью, слушая по ночам неумолчный скрип кровати в комнате Ивана, читала письма Дубравина из армии и собирала деревенские сплетни, чтобы вечером обсудить их с подругами на лавочке. В силу природного женского любопытства и привычки всюду совать свой нос Зойка стала живо интересоваться тем, в кого же все-таки влюбился ее брат. Да как влюбился! Потерял покой и сон. Не ел, не спал, а только и думал об этой деревенской дурочке.

Так что, когда к середине июля после сессии в деревню приехала Озерова, ее уже ждали. С нетерпением.

* * *

Галинка почти блаженствовала в Жемчужном. Теплая погода. Своя комната. Своя постель. Казалось бы, живи да радуйся. Но было что-то неуловимое, разлитое в воздухе, в воде, в эфире, если хотите. Какое-то

томление. Томление души, которое не позволяло ей чувствовать себя совсем счастливой. Была пустота. И ощущение того, что вот сейчас кто-то придет. И все. Душа наполнится. Счастьем, радостью, жизнью.

В общем, пришла пора.

А солнечные дни тем временем летели в хлопотах и заботах. Позавчера пололи картошку, вчера считали кур во дворе, сегодня закручиваем помидоры, завтра, наверное, начнем варить клубничное варенье. Приехали и школьные подруги. Зеленоглазая, круглолицая, молчаливая русская красавица Валюшка Сибирятко. Никуда не исчезающая Людка Крылова. Объявилась даже могучая Зинка Косорукова.

Стали ходить в гости друг к другу. А по вечерам в кино и на танцы.

Вот в один из таких вечеров, когда зацвели белым в школьном саду каштаны, когда новые выпускники бродили по деревне парочками с самым трогательным видом, Зойка отправилась в кино со своей давней знакомой – Машкой Жаданкой. Весь фильм она крутилась, высматривая в зале подружку своего брата. Толкала локтем в мягкий бок толстую, как холодильник, Машку и спрашивала:

– Во-о-он девочка сидит на пятом ряду! Это не она?

– Нет, не она! – злилась в ответ Машка. – Не мешай, дай посмотреть. Сейчас Митхун Чакраборти будет выступать...

В конце концов уже после индийского фильма в толпе на выходе из клуба Машка указала ей на двух девчонок, торопливо пробиравшихся к дверям.

– Это она? Которая? Справа? – Зойке сразу бросилась в глаза кудрявая томная красавица с тоненькой талией, высокой грудью. – Хороша! Яркая. Манящая.

– Да нет же! – опять злилась Машка. – Которая рядом.

И показала глазами на худенькую, хрупкую, коротко остриженную девушку:

– Вот эта!

– А-а-а! – разочарованно протянула Зойка.

Она представляла себе какую-то необычайную красоту, ради которой ее любимый брат сходил с ума, а увидела кроткую, ласковую, хрупкую девчушку.

Впрочем, это несоответствие не мешало ей действовать. И уже через несколько минут она догнала подружек на мостике через тихую ленивую речку.

– Здравствуйте, Галя! – церемонно поздоровалась она с Озеровой. – Я сестра Саши...

«И что он в ней нашел такого? – думала она, тем временем разглядывая Галку и изо всех сил пытаюсь понять выбор брата. – Разве что глаза. Да, глаза. Огромные красивые глаза! А так самая обычная. Нет, не такая нужна Шурке девушка. Вон он у нас какой. Мужик огромный, симпатяга. А эта – пигалица. Пожалуй, вторая была бы интереснее, – остановила она свой благосклонный выбор на Людке. – Ишь какая штучка!»

Но, несмотря на все эти размышления, разговор она вела совсем другой:

– Я, собственно, подошла просто познакомиться!

Галка зарделась. У нее почему-то ни с того ни с сего забилося сердце. Бросило в жар.

– Здравствуйте!

Людка поняла, что она здесь лишняя, зыркнула глазами на сестру Дубравина и, быстренько попрощавшись, ретировалась с поля сражения. Все равно Галка расскажет ей, что да как было.

– Так получилось, Саша сейчас в армии, – Зойка немедленно ринулась в атаку: – А я с детьми здесь. У родителей отдыхаем. Мне просто стало любопытно увидеть вас.

– Да? Мне тоже!

Зойка решила брать быка за рога. И, сразу переходя на «ты», в лоб спросила:

– Саша тебе пишет?

– Нет! – выдохнула обиду Галинка.

И тут ее словно прорвало, все, что она хотела сказать Дубравину, вылилось на сестру.

– Я вообще не знаю, что происходит! – она в отчаянии как-то по-детски махнула руками. – Он прислал мне письмо. Последнее. Обидел меня им... Написал, что я свободна, потому что, конечно, ждать два года я не смогу... Да что он вообще понимает обо мне? Он просто, просто...

Она от негодования не находила слов. Задохнулась. И замолкла.

– Эх, молодежь, молодежь. Как просто все у вас! – Зойка вздохнула, посмотрела на нее, как на неразумного ребенка. – Пишет – не пишет! Обидел. Да он весь год только и думал о тебе! Он дышал тобою, он жил тобою! Я же видела, как он ждал писем от тебя. Ходил мрачнее тучи, когда их не было. И расцветал, когда такое письмо приходило. А осенью как помчался к тебе, несмотря ни на что? А каким вернулся! Я уж стала бояться за него. Весь черный. Как в воду опущенный. Еле отошел. Вот как было!

– Да, любит! – Галка скептически хмыкнула. – У него то любовь до

смерти, то прощай навеки. Я ну никак понять его не могу...

– Молодой он еще! Мальчишка. А ты, Галя, вообще-то, подумай обо всем. Хорошенько подумай. Ведь такая любовь, уж я-то знаю, бывает раз в жизни. Смотри не ошибись. Как бы потом не пришлось локти кусать. Ведь он живет тобою. Дышит тобой... – она стала повторяться. – Мой брат...

Она хотела сказать что-то вроде «таких, как ты, много найдет. А вот такого парня встретить девушке в жизни – счастье». Но ничего подобного не произнесла. И наверное, правильно сделала. Вместо этого добавила:

– А ты возьми и в ответ на его глупости сама напиши ему хорошее письмо. Адрес-то у тебя есть? Нет? Но я тебе дам! Вам, конечно, жить. Но я бы так сделала.

Зойка вспомнила свою историю отношений с Анатолием. Как они «служили» вместе. И ласково, по-матерински улыбнулась.

Она чувствовала себя очень важной и благосклонной от этого.

* * *

Ох, не спалось Галчонку в эту ночь. Снова и снова вспоминала она «семейный» разговор. А если это действительно то самое, чего она хочет? Если уже пришел тот человек, а она проворонила свое счастье?

Она встала со своей узкой девичьей постели. Зажгла свет. Взяла из тумбочки его письма. Вчиталась: «Я люблю тебя! Ты даже не знаешь, как я люблю тебя...».

Почему-то сегодня те самые слова, которые казались ей тогда выпренными, ненастоящими, сейчас обожгли, приобрели какой-то другой, живительный смысл.

«...И не представляю, как можно тебя не любить. Ты же самая хорошая. И пожалуйста, не зазнавайся. Я никогда не говорил тебе сам об этом. Только в письмах...»

И вдруг то, что томилось в душе в последнее время, холодило сердце, та пустота, которой она так боялась, пропала. Она задохнулась от необъяснимой радости, которая распирала грудь, ворвалась прямо в сердце. И вылилась. Прорвалась наружу горячими слезами...

И ей уже не казалось поутру смешным то, над чем она смеялась раньше. Мокрая от слез подушка. Красные глаза. Опухший сопливый носик.

– Единственный мой! Милый, родной! – шептала она, дописывая письмо солдату:

«Никогда не думала, как трудно писать письма. Уже испортила два листа. Ты далеко, а я думаю о тебе. Иду по улице, ложусь спать, думаю. А

сердце поет. И это так приятно.

Ты знаешь, я, кажется, влюбилась. Даже не знаю, как тебе объяснить. Но я хочу, чтобы ты меня понял. Ты поймешь.

Слышишь, как стучит сердце? Как у зайчишки. Быстро-быстро. Теперь оно не мое.

Я тебе доверяю его. Слышишь, как оно бьется? Слышишь?..

Боже мой, ну почему ты так далеко? Целых два года...

Ты меня любишь?

Галка.

Постскриптум:

Ты, наверное, не ожидал, что я напишу тебе подобное. Все зависит от тебя».

* * *

Вода в озере наконец-то прогрелась настолько, что можно было купаться и самым маленьким. Июльское солнце каждый день золотило подсыхающую траву по берегам, путалось в ветвях танцующих на лужайках берез. Здесь, у озера, они действительно были особенными. Их белые стволы в отличие от обычных изогнуты, изломаны по какой-то необъяснимой причуде природы. Они то стелются прямо над землей, то взмывают ввысь к синему высокому летнему небу. Отдыхающие группами и поодиночке располагаются в этой живописной роще на берегу, используя березы в качестве скамеечек, подставочек.

Сегодня на озере купальщиков, как пчел в улье.

На зеленой травке меж березок расположились на покрывалах и полотенчиках, взятых из дома, друзья. Толик Казаков, сбравший недавно усы и бакенбарды, чтобы не смущать ими родителей, сидит по-китайски, поджав ноги, и раздает карты окружающим. Галинка Озерова пристроилась в тенечке, чтобы не обгореть на солнце. Людка Крылова в открытом купальнике, наоборот, вылезла на самый солнцепек. Только нос закрыла белой бумажкой да надела большие темные очки. Андрей Франк то и дело откладывает карты в сторону, чтобы снять еще один кадр. Он отбегает с «Зенитом» на несколько шагов и дает разнообразные команды:

– Так, всем смотреть сюда. Сейчас будет птичка. Не. Толюня, ты поближе, поближе к девчонкам сядь. Вот так. Внимание! Чи-и-из!

Зеленоглазая круглолицая русская красавица Валентина Сибирятко возвращается от воды и вдруг брызгает на всех из пластмассовой бутылки. Раздается девичий визг, писк:

– Ой, моя прическа!

– Валька, дура, что ты делаешь?

– Холодно же!

Валентина в ответ мотает мокрой головой. Брызги – в стороны. Прозрачные капельки падают на разморенные жарой тела.

Не приехал Амантай Турекулов. Он работает каким-то инструктором при казахстанском штабе студенческих строительных отрядов. Нет Шурки Дубравина – он служит в армии. А так все на месте.

Лежат. Балдеют.купаются. Вспоминают друзей. Разглядывают других отдыхающих.

На дороге, что находится недалеко за березками, слышен треск. Через минуту появляется синий трактор «Беларусь» с тележкой. Приехали искупаться деревенские. За рулем их одноклассник Колька Рябуха. Он с усами, но почему-то обрит наголо. В прицепе, сидят по-прежнему могучий, как индеец, загорелый Коська Шарф, рядом с ним Толька Сасин, больше известный под прозвищем Комарик. Его конопатая, как сорочье яйцо, физиономия расплывается от радости.

– Ой, кого я вижу! – он встает в кузове тележки в позу «ку» и разводит руки в стороны. – Пацаны приехали. Коська, Рябуха, идите сюда! Поздороваемся! Ну, как вы там, в городе? А? Небось зажрались. Своих не признаете. А Шурки нету, что ли?

Он спрыгивает вниз:

– В армии? Ах, елки-палки. О, мы с ним в прошлом году повоевали здесь. Зверьков учили как следует. Наваляли им. Ну, чо вы сидите? Давайте выпьем, что ли?

– Да нечего вроде выпить-то, – заметил Колька Рябуха.

– Да ты чо? Коська, давай на трактор. Слетай в магазин. Одна нога здесь, другая там. Скажи Вальке-продащице, что пацаны приехали. Пусть в долг дает. Я потом отдам.

– Да она нам в прошлый раз сказала, что больше не даст.

– Брось! Дуй, я тебе говорю!

Комарик сбрасывает с себя брюки, майку. Присаживается на траву рядом.

– А вы, девчонки, как поживаете? Женихи-то уже есть? А мы вот тут в деревне остались... Урожай убираем...

Из-за кустов появляется беленький, тоненький Вовуля Озеров. Дурашливо достает из кармана треугольный конвертик с синей печатью, размахивает им:

– Галка, тебе письмо!

– От кого? – В огромных глазах Галинки тревога и надежда.

– Не знаю! Обратный адрес: войсковая часть 42641. Танцуй, Галка!

– Ну, Вова, перестань! Дай сюда!

Но Вовуля дурачится, подпрыгивая, машет письмом перед ее носом. Она несколько раз пытается выхватить письмо, но он уворачивается. Приходится уступить.

Народ рассаживается, начинает хлопать в ладоши, запекает почему-то «В лесу родилась елочка», хотя сейчас далеко не Новый год. Покрасневшая Галинка несколько раз проходит по кругу, покачивая тоненькими бедрами...

Выручает Крылова. Как молния вскакивает, выхватывает треугольник из руки Вовули, смотрит на знакомый почерк и военный штамп. Передает письмо Галине.

Озерова присаживается в сторонке. Нетерпеливо разрывает конверт: «Любимая...» Горло перехватывает уже привычная волна радости, счастья, тепла. Краснея, Галя читает его признания.

Людка, сидящая в кружке с картами в руках, вздыхает, глядя на нее, счастливую. Эх, писал бы он ей так, как Галке! Господи, что бы она только ни отдала в жизни, чтобы он написал ей такое письмо!

Андрей Франк хмурится. Печально смотрит на Галку. У него ведь вся комната в общежитии оклеена ее фотографиями. Эх!..

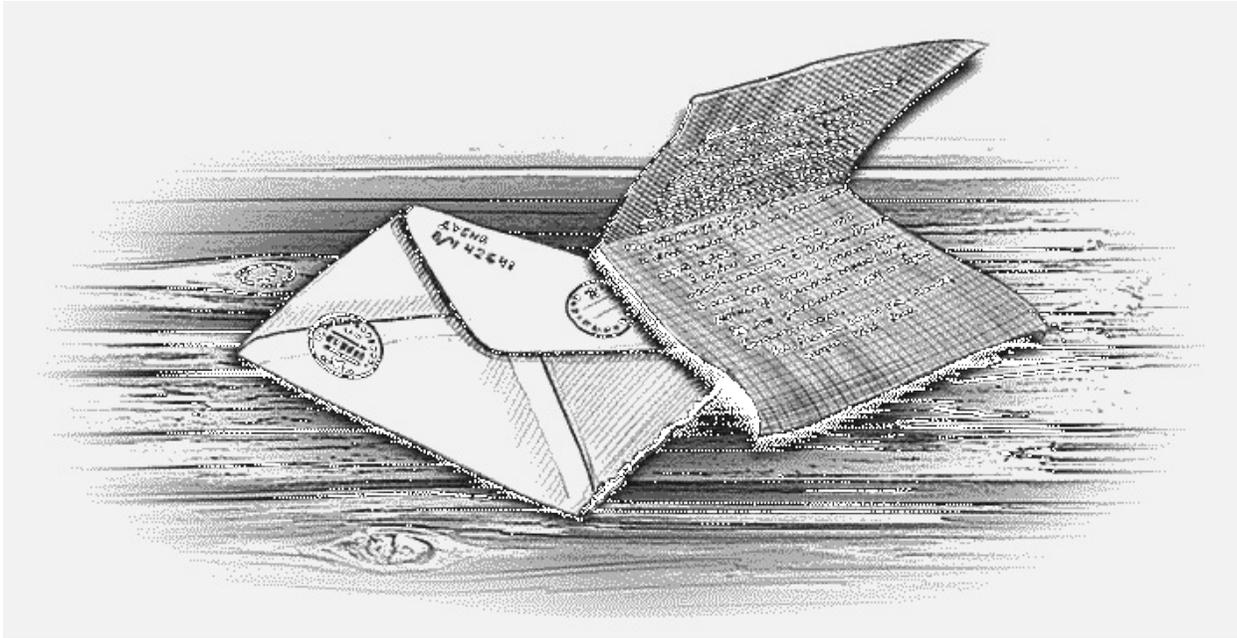
Казаков не выдерживает первым.

– Ну что, Галь, пишет наш защитник? – спрашивает он с чувством легкой иронии и одновременно живого интереса.

– Автомат уже получил? – добавляет Вовуля.

Она отрывает счастливый взгляд от письма и старается отвечать как можно спокойнее:

– Пишет, что сейчас в учебке на пять месяцев. А потом их распределят по частям. Уже когда присвоят звания этих, как их, сержантов...



От издательства

«Русский крест» – роман-эпопея, в котором осмысление исторических событий, затронувших нашу страну на рубеже двух веков, ведется через судьбы четырех главных героев, тем самым превращаясь, по определению самого автора, в «дневник поколения». Роман сочетает в себе как черты документального очерка (настолько точно там переданы исторические события, вплетенные в общий сюжет), так и художественного романа, в котором выпукло, узнаваемо и сочно прописаны все образы и детали этой, без сомнения, волнующей истории.

Издательству, с творческой подачи автора, показалась заманчивой идея продолжить эту поколенческую летопись, насытив ее новыми непридуманными историями, сюжетами и героями. Действительно, ведь каждому из нас, кто помнит «как это было», есть что рассказать: как рушилась страна и менялся строй, как витали надежды наперекор бытовым неурядицам и как они рушились вместе с достигаемым благополучием, как влюблялись в студенческих общагах и заводили детей в коммунальных квартирах, стирали пеленки и полиэтиленовые пакеты, стояли в очередях, доставали «стенки» по блату и были счастливы. Испытания правдой о своей стране, нищетой и сытостью, единением на баррикадах и пропастью, разделившей на «неудачников» и «успешно» встроившихся в новую жизнь.

«Дневник поколения» должен быть продолжен. Мы не хотели бы ограничиваться ностальгией по прошлому, а ждем осмысления траектории ваших судеб и судеб ваших близких и друзей от той точки, где мы были все вместе, к тому, что представляем собой сейчас.

На сайте книги www.rus-krest.ru создан специальный раздел, в котором вы можете поделиться своими воспоминаниями, фотоархивами, впечатлениями, мыслями, выводами по поводу тех или иных событий, свидетелями которых вы стали.

А наиболее интересные литературные работы войдут в отдельный небольшой сборник, который станет приложением к финальной книге романа.

Глава из книги «Непуганое поколение», которая продолжает роман-эпопею А. Лапина «Русский крест»

Специальный пассажирский поезд Усть-Каменогорск – Москва, вяло постукивая колесами, медленно подвигается к столице. Одна за другой проплывают мимо окон остановки электричек, и вот наконец, замедляясь, бежит перрон Казанского вокзала.

Анатолий Казаков жадно вглядывается в панораму города. Не так давно он по заданию вылетел отсюда в Казахстан. А теперь возвращается обратно. Всего месяц. Но какой! Он побывал в Алма-Ате. Повидал наконец своего друга Амантая. Встретился с Жемчужным. И теперь вместе с делегацией уважаемых молодых людей, среди которых почти все активисты-общественники, но есть даже несколько освобожденных комсомольских работников, едет в Москву посмотреть Олимпийские игры. Такое, возможно, выпадает ему первый и последний раз в жизни. И все благодаря друзьям из комитета.

В этой поездке все как-то не совсем обычно. Во-первых, на подъезде к Москве поезд проверяли работники милиции и люди в штатском. Во-вторых, перрон Казанского вокзала сегодня оказался почти безлюдным. Несколько носильщиков с бляхами да пара встречающих их девушек из «Спутника» в синей форме, а в руках – таблички с названиями областей.

Когда они дружной молодежной толпой вываливают на платформу со своими нехитрыми пожитками, садятся в новенький и по понятиям советского времени роскошный «Икарус», Анатолий вдруг понимает, что он попал в какой-то другой, неведомый ему город. Где толпы народа у метро? Где гигантские очереди «мешочников», ждущих открытия магазинов? Куда подевались московские дети?

Он, конечно, знал, что Москва будет зачищена от диссидентов, фарцовщиков, проституток, алкоголиков и бомжей. Но в реальности город просто опустел. Больше миллиона москвичей отправили в отпуска, на дачи. Всех детей (чтоб не клянчили жвачку, что ли?) сплавили в пионерские лагеря, а студентов – в стройотряды.

«Все предусмотрено, – думает он, разглядывая одетых в белые форменные рубашечки культурных милиционеров, то и дело мелькающих на улицах. – Сто пятьдесят тысяч таких белорубашечников завезли со всей

огромной страны в Москву на эти две недели. А сколько наших здесь? Никто и не сосчитает. Даже из областей вместе с делегациями едут такие, как я, секретные сотрудники спецслужб».

Автобус подкатывает к их студенческому общежитию.

«Вот так дела! Я буду проживать в своей же общаге, что ли?»

Но и студенческое общежитие, в которое он сейчас входит, сильно отличается от того, в котором он жил весь прошлый год. Куда-то делся с вахты вечный хромой сторож дядя Вася, готовый за бутылочку пропустить на ночевку в гости веселую компанию. Нема его, нетути. Растворился в воздухе олимпийского города. Сидит теперь на вахте подтянутый и немногословный молодой человек, не поймешь откуда. И так вежливо, но настойчиво требует пропуска. И очень внимательно вглядывается в лица, то ли запоминая, то ли сравнивая с кем-то постояльцев.

Ба! Все отремонтировано. В коридорах новый линолеум, в туалетах не обшарпанные, без седушек ветераны унитазного труда, на выщербленные края которых, как петухи на насест, взбираются студенты, а белые фаянсовые лебеди. В комнатах чистые обои без винных следов и кровавых пятен от раздавленных клопов. И мебели. Новые мебели! Куда-то улетели койки с пружинными сетками, которые под грузом студенческого тела вытягиваются так, что хозяин едва не достает задницей до пола. Вместо них строгие, как солдаты, деревянные кровати с жесткими матрасами и шерстяными одеялами. Заправленные твердой рукой. Нету и застиранных, с прогрызенными в прачечной дырами наволочек и каменных подушек. Все белье цветастенькое и новенькое.

В бывшей студенческой столовой, где можно было пообедать на талон за тридцать пять копеек, получив по нему «суп тритатуй – кому мясо, кому... не балуй», а в придачу гороховую «музыкальную» кашу, Анатолий и вовсе остолбенел. Больше всего его потрясли не пластмассовые новенькие беленькие столы и стулья, не чистые до голубизны колпаки и передники поваров, а упакованное в тридцатиграммовую обертку сливочное масло. А также мармеладные кубики.

И всего много. Бери сколько хочешь. Бесплатно.

А называется «шведский стол».

Он расположился в большой комнате с двумя такими же туристами. И позвонил Маслову доложить о прибытии и получить инструкции на дальнейшие действия. Маслов, видимо, был загружен по самое не могу. Быстро выслушав его рассказ, он ответил:

– Сейчас встретиться не получится! Поэтому ты обратись к дежурному по общежитию. Это наш человек. Установи с ним порядок контактов.

Располагайся. Перезвони мне через... – он на мгновение замолчал, видимо, заглядывая в ежедневник. – В восемнадцать ноль-ноль, – и положил трубку.

Казаков даже слегка обиделся. Как ни крути, он все сделал как надо. Приехал, хотел рассказать, что да как. Ну да ладно. Все равно надо отработать как следует. И Анатолий направился разыскивать дежурного по общежитию.

Нашел его в комнате с табличкой «Оргкомитет». Чего там был оргкомитет, не знал никто. Да, в сущности, это никому и не интересно. В помещении сидел молоденький спортивный парень с самой обычной, заурядной внешностью. Казаков уже знал, что в учебные заведения комитета никогда не возьмут на работу человека с какими-то особыми, выделяющими его из толпы приметам. Судя по всему, этот паренек не так давно выпущился из училища. И был старше Анатолия не более чем года на три. Поздоровались. Анатолий подчеркнул, что он приехал из Усть-Каменогорска по поручению Маслова. Парень понимающе кивнул. И записал его в свой оперативный блокнот. ФИО, комната, откуда приехал. Потом, слегка важничая, постарался ввести в курс оперативной обстановки:

– Олимпиада идет уже неделю. Группы, которые приехали на открытие, убывают по местам. Сейчас подъезжает народ на вторую половину. В целом обстановка нормальная. Под контролем. Хотя не бывает без проблем. Город поделен на зоны безопасности. «Желтая зона», «Красная зона»... Бывают какие-то инциденты. Духи пообещали разделаться с командой Афганистана. Так что в Олимпийской деревне наши работают везде. На входе каждые полчаса проверяют каждую урну, каждый шкафчик. Кругом видеокамеры. Все начеку. Да, в общем, сам увидишь. Вот тебе мой телефон. Если что, звони. – И, не выдержав собственного официального тона, подмигнул: – Оттягивайся! Здесь классно.

Анатолий вышел от него и попал прямо в холл, где ведущая тургруппы раздавала билеты на разные соревнования. Вся толпа хотела посмотреть боксерские поединки, где уверенно пробивался к финалу Серик Конакбаев из Алма-Аты. И где великий Теофило Стивенсон должен был вот-вот завоевать олимпийский титул третий раз подряд.

В принципе, ему было по барабану, что смотреть. Все по-своему интересно и здорово. Поэтому, памятуя о поставленной задаче приглядывать, он выбирал те соревнования, на которые могли пойти люди из его группы, казавшиеся чересчур отвязными, назойливыми или слишком общительными. Главным было контролировать нежелательные контакты с

иностранцами. Легко сказать! Их на Олимпиаде за пятьсот тысяч. И ходят они по тем же улицам, сидят на тех же трибунах, обедают в тех же кафешках, где пьют пиво его подопечные из Усть-Каменогорска. А если среди них есть антисоветчики, нераспознанные враги? Появятся связи, начнут передавать литературу. Бди, товарищ! В общем, тотальный контроль при кажущейся свободе.

Билеты красивые, как деньги. Из плотной хрустящей бумаги: вверху красная полоса, посередине узкая зеленая, снизу – широкая светло-голубая. Пиктограмма показывает вид спорта. Рисунок – Большую арену стадиона имени Ленина. Указаны время, трибуна, сектор, ряд и место. Цена – двенадцать рублей, а внизу написано: «Скидка – семьдесят процентов».

А уже вечером он сидел на трибуне и смотрел, как по покрытой тартаном дорожке мчится наш квартет бегунов.

Странное дело: занятый своей миссией, он особо не задумывался о смысле и значении Олимпиады. И только сейчас, забравшись на трибуну, устроившись среди беспечной публики в чудном зеленом пластмассовом креслице, Казаков вдруг осознал, что дело здесь нешуточное. Важное для самочувствия и самопонимания всей большой страны и народа. Так что, когда наша четверка победным вихрем промчалась по арене, он вместе со всеми ощутил невероятную гордость за свою Родину. И, охваченный общей волной ликования, тоже вскочив с кресла, завопил:

– Ура! Молодцы, ребята! Ура!

А сам все поглядывал, косил взглядом на иностранцев. Как, мол, вам? Знай наших!

Наряду с гордостью за своих, за свою страну он чувствовал, как быстро исчезает барьер между нашими людьми и иностранцами. Все эти обмены сувенирами, значками, совместные переживания по поводу побед и поражений, беседы по душам на трибунах быстро разломали стереотип, который годами выстраивала пропаганда с обеих сторон.

Сначала он с некоторым недоверием и опаской относился к французам, немцам, англичанам, массово приземлившимся в Москве, потом глядел на них с любопытством, а потом... потом привык. Они для него стали такими же обычными людьми, как и он сам. И вот это чувство, с одной стороны, гордости за своих, а с другой – какого-то общечеловеческого братства, общности всех людей и народов – это ощущение особенно ярко проявилось для него в одном эпизоде.

Шли соревнования по прыжкам в высоту среди мужчин. Наши советские быстро сошли на нет. Остался один на один с планкой немец из ГДР. Высота далеко за два метра. Мировой и олимпийский рекорд. Первая

попытка.

Сбил планку. Чуть-чуть не долетел.

Вторая.

Стадион – сотни тысяч людей – затаил дыхание. Разбег, толчок. И...

Два двенадцать не покорились. Стадион выдохнул как единое огромное существо. Гул разочарования.

Неужели не удастся?

Долгая подготовка к последней попытке. Хождение туда-сюда. Обтирание полотенцем. Жара.

И вдруг... Рывок туда, к планке. И полет! Полет! Воспарил спиной над планкой.

Руки вверх. Крик. Такой, что взлетели испуганные голуби в синее небо.

– А-а-а-а! Победа!

Весь стадион как один вскочил. Заорал. Все давай обниматься, целоваться. Слезы. Катарсис!

В эту секунду Анатолий вдруг почувствовал, что это не немец взлетел над планкой. Не еще одна золотая медаль нашла своего хозяина. Это общая победа всех людей. Это они все в лице Векслера – кажется, так его звали, того чемпиона, – преодолели эту планку. Поднялись еще чуть-чуть над собою, преодолели себя.

Потом, через десятилетия, когда давно забылись победители и побежденные, это безошибочное ощущение всечеловеческого братства, общности жило в нем. И грело душу.

Когда-то основатель современных Олимпийских игр барон Пьер де Кубертен воскликнул: «О спорт, ты мир!» Формально он был прав. Для тех, чьи сердца не отравлены ядом шовинизма, так оно и было. Это с одной стороны. Но была, есть и будет другая сторона олимпийского «золота». Вечное соперничество народов, рас и стран возродилось здесь в новой форме. Деление на «мы» и «они», свойственное человеческой природе. И победа на Олимпиаде – как победа на войне. Это значит: мы лучше, мы сильнее, мы быстрее. И вот уже считаются медали и очки, повышаются ставки. Борьба охватывает все новые и новые сферы. Вступают в нее на той или иной стороне химические корпорации. Разрабатывают новые и новые виды допинга, хитрые медицинские уловки...

Врачи ломают голову, как выжать из человека все...

Бьются инженеры и конструкторы. Изобретают специнвентарь, спецобувь, спецодежду.

Вырвем у врага мгновение, сантиметр, грамм...

Разворачиваются батареи телекамер. Роты комментаторов.

Психологическая борьба двух систем вступает в фазу обострения. Вперед! Вперед! Мы впереди! Ура!

Ну и, естественно, где конь с копытом, там и рак с клешней. Спецслужбы проводят свою олимпийскую гонку. Кто кого? Чья возьмет?

Сборная спецслужб Советского Союза уверенно побеждает своих соперников. Тотальный контроль, установленный на всех уровнях, дает результаты. Как-то сам Казаков решил сходить в ГУМ, где и наблюдал «сцену у фонтана». А точнее, одну из стычек невидимой войны.

Идет он по Красной площади. Подходит к магазину. И видит группу диссидентов. Интересно ему стало. Остановился посмотреть. Только развернули они свои плакатики, как откуда ни возьмись, ровно через три секунды, «рядовые граждане», молодые, спортивного вида ребята пресекли провокацию. Кинулись на протестующих, затолкали их в подворотню, разодрали бумажные плакаты и, не дав пискнуть, утащили протестующих во дворы. Анатолий только руками развел: «Ну, дают!

Но бывали моменты, когда отлаженная система давала сбои. Чаще всего это случалось, когда взбрыкивали сами организаторы игр и спортсмены. Им, по большому счету, было решительно наплевать на напряжение спецслужб. В таких ситуациях приходилось принимать нестандартные решения прямо на ходу.

Так, однажды проходил забег на олимпийскую милю. И вот в чью-то романтическую башку залетела идея. Надо, чтобы москвичи и гости столицы, западные и наши туристы тоже почувствовали себя участниками Олимпиады. Пускай они побегают. Все завертелось, закружилось. Обозначили маршрут. Постановили. Бежать завтра. А об охране-то и забыли. Вспомнили только в последний момент.

Расставлять народ по маршруту поздно. Фильтровать бегущих невозможно. И тогда кому-то из «девятки» тюкнула в голову мысль о том, что вместе со спортсменами, среди них, должны бежать и сотрудники КГБ. Стали срочно собирать ребят. А так как большинство занято на олимпийских объектах, то решили привлечь к забегу на олимпийскую милю и нештатных сотрудников из числа тех, кто помоложе.

И, гляньте, Анатолий бежит по набережной Москвы-реки, прикрывая активистов олимпийской мили и приглядываясь к тем спортсменам, которые кажутся ему слегка странными. Вот уж забег так забег! Молодой, сухой, длинноногий, он то мчится рядом с тощей, морщинистой бабушкой, которая, тряся под майкой дряблыми подвесками, неторопливо трусит по дорожке. То скрывается в кустах и ждет, когда мимо него пропыхтит, как паровоз, пузатый, лысый дядька, видно, бывший спортсмен, решивший

тряхнуть стариной. В общем, приходит он к финишу только часа через два. Смешно.

Впрочем, был и другой случай. Несмешной. Двадцать восьмого июля они кучей боевой, летучей, пришли в крытый бассейн смотреть соревнования по плаванию в прозрачной голубой водичке. И обнаружили, что трибуны почти пусты. Не успел Анатолий сообразить, что сегодня хоронят народного любимца, как к нему подкатили две девчонки-туристки из его группы:

– Толик! На похороны Высоцкого идешь? Народ собирается на Таганке. Поедешь с нами? Ты же вроде Москву знаешь? – Они обе вопросительно уставились на него.

Девчонки были хорошие. С одной из них, Валентиной, полненькой, кудрявой, круглолицей комсомольской активисткой из строительного техникума, у них здесь даже началось что-то вроде дружбы. Она без конца приглашала его к себе в комнату попить чайку, поболтать о том, о сем. Короче говоря, липла деваха к нему. Ну, а ему-то что? Он молодой, холостой. Плохо ли? Так кружились, терлись друг около друга. Молодость. Олимпиада. Что еще для счастья надо? Наверное, при других обстоятельствах он бы махнул рукой да и пошел бы с ними побродить по магазинам, постоять на Красной площади. Но тут он мигом осекся: случай-то совсем другой! С одной стороны, не было вечера, чтобы у них в общежитии первокурсников не пели Высоцкого. Он и сам, бывало, взяв гитару, расходился не на шутку, распевая свою любимую «На краю!» Но, с другой стороны, похороны такого человека – повод для провокаций. Почешешь репу. Надо срочно звонить своим. Маслову или дежурному. Это событие.

Девчонкам же ответил, что сейчас кой-куда сбегает и будет готов пойти с ними.

Маслова, как назло, на месте не было. Но случайно он столкнулся в коридоре общежития с молодым пареньком, дежурным от КГБ, который куда-то торопливо собирался. Они уже почти разминулись, когда тот неожиданно развернулся и сказал ему:

– Во, давай со мной на Таганку. Высоцкого хоронят. Там народ собрался. Тысяч сто. Главный режиссер звонил нашему генералу. Боятся, что будет вторая Ходынка. У нас всех свободных собирают, чтобы взять все под контроль, обеспечить порядок.

Машина не дошла до театра несколько кварталов. Народная масса постепенно густела, как вода в реке в морозный день. Они оставили машину и почесали к указанному месту сбора пехом, то и дело проходя

сквозь хмурые группы людей, пока не уперлись в край стихийной, громадной и полностью неуправляемой толпы.

Здесь они, поднявшись на цыпочки, долго вглядывались в людское море поверх голов. Искали своих...

Через полчаса с траурными повязками на рукавах они уже стояли в оцеплении, сбивая напирющую толпу в гигантскую скорбную очередь. Анатолий спросил стоявшего рядом с ними хмурого гэбиста:

– Слушай, а что с ним случилось-то? Он же такой молодой был! Полный энергии. Я его видел в роли Хлопуши...

– Володя? Да он наркоман был законченный! Не слезал с иглы много лет. Его уже не раз с того света врачи вытаскивали. Чистили. А в этот раз он где-то на дачах был. Ну и передозировался. Дружки его везли в Москву, в «Склиф». Не успели. В машине и скончался.

Потрясенный, как говорят, до самой глубины души Казаков часа два тупо переваривал эту новость, вглядываясь в проплывающую мимо них очередь.

«Высоцкий. Человек-мечта. Великий актер. Гениальный поэт-песенник. И так грубо, прямо в грязь. Не верю! Не верю!» – билось в сердце.

Но от жестокой правды куда денешься? И особенно в такой солнечный и скорбный день.

А люди все шли и шли. Многие несли магнитофоны, из которых гремел хриплый, надрывный и такой знакомый голос...

Они уже оттоптали себе распухшие от стояния ноги. Страшно хотелось пить. Болела поясница.

Но всему бывает конец.

В притихшей, остановившейся толпе вдруг кто-то тихо ахнул. От театрального подъезда на руках поплыл белый-белый гроб...

«Опять Россия безвременно хоронит своего очередного гениального поэта! – печально думал Анатолий Казаков. – И почему они у нас долго не живут? Пушкин, Лермонтов, Есенин... А теперь вот Володя. Может, у нас климат не тот? Не выживают тонко организованные личности».

Кто-то громко сказал в тишине:

– Что имеем – не храним. Потерявши – плачем.

«Да, расточительный мы народ», – мысленно ответил он на эти слова.

* * *

Улетел в небо на разноцветных шарах под слезы и аплодисменты симпатяга Миша. Москва снова зажила той же самой нервной, суетливой жизнью. Вернулись в нее орды озлобленных мешочников. Двинулись на

приступ «колбасные» электрички. Заулыбались сквозь усы кавказцы на рынках.

Только не стало больше в Первопрестольной студента Анатолия Казакова. Тихим осенним утром покинул он столицу нашей Родины город-герой Москву. Куда путь его лежал? Так это тайна. Потому что по окончании игривец позвал его к себе Маслов. Представился официально подполковником и предложил:

– Хорошо мы этот год поработали, Анатолий Николаевич. Пригляделись к вам. И делаем предложение. Переходи-ка ты к нам насовсем. На службу. – И, заметив его недоумение, добавил: – Пойдешь учиться в наше училище. Через четыре года станешь кадровым офицером Комитета государственной безопасности...

Он потом долго пытался понять, что же все-таки привело его на эту дорогу. «Наверное, мне нравится чувствовать себя востребованной частицей какой-то могучей организации», – думал он.

Но это была только часть правды. Другая состояла в том, что он просто любил приключения, атмосферу таинственности и игры, которая чрезвычайно привлекала его изменчивую и авантюрную натуру.

И престиж, престиж нельзя сбрасывать со счета. Что греха таить, работать в «Комитете глубокого бурения», как шутили не только обычные граждане, но и сами сотрудники, было для него здорово.

В общем, особо не заморачиваясь, он дал согласие.